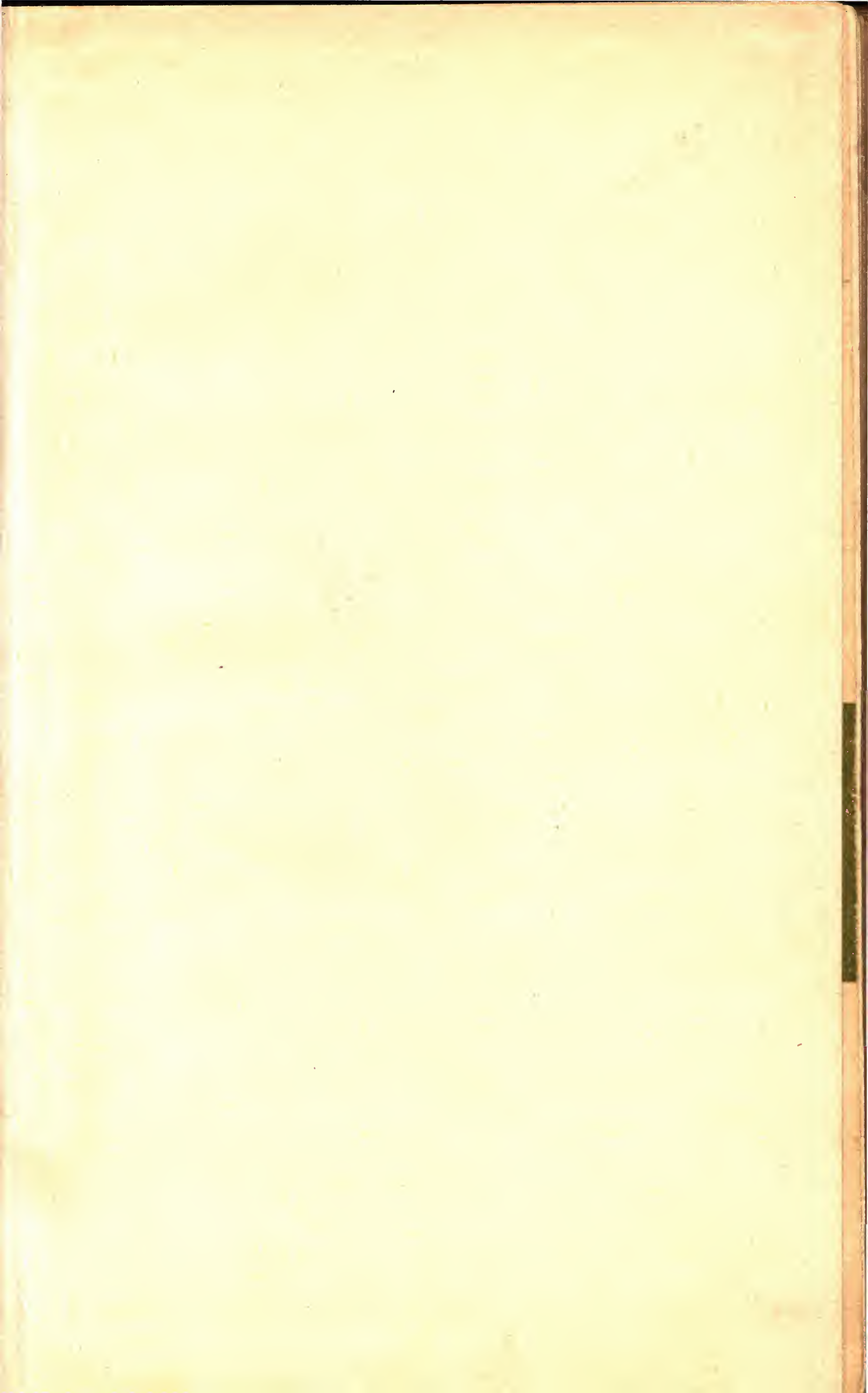
БИБЛИОТЕКА

ПРИКЛЮЧЕНИЙ



БИБЛИОТЕКА  ПРИКЛЮЧЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ „СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ"

1

МОСКВА 1966

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ

А. Козачинский

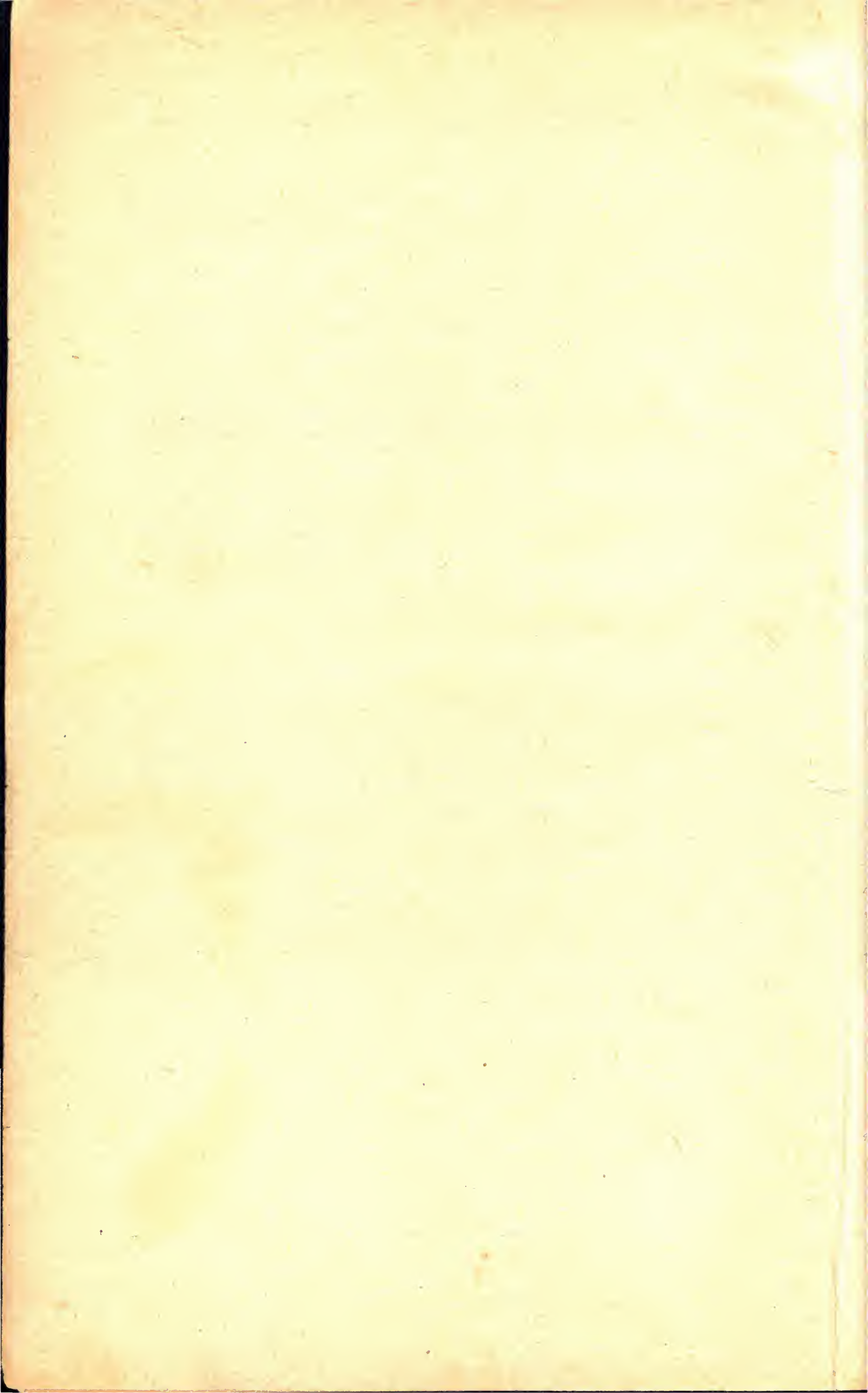
П. Блякин

А. Толстой

М. Максимов

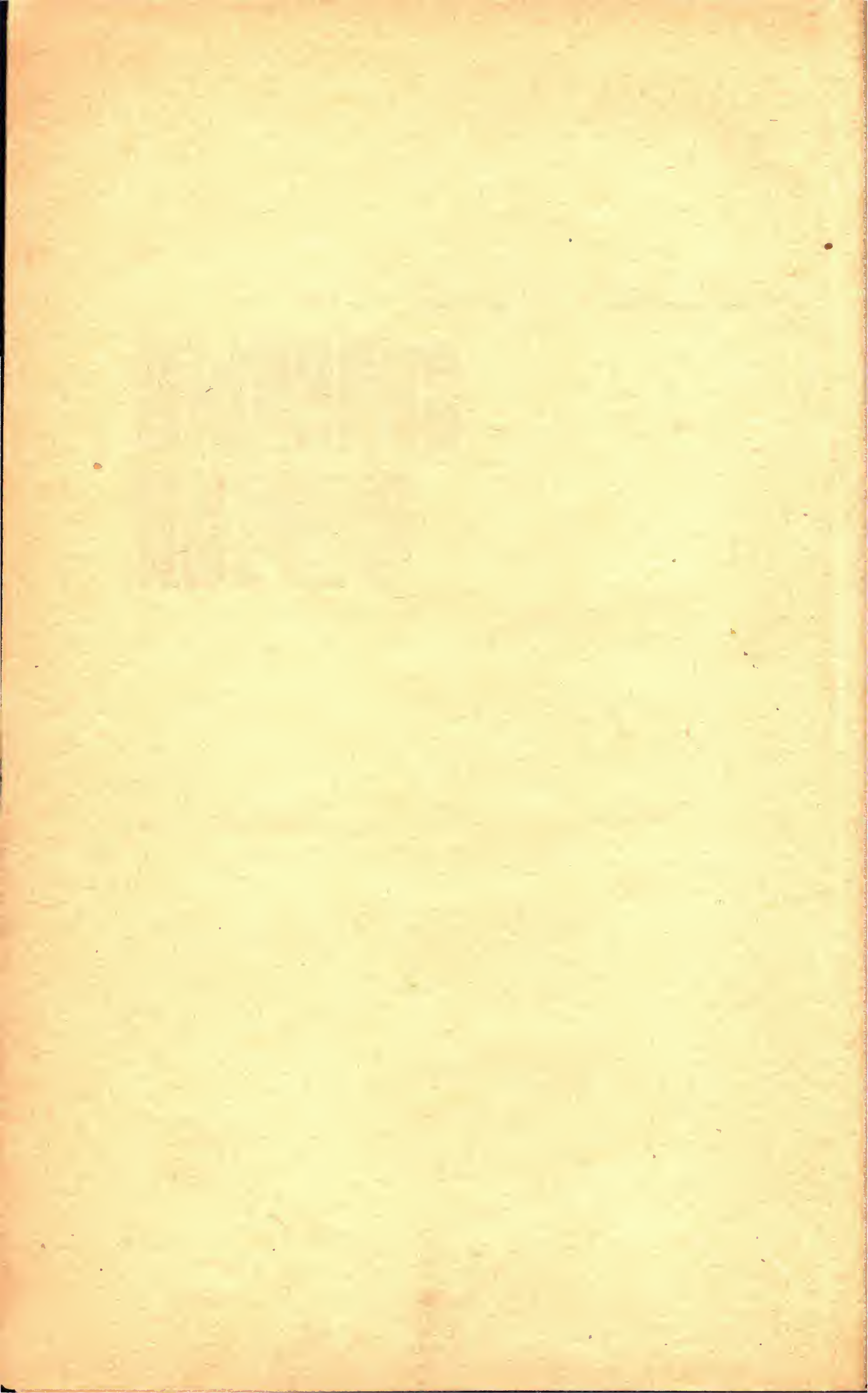


«Молодая гвардия»



А. КОЗАЧИНСКИЙ

ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН



Зима 1931 года была в Гаграх необычайно суровой.

Весь декабрь шел дождь; в январе повалил снег. Это был очень странный снег, хотя так, по-видимому, и должен был выглядеть субтропический снегопад. Огромные, величиной с яблоко, снежинки, нарядные, как елочные украшения, медленно опускались в неподвижном воздухе, и это медленное, монотонное падение не прекращалось ни на минуту в течение шести недель. Листья пальм не выдерживали тяжести непривычного снежного груза и ломались. Розы, которым полагалось цвести в это время, распускали свои лепестки над снежной пеленой, как лишайники севера. Так, наверное, выглядели тропические леса Европы в начале ледникового периода.

Всю зиму по Черному морю гулял шторм. На узкую полоску гигантской земли обрушивались огромные молчаливые волны. Они двигались медленно, длинными правильными шеренгами, на очень большом расстоянии друг от друга, неся на своих гребнях толстых морских птиц. Споткнувшись о берег, валы опрокидывались, а птицы, исчезнув на миг, появлялись на гребне следующей волны. Ровный гул моря не умолкал много недель и уже не воспринимался как шум; прибой казался беззвучным, как снегопад.

Однако Гагры лишились не только тепла, солнечного блеска и благоуханья цветущих садов, но также и электрического освещения. Гагринская гидростанция, равная по мощности мотоциклету, приводилась в действие водопадом, свергавшимся с отвесного склона Жоэкварского ущелья. Это был небольшой водопад: он мог бы весь, до последней капли, уместиться в обыкновенной водосточной трубе. Но декабрьские ливни превратили тощую струю

в мощный поток, и гидростанция захлебнулась в нем; январские морозы сковали поток, и гидростанция осталась совсем без воды.

На фоне этих странных и грозных явлений особенно зловеще выглядела гибель духана «Саламандра». В старой гагринской крепости друг против друга расположились два конкурирующих артельных духана: «Феникс» и «Саламандра». Темной январской ночью, когда шторм бушевал с особенной силой, «Саламандра», к великой радости «Феникса», сгорела. Духан сгорел со всеми скорпионами, жившими в трещинах крепостной стены. Они были гордостью духана; каждый посетитель, осветив щели спичкой, мог любоваться скорпионами, которые настолько привыкли к аромату шашлыков, запаху красного вина и веселью гостей, что превратились в совершенно безобидных насекомых, вроде сверчков или шелковичных червей. Мрак и пламя скрыли от глаз картину гибели скорпионов, но говорят, что все они, согласно обычаю, покончили самоубийством, ужалив себя в голову и проклиная обманчивое название духана, которому доверились. В Гаграх и сейчас охотно рассказывают об этом событии.

Но гибель «Саламандры» не была последним звеном в цепи несчастий. Большая гора обрушилась на автомобильную дорогу к северу от Гагр, а дорога на юг, размытая дождями, сползла в море. И ни один пароход из-за шторма не останавливался на открытом гагринском рейде. Городок, засыпанный снегом, скованный стужей и погруженный в темноту, оказался отрезанным от всего мира. Множество людей, собиравшихся провести в Гаграх месяц отдыха, остались здесь на невольную зимовку. Они бродили по засыпанному снегом гагринскому парку в тюбетейках и макинтошах, подобно доисторическим людям, которые зябли в своих демисезонных шкурах среди надвинувшихся отовсюду ледников.

Если бы не морозы, штормы и обвалы, литературный клуб в бывшем замке принца Ольденбургского, вероятно, никогда бы не возник. Всем, бывавшим в Гаграх, знаком вид этого здания, эффект-

но прилепившегося к почти отвесному склону горы, построенного из камня, но в том прихотливом и затейливом стиле, который характерен для архитектуры деревянной. Бывшее жилье принца не поражало внутри ни роскошью, ни комфортом; в наши дни никому не пришло бы в голову назвать подобное здание дворцом. Впрочем, во всех комнатах принц поставил нарядные камины, украшенные разноцветными изразцами. У одного из этих каминов и собрались члены литературного клуба, обязанного своим зарождением разбушевавшимся стихиям и прежде всего стихии скуки.

От скуки страдали все жители санатория, кроме, разумеется, шахматистов. Садясь за доски с утра, они наносили друг другу последние удары уже в полной темноте. Придя после многочасовых усилий к ладейному эндшпилю, не замечая темноты, а может быть, и пользуясь ею, они ощупью старались загнать друг друга в матовую сеть. Не унывали и фотолюбители, с редким упорством снимавшие в течение всего срока пленения один и тот же цветущий розовый куст, полузасыпанный снегом. Тем же, кто был свободен от этих увлечений, было плохо. Все надоело, хотелось домой. Казенные пижамы скрипучего желто-зеленого цвета, «мертвый час», вдохи и выдохи на утренней зарядке, добрые няни, снующие по коридорам с грелками и клизмами, кровати с сетками, чувствительными, как сейсмограф, и шумными, как камнедробилки, надпись на дверях поликлиники, извещающая о том, что «рентгеновы лучи работают по четным и нечетным числам», — все то, что вначале радовало, казалось приятным, удобным, забавным, сейчас оставляло сердца холодными, раздражало, выводило из себя. Дошло до того, что никто уже не хотел взвешиваться на зыбких медицинских весах в докторском кабинете.

Кой-кто из больных уже поговаривал о том, чтоб «тюкнуть» по маленькой. А несколько диетиков главврач застиг внизу, в крепости, в духане «Феникс», где диетики пожирали чебуреки, запивая их «Букетом Абхазии».

Вот в какой обстановке зародился литературный клуб у зеленого камина в палате номер семь. Сначала здесь занимались только игрой в отгадывание знаменитостей и разложением слов. Потом стали рассказывать разные истории, преимущественно страшные. Однажды кто-то предложил не рассказывать их, а записывать.

Ничего нет легче, чем убедить человека заняться сочинительством. Как некогда в каждом кроманьонце жил художник, так в каждом современном человеке дремлет писатель. Когда человек начинает скучать, достаточно легкого толчка, чтобы писатель вырвался наружу.

Чтения происходили по вечерам. В зеленом камине сердито шипели и плевались сырые поленья. Красноватый свет керосиновой лампы освещал пространство перед камином, оставляя углы палаты темными. Члены клуба занимали свои постоянные места. Слева садился почтенный хлебопек Пфайфер, обратив к огню свое доброе лицо старухи. Рядом с ним устраивался военный интендант Сдобнов, всегда докрасна выбритый, в пижаме и сапогах. Еще дальше располагалась на кургузом диванчике женщина-врач Нечестивцева. Председатель клуба Патрикеев устраивался на двух чурбанчиках, поставленных на торцы. Как литератор, он был освобожден от писания рассказов, но зато ему было поручено топить камин и следить за угольками, падающими на паркет. В углу на кровати сидел закадычный друг Патрикеева доктор Бойченко, человек тихий, серьезный, ленинградского воспитания. Рядом с ним, на другой койке, лежал, просунув вишневые ботинки меж прутьев кровати, юрисконсульт Котик, жгучий брюнет с коричневыми белками и волнистыми усами Мопассана.

Девиз клуба, сочиненный Патрикеевым, гласил: «В каждой жизни есть по крайней мере один интересный сюжет». Поэтому авторам разрешалось брать сюжеты только из собственной жизни. А так как жизни у всех были совершенно непохожие, то все написанное оказывалось неожиданным и интерес-

ным. Все предполагали, что старичок Пфайфер, знаменитый специалист-хлебопек, напишет о пекарнях. Но он написал рассказ «Как я заболел мокрым плевритом».

Надо сказать, что членам клуба льстило знакомство с известным писателем. Оно возвышало их над обитателями других палат, рядовыми шахматистами и фотолюбителями. Сколь ни мелок этот мотив, мы не можем умолчать о нем. Возможно, что старик Пфайфер был более знаменит среди хлебопеков, чем Патрикеев среди писателей, но о Патрикееве знали очень многие, а о Пфайфере знали только хлебопеки. Иначе и быть не могло, ибо Пфайфер не ставил своего имени на хлебах, как Патрикеев на романах, хотя последние, быть может, и не были лучше выпечены, чем изделия доброго хлебопека.

Патрикеев и его скромный друг — доктор были неразлучны: если один отправлялся любоваться прибоем или смотреть на розовый куст, засыпанный снегом, за ним сейчас же отправлялся и другой. Истоки их дружбы никому не были известны; чувство ревности подсказывало членам клуба единственное объяснение: великие люди нередко обременены всякими друзьями детства, бывшими соучениками, соседями по парте, ныне провинциальными бухгалтерами или лекпомами, не замечающими той пропасти, которая образовалась между ними и их знаменитыми сверстниками.

Было известно, что живут они в разных городах: Бойченко — в Ленинграде, Патрикеев — в Москве, но отпуск всегда проводят вместе. Это свидетельствовало о том, что дружба их отличалась пылкостью, свойственной юности, но редко наблюдаемой среди людей, которым перевалило за тридцать. Ни Патрикеев, ни Бойченко не были, однако, коренными жителями северных столиц. В их речи звучал тот неистребимый южный акцент, который позволяет безошибочно узнавать бывшего одессита в толпе ленинградцев и москвичей.

Дела клуба шли прекрасно, но однажды его ревностные члены были возмущены доктором Бойчен-

ко, который заявил, что ему не о чем писать. Особенно кипятились старичок Пфайфер и Нечестивцева, с большим успехом прочитавшая накануне новеллу, насыщенную интимной лирикой. Никакие уговоры не подействовали бы на застенчивого и упрямого доктора, если бы не вмешался его друг Патрикеев.

— Не верьте ему, — объявил председатель клуба, — у него больше сюжетов, чем у любого из нас. Володя, — обратился Патрикеев к приятелю, — почему бы тебе не написать о зеленом фургоне?

Через несколько дней Владимир Степанович Бойченко занял место по правую сторону камина и приступил к чтению своего рассказа.

I

Летом 1920 года население местечка Севериновки Одесского уезда с нетерпением ожидало нового начальника районного уголовного розыска. Севериновка в те годы была пыльным торговым местечком, с домами из желтого известняка и глины, с базарной площадью и рядами крытых рундуков на ней, с разрушенной экономией графа Потоцкого, церковью, киркой и синагогой. Процент самогонщиков и спекулянтов среди жителей местечка в те времена был настолько велик, что уголовный розыск являлся наиболее посещаемым и влиятельным учреждением в Севериновке. Естественно, что личность нового начальника интересовала всех.

К тому же откуда-то пошел слух, что уезд, обеспокоенный отчаянной репутацией местечка и бытовым разложением прежних начальников угрозыска, которых пришлось убирать из Севериновки одного за другим, решил, наконец, поставить на колени непокорных севериновцев и с этой целью посылает к ним из соседнего района работника особо подготовленного, человека твердого и даже беспощадного.

Еще никому из прежних начальников не удавалось надолго задержаться в Севериновке, а последний вынужден был исчезнуть, не успев даже справить себе желтых сапог на высоком каблуке и белой

козловой подклейке, с носком «бульдог», подколенными ремешками и маленьким раструбом вверху голенища. Ни в Яновке, ни в Петроверовке, ни в Кодыме, ни в самой Балте таких сапог шить не умели. Севериновцами было замечено, что этот фасон притягивает к себе начальников с такой же непреодолимой силой, с какой сказочного короля притягивала рубашка счастливого человека. И севериновцы умело использовали магическую силу желтых сапог. Как только в уезде узнавали, что очередной начальник не смог противостоять гибельной страсти и принял в дар желтые сапоги, его вызывали в Одессу, выгоняли из розыска и отдавали под суд за взяточничество.

Новый начальник приехал в жаркий июльский день, когда Севериновка казалась почти безлюдной. Горячий ветер перекатывал по базарной площади вороха упавшей с возов соломы, улицы курились пылью, все было накалено и высушено до такой степени, что никого не удивило бы, если бы местечко, шипя и дымясь, начало тлеть. И если этого не случалось, то только благодаря тому, что раскаленное местечко охлаждала зыбкая топь, никогда не просыхавшая в центре площади, вокруг водопоя.

Новый начальник слез с брички и, побрякивая амуницией, поднялся по ступенькам в помещение уголовного розыска, где его встретила делопроизводитель Анна Семеновна Мурашко, дама лет тридцати пяти, одетая в розовое, фисташковое и кремовое, похожая издали на сладкое блюдо.

Анна Семеновна предъявила новому начальнику — она делала это уже не раз — книгу ордеров на арест и обыск, а также круглую печать и доложила, что в распоряжении районного розыска находятся серая кобыла Коханочка с кавалерийским седлом и ременной плеткой и младший милиционер Грищенко, ныне отсутствующий.

Начальник вернул Анне Семеновне книги и ордера, себе же взял круглую печать и ременную плетку с рукояткой из заячьей лапы. Затем он вывел из стойла кобылу Коханочку, собственноручно возло-

жил на нее кавалерийское седло и умчался в неизвестном направлении, даже не умывшись с дороги.

Внешность нового начальника, насколько ее можно было рассмотреть под густым слоем степной пыли, подтверждала худшие опасения севериновцев. Ему было всего лет восемнадцать, но в те времена людей можно было удивить чем угодно, только не молодостью. Он был угрюм, неразговорчив и мрачен. Принимая дела у Анны Семеновны, он не произнес и десяти слов. Сложная система ремней, цепочек и пряжек поддерживала на его талии крупнокалиберный кольт, висевший обнаженным, и две бомбы-лимонки, которые, ударяясь при ходьбе друг о друга, издавали звук, похожий на чоканье. На плече висел новенький японский карабин. Севериновцы решили, что этому человеку не знакомы ни страх, ни жалость.

В первые дни новый начальник ни с кем не знакомился и почти не слезал с Коханочки. Анна Семеновна, у которой накапливались неподписанные бумажки, выходила на крылечко и старалась перехватить начальника, когда он проносился через базарную площадь. Если ей это удавалось, начальник подъезжал к крылечку, не слезая с коня, прикладывал круглую печать к намазанной чернилами подушечке, которую подставляла ему Анна Семеновна, оттискивал печать на бумажке, подписывался и снова скрывался в клубах пыли.

Таинственные разъезды начальника еще более укрепляли севериновцев в их опасениях.

— Зверь! — говорили о нем.

Но с течением времени новый начальник стал меньше разъезжать и занялся распутыванием коекаких уголовных дел.

Помимо кольта и бомб-лимонок, предназначавшихся для обороны и нападения, он привез с собой увеличительное стекло для разглядывания следов, оставляемых преступником на месте преступления, и карманное зеркальце, с помощью которого можно было, не оглядываясь, установить, не идет ли ктонибудь сзади. К сожалению, перед отъездом из

Одессы он не сумел раздобыть очков с дымчатыми стеклами, париков и грима, которые могли бы оказаться очень полезными в Севериновке.

Он был несколько разочарован, убедившись, что деревенские преступники не оставляют после себя тех улик и вещественных доказательств, которые, по всем правилам, должны были бы оставлять на месте преступления: волосков, прилипших к орудиям убийства, оттисков пальцев, окурков, папиросного пепла и отпечатков подметок, которые позволяли бы судить о размерах обуви, походке, характере, имущественном положении и даже внешности правонарушителя. Преступники в Севериновке не оставляли после себя никаких следов. Как бы внимательно ни вглядывался он в свою лупу, он видел всегда одно и то же: мусор и какие-то щепочки.

Исключение представляли следы прикомандированного к розыску младшего милиционера Грищенко. Грищенко обладал прекрасными английскими ботинками военного образца, с круглыми шипами на подметке и каблуке. Такими ботинками три-четыре месяца назад торговали в Одессе белые и интервенты. Ботинки оставляли на дорожной пыли и грязи красивые отпечатки, позволявшие судить о передвижениях Грищенко по базарной площади. Отпечатки петляли по всей площади, пересекали ее во всех направлениях, но особенно густо было испещрено ими пространство вокруг рундуков, торговавших снедью. Учась понимать трудный язык следов, новый начальник часто бродил, опустив голову, по площади, вглядываясь в следы Грищенко и стараясь разгадать причины, которые побуждали младшего милиционера столь усердно колесить вокруг рундуков.

Грищенко очень понравился новому начальнику. Если бы природа захотела создать идеального младшего милиционера, она не смогла бы сделать его лучше. Грищенко обладал необыкновенными способностями в своем деле. Вскоре после приезда в Севериновку новый начальник поехал с ним в соседнее село, изобиловавшее самогонными заводами.

Была лунная ночь, спящее село лежало у их ног. Разглядывая с пригорка панораму села, начальник испытывал серьезное затруднение. Он не знал, как отличить хаты, внутри которых работают самогонные аппараты, от хат, где этих аппаратов нет. К его удивлению, Грищенко, втянув ноздрями воздух, уверенно направил бричку в один из дворов, где они и обнаружили самогонный аппарат. Покончив с этим делом, они выехали на улицу, и Грищенко, снова понюхав воздух, обнаружил второй аппарат. Замечательное обоняние было у Грищенко! Он безошибочно улавливал запах дыма, вьющегося из труб тех хат, где гнали самогон, никогда не смешивая его с дымом, который клубился над хатами, где пекли, например, хлебы. Он так точно различал самогонный запах, что, нюхнув печного дыма, мог уверенно сказать, какой самогон гонят в хате: кукурузный, сахарный, сливовый, пшеничный или из меляса. К сожалению, необыкновенное обоняние Грищенко из-за каких-то атмосферных помех отказывалось действовать в Севериновке, чем только и можно было объяснить, что северинoвские самогонщики до сих пор спасались от гибели.

Не менее замечательным было у Грищенко и осязание. На его правой руке сохранились только два пальца — указательный и мизинец, остальные были обрублены при неизвестных обстоятельствах. Всякий другой не смог бы показать и фигу столь изуродованной рукой, похожей на рогач, которым вытягивают из печки горшки. Грищенко же своей двупалой рукой творил чудеса. Погрузив ее в спекулянтский воз, он никогда не вытаскивал ее пустой. Его коричневые цепкие пальцы обязательно выуживали оттуда то квадратные куски подошвенной кожи, то верхний товар — головки, халявки или заготовки, то пачки с табаком, то осьмушки чая, то коробочки с сахарином, то еще что-нибудь из дефицитных предметов, запрещенных в те времена к вывозу из города. Слух о подвигах Грищенко пошел так далеко, что спекулянты стали объезжать Северинoвку стороной. Что касается других младших милиционеров, хотя и

пятипалых, но менее способных, то они считали сверхъестественную чувствительность грищенковских пальцев результатом его уродства: при ранении якобы были задеты какие-то нервы и сухожилия его правой руки, и это сообщило им почти электрические свойства.

Со своей стороны, Грищенко должен был признать превосходство нового начальника как человека со средним образованием в тех случаях, когда надо было составлять протоколы и акты осмотра найденных у дорог трупов.

В то неспокойное время трупы у дорог находили часто.

Новый начальник прекрасно составлял эти акты. Вначале он указывал положение трупа относительно стран света. Затем следовало описание позы, в которой смерть застигла жертву, и ран, которые ей были нанесены. Наконец, перечислялись улики и вещественные доказательства, найденные на месте преступления.

Обычно достоверно было известно только положение трупа относительно стран света: лежит он, например, головой к юго-востоку, а ногами к северо-западу или как-нибудь иначе. Но талант нового начальника проявлял себя с наибольшей силой именно там, где ничего не было известно. Несмотря на однообразие обстоятельств и мотивов преступлений, — все это были крестьяне, убитые на дороге из-за пуда муки, кожуха и пары тощих коней, — догадки и предположения, вводимые им в акты, отличались бесконечным разнообразием. В одном и том же акте иногда содержалось несколько версий относительно виновника и мотивов убийства, и каждая из этих версий была разработана настолько блестяще, что следствие заходило в тупик, так как ни одной из них нельзя было отдать предпочтения. В глазах начальства эти акты создали ему репутацию агента необыкновенной проницательности. В уезде от него ожидали многого.

Успехи нового начальника в этой области были тем более поразительны, что до приезда в деревню

он никогда не видел покойников. В семье его считали юношей чрезмерно впечатлительным и поэтому всегда старались отстранить от похорон. Но что были корректные, расфранченные городские покойники по сравнению с этими степными трупами!

Грищенко был первым человеком в Севериновке, который разгадал характер нового начальника. От зоркого глаза Грищенко не укрылось, что каждый раз, когда молодому начальнику приходилось вступать в объяснения с Анной Семеновной, на загорелом лице его проступала легкая краска. Вскоре после этого Грищенко установил, что таинственные разъезды начальника на кобыле Коханочке не имеют никакого другого повода, кроме болезненной застенчивости, заставляющей его искать уединения, мучительно стесняться и избегать людей малознакомых; Грищенко понял, что под грозной внешностью начальника скрывается натура робкая, доверчивая и деликатная.

Недели через две все в Севериновке — и Грищенко, и Анна Семеновна, и виднейшие самогонщики местечка, любившие посудачить в свободные часы на крылечке уголовного розыска, — называли нового начальника по имени — Володей. Севериновцы поняли, что на этот раз дело обойдется даже без желтых сапог, которые они уже собирались справлять ему всем местечком. Самогонные заводы, остановленные было на текущий ремонт до выяснения характера нового начальника, задымили в Севериновке так, как они никогда еще не дымили.

II

Однажды Володя возвращался с Поташенкова хутора, куда его вызывали по пустяковому делу о краже кур и гусей. Осмотр курятника не дал ничего существенного. Картина деревенского преступления, как всегда, оказалась скудной и невыразительной. В ней не было ни одной детали, которая могла бы дать пищу воображению. Опустошенный

сарайчик со следами недавнего пребывания в нем кур и гусей, сломанная дверка да несколько перьев, выпавших из петушиного хвоста в тот момент, когда злоумышленники извлекали птицу из курятника, — вот и все, что увидел Володя на месте преступления. Он составил протокол, приобщил перья к вещественным доказательствам и покинул хутор.

В этот день в Севериновке был базар, и Грищенко усердно подгонял лошадей. Грищенко очень любил базары. Лошади бежали проворной рысцой. Это была особая порода лошадей: мелкие, узкогрудые, животастые коники гнедой масти, они ничем не отличались бы от других лошадей, если бы не сургучные печати, привешенные к их жидким хвостам. Гнедые коники являлись вещественными доказательствами и в качестве таковых несли на себе номер дела и печати, подтверждающие их особое юридическое состояние.

Вещественные доказательства лишены свойств обыкновенных вещей. Их нельзя ни продавать, ни покупать, ни дарить, ни тем паче отчуждать в свою пользу. Однако в первые месяцы существования севериновского уголовного розыска вещественные доказательства как бы меняли свою юридическую природу. Происходило это благодаря единственному свойству, которое еще связывало эти предметы с круговоротом жизни: вещественные доказательства разрешалось выдавать во временное пользование. Это был патриархальный обычай, свято соблюдавшийся всеми предшественниками Володи. Такой порядок казался совершенно естественным: Грищенко, например, даже был искренне убежден, что вся деятельность севериновской милиции должна сводиться к добыванию вещественных доказательств, что они конечная цель всей работы уголовного розыска и милиции. К тому же он считал, что все в жизни временно и все, чем мы располагаем в этом мире, по существу, находится у нас во временном пользовании. Володя был очень смущен, когда восемь младших милиционеров во главе с Грищенко подали ему заявление: «Просим выдать во временное

пользование по одному фунту постного масла из камеры вещественных доказательств».

Но еще больше был смущен сам Грищенко, когда узнал о реформе, намеченной Володей в отношении конфискованного самогона. Узнав от Володи о предстоящем уничтожении самогона, он неправильно истолковал намерения нового начальника и поэтому спросил, плотоядно хихикая:

— А закуска, товарищ начальник, е?..

Но ему пришлось увидеть небывалое: ароматная, желтоватая струя лилась на землю; обертываясь в пыль, она растекалась длинными языками, орошая облюбованное милиционерами местечко в глубине двора, за сарайчиком, точно это не высокосортный первач, а бог знает что. И Грищенко, едва сдерживая стоны, должен был расписаться на «акте уничтожения». Затем наступила очередь самогонных баков и змеевиков, из которых многие поражали своим техническим совершенством. Это было воспринято в местечке как гибель культуры. Весть о необычайном событии разнеслась по району: вся округа погрузилась в горестное недоумение. Самогонщики были вне себя. Это ставило на голову всю их политику.

Обрадовался только местный доктор. Он сейчас же пришел к Володе и стал просить, чтобы конфискованный самогон передали в больницу, где давно уже не было спирта. С этого дня весь самогон шел в больницу.

Влекомая вещественными доказательствами бричка уже въезжала в местечко, когда со стороны базарной площади послышалась стрельба. Через минуту мимо Володи и Грищенко промчался новый открытый зеленый фургон. Молодой парень стоял на нем во весь рост, широко расставив ноги в залатанных штанах. Балансируя на ухабах, он нахлестывал разъяренных вороных жеребцов. Едва Володя успел позавидовать этому умению жителя степи — сам он не смог бы устоять и на подводе, едущей шагом, — как зеленый фургон скрылся в клубах пыли. Грищенко задумчиво посмотрел ему

вслед и, не ожидая распоряжений, погнал гнедых к базару.

Через минуту бричка выехала на площадь.

Базар был завален арбузами всех сортов — херсонскими, монастырскими, днепровскими, венками репчатого лука, синими баклажанами, нежно-розовыми глечиками, в которых вода остается прохладной в самый жаркий день, новыми просяными вениками и другими малопитательными и недефицитными предметами. Это был, так сказать, видимый базар. Внутри этого видимого базара существовал другой базар — невидимый, который и являлся главным. На невидимом базаре торговали салом, сахаром, кожей. Это был нервный базар, с торговлей из-под полы, вспышками паники, конфискациями и неожиданной стрельбой — базар 1920 года.

У въезда в постоялый двор гудела большая толпа. Из толпы навстречу бричке выскочил волостной милиционер Кондрат Жменя, запихивая на ходу новую обойму в свою трехлинейную винтовку.

Кондрат Жменя оглашал воздух бранью. Она сотрясала все его существо, мешая бежать, стрелять и говорить. Тем не менее, хотя и с помощью одних только ругательств, Жменя быстро и точно описал Володе происшедшее.

Только что, на глазах у всего народа, под носом у него, волостного милиционера Кондрата Жмени, в двух шагах от районной милиции и уголовного розыска, известный всему району дерзкий вор Красавчик угнал фургон и пару лошадей.

Володе не надо было объяснять, кто такой Красавчик. О поимке Красавчика он мечтал со дня своего приезда в Севериновку. Едва услышав это имя, Володя выскочил из брички.

— Где стоял фургон? — спросил он взволнованно.

Он бросился к месту, указанному Жменей, упал на колени и стал разглядывать дорожную пыль сквозь увеличительное стекло. Толпа затихла и с уважением следила за его действиями. Вокруг стояли немцы в черных чиновничьих фуражках и двубортных твинчиках, из-под которых виднелись бархатные

фиолетовые нагрудники, молдаване в длинных рубашках, расшитых красным и зеленым; украинские дивчины, замотанные белыми платочками по самые глаза; чинные местечковые самогонщики, одетые по-городскому. Володя видел только их сапоги, попадавшие иногда в фокус его двояковыпуклой линзы. Грищенко куда-то исчез. Володя ползал уже минуты две, но успел разглядеть только несколько непереваренных конскими желудками овсинок. От этого занятия его отвлек протиснувшийся сквозь толпу Грищенко.

— Що вы тут шукаете, товарищ начальник? Це ж одно смиття! — сказал он по-украински. Со всеми Грищенко разговарил по-русски, а с Володей почему-то только по-украински. — Чи, може, вы шукаете тут вещественные доказательства? — добавил он.

В его словах звучал льстивый оптимизм, с помощью которого он старался отвлечь внимание начальника от зажатого под мышкой круглого румяного кныша; происхождение кныша не оставляло сомнений, а быстрота, с которой он появился, была почти сверхъестественной.

Но Володя как зачарованный продолжал разглядывать землю, на которой запечатлелся невидимый след преступления.

— Прямо счастье, что толпа не затоптала следы, — сказал он. — Они нам расскажут, куда скрылся Красавчик.

— Красавчик? — удивился Грищенко. — Да мы ж бачили. До Одессы подался Красавчик.

— То есть как бачили? Почему до Одессы? — уставился на него Володя.

— Зеленый фургон у криницы мы бачили? Бачили. Хлопця на том фургоне мы бачили? Бачили. Та то ж Красавчик и був.

От изумления Володя чуть было не выронил увеличительное стекло.

— В погоню! — крикнул он и бросился к бричке.

— В каку погоню? — холодно спросил Грищенко, не трогаясь с места. — А коней напувать?

— Да ты же их напувал на хуторе, — удивился Володя.

Гнедые стояли понурившись. Их обвислые старческие губы едва не касались широких плоских копыт, рыжеватая шерсть была как бы побита молью, вместо хвостов торчали черные резиновые репки, почти лишенные волос. Понятие погони было чуждо их опыту и их физической организации. Гнедые занимали такое же место среди лошадей, как паровоз серии «фита» среди паровозов.

— Грищенко, — сказал Володя, сильно покраснев, — я приказываю тебе немедленно отправиться со мной в погоню.

Грищенко понял, что погоня неизбежна. Он засунул кныш в козлы, под сиденье, где хранились уздечки, цепной тормоз для спуска с крутого косогора и запасной шкворень; влез на сиденье и, глухо чертыхаясь, вытянул гнедых по бокам кнутовищем.

Через минуту бричка выкатилась на шлях, по которому они только что въезжали в местечко.

III

Грищенко безжалостно хлестал гнедых. Кнутовище с глухим стуком ударяло по их бугристым хребтам. Кони скакали тем вялым галопом, глядя на который встречные лошади не могут прийти в себя от изумления. Столь медленный галоп, несомненно, находился на грани невозможного. Высоко вскидывая то головы, то крестцы, гнедые колыхались над дорогой, и со стороны никак нельзя было понять, мчатся они во весь карьер или плетутся шагом. Их тянуло назад, к камере вещественных доказательств, к овсу.

— Но-о, милицейская худоба! — кричал Грищенко, хлопая гнедых кнутовищем по угловатым крупам, по гофру ребер и даже по черепам, издававшим кувшинный звон.

Но ему не удавалось выколотить из лошадей ничего, кроме пыли. Равнодушно отмахиваясь сургучными печатями, гнедые продолжали симулировать галоп. Грищенко стоял на передке в позе Красавчика; балансируя на ухабах, он широко замахивался

на гнедых, гикал, свистел. Всем своим видом он изображал лихую погоню. Была ли в этом шуме и свисте какая-то фальшивая нота, понятная лошадям, или, быть может, между энергичным причмокиванием, подергиванием вожжей и взмахами кнута существовал какой-то разнобой, приводивший к тому, что каждое из этих действий как бы отменяло предыдущее, но скорости не прибавлялось.

Грищенко тянуло назад, в местечко, к туго набитым мужицким возам, к маленьким базарным радостям и удачам, от которых его так бессмысленно оторвали.

Когда бричка взобралась на бугор, Грищенко обернулся к Володе и показал вперед кнутовищем. По противоположному склону балки двигался зеленый фургон. Возница его ехал стоя, нахлестывая лошадей. Володе страшно захотелось соскочить с брички, сбросить с плеча японский карабин, упасть на колено и пустить меткую пулю вдогонку беглецу. Но он постеснялся Грищенко: как-никак до фургона было километра два, и этот выстрел мог показаться Грищенко недостаточно солидным. Пока Володя боролся с сомнениями, зеленый фургон перевалил через бугор и исчез из глаз. Падать на колено уже было поздно.

Когда они взобрались на второй бугор, впереди уже никого не было видно.

Володя начал опрашивать встречных.

— Будьте любезны, скажите, пожалуйста, — вежливо обращался он к проезжему дядьку, — вы зеленый фургон и вороных жеребчиков по дороге бачили?

— Бачили, бачили, — отвечал дядько, — вон за тим горбочком.

Дядько долго стоял на месте и смотрел вслед бричке, а они скакали дальше, пока не встречали другого дядька, и тот тоже после разговора с Володей застывал на месте и глядел ему вслед.

Уже много дядьков стояло как зачарованные на пыльном шляху, а Володя все продолжал расспросы.

— Простите, не побачили ли вы зеленый фургон с вороными жеребчиками? — спрашивал он, и все отвечали ему, что бачили.

Грищенко мрачно молчал, не желая облегчать переговоры с дядьками.

Чем ниже опускалось солнце, тем меньше дядьков попадалось им навстречу. Когда же бричка взобралась и на третий горбочек, Володя и Грищенко уже ничего не увидели впереди, так как стало темно.

Из темноты навстречу бричке выехал длинный обоз.

В те времена люди по шляхам ночью не ездили. Селяне, купцы, балагулы старались попасть на постоялый двор засветло. Если же сумерки настигали проезжего в пути, он останавливался и ждал попутчиков. Подъезжала одна подвода, потом другая, третья. И когда их собиралось много, они двигались шумным обозом. Так во время войны ходили по морям караванами торговые суда союзных держав, спасаясь от подводных лодок.

Лиц дядьков не было видно, только цигарки вспыхивали в темноте и сквозь скрип колес были слышны слова — то украинские, то болгарские, то немецкие. Володя спрашивал невидимых дядьков. Они тоже встречали одинокий фургон, но не могли сказать, был ли он зеленым.

Еще полчаса ехали Володя и Грищенко, никого не встречая. Проехав Ильинку, Грищенко остановил бричку, чтобы посвистать гнедым.

— Чуете? — спросил он, прислушиваясь к чему-то.

— Чую, — ответил Володя, думая, что вопрос относится к поведению лошадей.

Но Грищенко продолжал вслушиваться в степную тишину.

Где-то звенели втулки фургона. Звук то усиливался, то замирал, окраска его менялась: то он был похож на шум струи, льющейся из крана, то на комариное пение.

— Красавчик, — сказал Грищенко, ткнув в темноту кнутовищем.

Не раз удивлял он Володю своим необыкновенным слухом. По звону втулок он за три версты мог определить, едет ли фургон, или рессорный молочник, или арба, или бричка, или мажара. А в своей

деревне, слыша далекий звон втулок, он мог даже сказать, чей фургон едет, чья арба, чей молочник.

Ильинка и Куяльницкий лиман, блеснувший где-то внизу, остались слева. Бричка спускалась в балку, к тому месту, где в нескольких саженях от дороги стоял остов сожженного грузовика. На всем шляху — от Одессы до самой Балты — не было места хуже. Придорожная верба у Ангелова хутора, гребля за Яновской, погорелая Петроверовская экономия, могила у Ширяева и еще одна могила поближе к Одессе — все эти опаснейшие места степного фарватера, известные всякому, кто ездил тогда по Балтскому шляху, не могли сравниться с этим зловещим грузовиком в балочке за Ильинкой.

Кругом зияли выходы из каменоломен. Неподалеку вытянулись нехорошие села Кубанка и Малый Буялык.

Грищенко остановил бричку и, громыхнув затвором, вогнал в ствол патрон. Володя торопливо сделал то же.

— Но, милицейская худоба, — сказал Грищенко негромко, и они двинулись вперед.

Володя сжимал карабин, едва сдерживая радость. Он убеждался, что храбр. Он склонялся к этой мысли и раньше, но, желая быть честным и требовательным к себе, откладывал окончательный вывод до проверки на деле. Володя спокойно вглядывался в темноту, и, хотя очертания грузовика казались ему более уродливыми и зловещими, чем обычно, рука его, ощущавшая влажное от вечерней сырости ложе карабина, была тверда.

Он даже почувствовал некоторое разочарование, когда убедился, что бандиты, по-видимому, решили не появляться этой ночью у грузовика. Но едва он подумал об этом, как Грищенко так резко осадил коней, что Володя, державший указательный палец на курке своего карабина, едва не выстрелил ему в спину.

Грищенко соскочил с козел и показал вперед дулом своего манлихера. Володя тоже соскочил и, выставив вперед свой карабин, стал рядом с Грищенко

— Бачите? — спросил тот Володю замороженным голосом.

— Ни, — ответил Володя почему-то по-украински.

Грищенко присел на корточки. Володя присел рядом с ним и почти приник щекой к земле: так ночью в степи лучше видно — очертания предметов вырисовываются на светлом фоне неба.

— Якась зараза там на дороге качается, — прохрипел Грищенко.

Наконец и Володя увидел впереди что-то большое, черное. Черное пятно бесшумно двигалось то в сторону, то навстречу, угрожающе шевелилось. Иногда оно приподнималось над дорогой и несколько мгновений висело в воздухе, иногда застывало на месте.

Они сидели на корточках довольно долго, но черное пятно не уступало дороги. Ничто не нарушало тишины. Наконец Грищенко встал, и они начали медленно продвигаться вперед.

Вдруг слабый, едва уловимый запах долетел до них. Грищенко выпрямился и матюкнулся. Они быстро пошли вперед, и чем ближе подходили к черному пятну, тем удушливее становился запах. Ночной мираж исчез. Пятно перестало качаться в воздухе и приняло определенные очертания. У обочины лежала дохлая лошадь с огромным вздувшимся животом. В тот год у дорог валялось много дохлых лошадей.

Они вернулись к бричке. Грищенко, растерев на ладони щепоть доморослого «самограя», свернул толстую цигарку. Желтое пламя зажигалки на секунду осветило ухабы и выбоины его щербатого лица.

— Чуете? — спросил он, затягиваясь.

Где-то тонкой свирелью звенели втулки.

— Хоть бы какой-нибудь отпечаток, какой-нибудь след, какая-нибудь примета, — грустно сказал Володя.

Но у следствия не осталось ничего. Все следы, все отпечатки остались на месте преступления и погибли безвозвратно.

— Приметы? — сказал Грищенко. — Приметы я вси бачив.

Он приставил палец к ноздре и звучно высморкал-

ся в степь; затем приставил палец к другой ноздре и высморкался еще раз.

— Заднее левое колесо новое, — сказал он наконец, — спицы не крашены. На задку — розочки... Жеребцы вороные, два аршина, два вершка, белые лысины, хвосты стрижены... Нарытники немецкой работы, с бляшками... Ще що? Кони не кованы.

Володя оторопел. Он знал, что Грищенко обладал поразительным зрением, но то, что он сейчас услышал, превзошло все его ожидания. Сколько важных вещей сумел увидеть и запомнить этот человек, взглянув мельком на мчавшийся зеленый фургон, который пронесся мимо них и скрылся в клубах пыли раньше, чем он, Володя, успел заметить лицо преступника!

Догнать Красавчика не было никакой надежды. Грищенко сел на сиденье рядом с Володей, вынул из козел кныш и, разломив его пополам, угостил начальника. Володя рассеянно принял угощение. В голове у него зрел план.

— Правь на Одессу, — сказал он после долгого раздумья.

Грищенко чмокнул. Усталые гнедые поплелись к Одессе.

Кныш оказался с гречневой кашей, печенкой и шкварками. Съев кныш, Володя и Грищенко задремали, зная, что гнедые сами найдут дорогу в город. Долго еще слышалось Володе далекое верещанье, но он уже не знал, верещат это втулки Красавчика или у него самого звенит в ушах. Бричка вздрагивала на ухабах, чокались друг о друга германские бомбы-лимонки, черный американский кольт, качаясь на ремешке, позвякивал о сталь японского карабина, а молодой начальник, прислонившись к плечу соседа, тихонько посапывал, словно дул в камышинку.

IV

Как разгадать намерения преступника, если о них ничего не известно? Володя знал, что отвечают на этот вопрос теория и практика розыска: нужно поставить себя на место преступника.

Что сделал бы он, Володя, на месте Красавчика? Длинная цепь логических умозаключений привела Володю к выводу, что на месте Красавчика он заехал бы на ночевку в какой-нибудь постоялый двор на окраине Одессы.

Володя решил переночевать в Одессе, а рано утром тщательно осмотреть подозрительные постоялые дворы на Балковской улице. Таков был план, который он составил, жуя грищенковский кныш. Кстати, на завтра у него была назначена в Одессе встреча с агентом второго разряда Шестаковым по очень важному и совершенно секретному делу.

Если Грищенко в глазах Володи являлся олицетворением фронтовой доблести, то новый агент второго разряда Виктор Прокофьевич Шестаков, прибывший в Севериновку на неделю позже Володи, представлял собой зрелище более чем невзрачное. В Грищенко все говорило о подвиге: и короткая австрийская шинель, и тяжелый манлихер, который он носил на ремне прикладом вверх, и серьга в ухе, и знаменитая двупалая рука. Володя уважал Грищенко за зрение, за слух, за обоняние, за осязание. Он уважал его за ботинки — знаменитые английские военные ботинки на шипах, весом по два с половиной кило каждый, ботинки героя.

А Шестаков, немолодой, болезненный человек, ходил по улице в деревянных сандалиях, дома же — босиком. Деревянные сандалии, называвшиеся в Одессе «стукалками», при ходьбе щелкали, как кастаньеты, и по этому шуму за километр можно было узнать о приближении детектива. Володя не раз с неудовольствием спрашивал Шестакова:

— Ну, а что вы будете делать со своими стукалками, Виктор Прокофьевич, если вам придется подкрадываться?

И Виктор Прокофьевич смущенно отвечал:

— Тогда я их сниму и буду подкрадываться босиком.

В общем сначала Володя недолюбливал Виктора Прокофьевича за стукалки, за седенькую проперченную эспаньолку, которая помешала бы ему загрими-

роваться, если бы этого потребовала служба, за покатые плечи, которые делали его заведомо негодным для джиу-джитсу. Эгоизм восемнадцатилетнего здоровяка мешал Володе проникнуться сочувствием к болезням пожилого человека. Он не верил в существование катара желудка, диабета и камней в почках. Лицо Виктора Прокофьевича носило на себе следы всех болезней, свойственных его возрасту. Покрытое мешочками, припухлостями, складочками и извилинами, оно рассказывало о них, как оглавление о содержании книги. Одно веко у него часто подмигивало, и Володя думал сначала, что Виктор Прокофьевич подмигивает нарочно. Все свои болезни Виктор Прокофьевич разделял на внутренние и хирургические. Однако он не лечил ни тех, ни других. Не признавая официальной медицины, он являлся последователем универсальной системы траволечения. Он применял ее много лет и главным аргументом в ее пользу считал тяжелое состояние своего здоровья. Чем хуже ему становилось, тем больше крепла его вера в систему траволечения. «Какова должна быть ее целебная сила, — говорил он, — если даже столь серьезные болезни не в состоянии ее победить?» Разруха лишила Виктора Прокофьевича необходимых ему лекарственных трав и снадобий. Но с прекращением траволечения здоровье его не ухудшилось. Объяснение этому нужно искать в явлении, отмеченном многими наблюдательными людьми: болезни, лишенные в суровую эпоху войны и голода того внимания, забот и ухода, которыми их обычно окружают, зачахли, захирели и потеряли былую власть над человеком. Верно это или нет, но Виктор Прокофьевич, скрипя и перемогаясь, нес службу. Он не был мнительным. Наоборот, он находил злорадное удовольствие в пренебрежении к своим болезням. Он не хотел их нежить в постели. Он заставлял их прозябать. И только катар желудка иногда брал над ними верх. Тогда он присаживался на корточки и, считая, что это ему помогает, пребывал в этой позе часами, пока не проходил приступ. Лицо его становится беспомощным и немного виноватым. Все мешочки, припух-

лости и складочки выступали на нем еще более рельефно, чем обычно. «Забирает, собака!» — говорил он, как бы оправдываясь в своей слабости.

С нетерпимостью первого ученика Володя осуждал и то, что можно назвать научными заблуждениями Виктора Прокофьевича. Не получив никакого образования, взявшись за чтение уже в пожилом возрасте, Виктор Прокофьевич пронес через всю жизнь бремя некоторых научных заблуждений, от которых ни за что не хотел отказываться.

Не человек произошел от обезьяны, а обезьяна от человека. Огурцы вредны. Писатель Алексей Толстой — сын Льва Толстого. Лучший в мире пистолет — наган солдатского образца. Арбузы чрезвычайно полезны. Евреи могут петь только тенором. Характер мышления зависит от состава пищи и т. д.

Желая отметить свое пятидесятидвухлетие, Виктор Прокофьевич поехал в Одессу и купил себе в подарок гипсового коня. Володя иронически отнесся к этому поступку. С нечуткостью человека, никогда не знавшего, что такое одиночество, избалованного привязанностью друзей и родных, он осуждал маленькие чудачества и странности этого старого заброшенного холостяка.

Но однажды Виктор Прокофьевич прогремел на весь уезд: он разыскал и вернул потерпевшему пару украденных лошадей. Обнаружение украденных лошадей в те времена в уездном розыске считалось почти невозможным. Сам начальник уезда товарищ Цинципер поддерживал эту теорию. Виктор Прокофьевич, работавший в розыске всего лишь недели две, проявил в этом деле прямолинейность невежды. Пренебрегая самой элементарной разработкой, как был, в деревянных стукалках, он поехал на ближайший конский рынок, где потерпевший и опознал своих кобыл.

С этого дня Володя стал подозревать в Викторе Прокофьевиче талант самородка, поселился с ним в одной комнате и в конце концов подружился со стариком. Он понял, что все научные заблуждения Виктора Прокофьевича, все его маленькие чудачест-

ва не могут заслонить двух его качеств: честности и здравого смысла. В свою очередь, Шестаков привязался к Володе. Это не была корыстная и насмешливая дружба Грищенко, а искренняя привязанность человека добродушного и бесхитростного.

Шестаков был старым метранпажем. Всю жизнь он простоял за талером в одной из типографий Рязани. Ровная и спокойная линия его судьбы под конец изобразила неожиданную закорючку: типографию ликвидировали, а его перебросили на работу в милицию. Как раз в это время в Рязани и уездных городах — Пронске, Егорьевске, Сапожке, Спасске — набирали милиционеров для посылки на Одессщину, только что освобожденную от белых. Шестаков, считавший свои болезни действительными только при призывах в царскую армию, принял мобилизацию без возражений. Как был, в черной сатиновой рубашечке с перламутровыми пуговичками, подпоясанный шнурком, нацепив лишь большой милицейский нагрудный знак, он погрузился в теплушку и после двухнедельного путешествия вместе с тремястами пожилых рязанских милиционеров прибыл в Одессу. Все это были члены профессиональных союзов, люди непризывных возрастов, степенные и малоподвижные; в первое время им трудно было тягаться с многоопытными одесситами, которых стесняли рамки законности. Два качества, однако, делали их большой силой: верность и честность. Все знали: раз рязанец — значит, ничего не возьмет и никого напрасно не обидит. В Одессе Шестакова перевели из милиции в уголовный розыск. Так старый метранпаж стал агентом уголовного розыска, так он променял Рязань, в которой прожил всю жизнь, на Одессу, и все это случилось раньше, чем типографская краска вымылась из-под его ногтей.

Товарищ Цинципер внимательно отнесся к новому агенту, решил не бросаться им зря и поэтому направил его в Севериновку, так как считал, что именно здесь под руководством Володи тот приобретет наиболее глубокие знания в наиболее короткий срок.

Володя усердно занялся повышением квалификации Виктора Прокофьевича. Он заставил его прочитать учебник судебной медицины, ознакомиться с основами химии и даже проштудировать курс дактилоскопии, хотя севериновский уголовный розыск и не располагал еще ни дактилоскопическим кабинетом, ни преступниками, которые могли бы оставлять в нем отпечатки своих пальцев. С присущим ему уважением к книгам Виктор Прокофьевич читал все, что ему давал Володя; он внимательно выслушивал историю о баскервильской собаке и с интересом разглядывал сквозь лупу строение текстильных тканей, эпидермис и человеческие волосы различных групп, добываемые Володей у младших милиционеров. При этом он думал то, что должен был думать старый благоразумный типограф, знающий и видящий многое такое, чего нельзя разглядеть в самую сильную лупу. Однажды вечером, сидя по обыкновению на корточках у стены и дымя козьей ножкой, он сказал Володе:

— Как хотите, Володя, а мое мнение такое: главное в нашем деле — не ползанье на четвереньках с увеличительным стеклом, а поддержка населения. Кого больше — честных людей или жуликов? Если все честные люди возьмутся нам помогать, мы скоро останемся без работы.

Он стал разъезжать по комитетам незаможников, деревенским ячейкам комсомола, всеобучам, делал доклады в волостных ревкомах и тихо и незаметно, без шума и стрельбы изрядно почистил за месяц несколько деревень вокруг Севериновки. Благодаря Виктору Прокофьевичу в камере арестованных севериновского уголовного розыска, наконец, затеплилась жизнь. Он обнаружил преступников там, где Володе никогда бы не пришло в голову их искать: в самой севериновской раймилиции. Он извлек оттуда целую плеяду взяточников и даже, невзирая на протесты Володи, стал подбираться к Грищенко.

Отрицать успехи Виктора Прокофьевича Володя не мог, но применяемые им методы он считал кустарными. «Это все равно, что красивое пение без школы», — говорил он. Шестаков между тем, ободрен-

ный удачами, поставил перед собой задачу, которую Володя считал непосильной даже для себя. Он решил поймать знаменитого бандита Сашку Червеня.

Поимка Червеня и была тем важным и совершенно секретным делом, ради которого у Володи было назначено свидание в Одессе с Виктором Прокофьевичем.

V

Володя приехал домой поздно ночью, бросился в чистую постель, приказал, чтобы его разбудили ровно без двадцати минут шесть, и моментально уснул.

Ровно без двадцати минут шесть мать разбудила Володю. За годы его учения она приучила себя просыпаться в заказанное сыном время с точностью до одной минуты. Если бы это понадобилось Володе, она могла бы проснуться в шесть минут пятого или без семнадцати три.

Проснувшись, Володя по старой привычке нежился минут пятнадцать в постели, хотя и сознавал, что каждая минута промедления может оказаться гибельной для дела.

Эти пятнадцать минут были наполнены приятными размышлениями. Володя вспомнил, что отвечает за пять волостей, и эта мысль доставила ему удовольствие. Он повторил про себя названия своих волостей: Севериновская, Бельчанская, Фестеровская, Куртовская, Буялыкская. Он представил себе их очертания на географической карте. Фестеровская волость была похожа на маленькую Италию, а весь район — на распластанную телячью кожу. Володя вспомнил улицы, площади, рощи и баштаны знакомых сел, помечтал о неизвестных землях и неисследованных хуторах на окраине района, где он еще не успел побывать.

Володя полюбил деревню так, как может полюбить ее только закоренелый горожанин в семнадцать лет. Поездка в незнакомое село радовала его, как географическое открытие. Володю влекло туда, где

не ступала еще его нога. За каждым горбочком, за каждой рощей перед ним открывались неизвестные страны. В бричке он становился путешественником. Ему нравился самый процесс езды: в бричках ездили ответственные работники. В пути, разморенный зноем и монотонным покачиванием, Володя любил наблюдать, как мелькает заклепка на ободе колеса, как вздрагивает на ухабах проеденное ржой крыло брички, как подпрыгивает съехавший на спину наган Грищенко, сидящего на козлах. Он с гордостью думал, что все это движение совершается ради него. От него зависит, куда ехать. Везут его, Володю. Ради него, Володи, вертятся колеса, семенят гнедые коники и Грищенко размахивает кнутом.

Тщеславие, простительное в человеке, который еще не привык быть взрослым, иногда побеждало врожденную Володину скромность. В глубине души он сознавал, что носит кольт обнаженным не потому, что это удобно, а потому, что это приятно. Не менее приятно было ставить на бумаге круглую печать. Иногда он оттискивал ее и на тех бумагах, где достаточно было углового штампа. В протоколах допроса ему нравилась заключительная фраза: «Больше ничего показать не имею, в чем и расписываюсь». Ему импонировала и общая конструкция фразы и особенно глагол «не имею». Ему казалось, что это слово превосходно отражает ту крайнюю степень опустошенности, какую являет собой обвиняемый в результате искусного допроса — обессиленный, дрожащий, открывший все свои мрачные тайны, раздавленный неумолимой логикой следователя.

Но больше всего Володя любил расхаживать по базару меж возов и ловить на себе почтительные взгляды приезжих хозяев. Иногда он подходил к ним и проверял их документы и конские карточки. Дядьки были большей частью совершенно мирные, и документы их оказывались в полном порядке. Володя уходил от возов, чувствуя свою вину перед дядьками; он был молод и не догадывался, что дядьки им весьма довольны. Довольны же они были потому, что испытывали радостное ощущение миновавшей опасно-

сти. Сохраняя монументальную неподвижность, которая позволяла догадываться о том, что они сидят на продуктах, привезенных для продажи и спрятанных где-то в глубине фургонов, под мешками с сечкой, под овчинами, ряднами и соломенной трухой хозяева еще долго смаковали воспоминание о неприятностях, которые могли с ними произойти, но не произошли; а Володя в это время шагал в другом конце базара, пристально вглядываясь в лица дядьков и чувствуя на себе их почтительные взгляды.

Володя гордился не только своей работой, но и своими друзьями: верным Шестаковым и смельчаком Грищенко. Но его очень огорчала неприязнь, которую питали друг к другу эти превосходные люди. Действительно, им трудно было сойтись — уж очень они были различны. Шестаков был совершенно равнодушен к вещественным доказательствам. Грищенко обожал обыски и конфискации. Шестаков был близорук, кособок и немного смешон; Грищенко был строен, могуч и ловок, как Кожаный Чулок. Только один раз мелькнула надежда, что они сойдутся во взглядах: совершенно случайно выяснилось, что Грищенко, так же как Шестаков, является горячим сторонником траволечения. Увы! Грищенко считал, что все травы нужно настаивать на водке. Он даже рассматривал последнюю как главный ингредиент целебного настоя. Это вызвало, конечно, горячие возражения со стороны Виктора Прокофьевича и в конце концов еще более отдалило друг от друга Володиных друзей.

Итак, Володя нежился в постели: но, вспомнив о Балковской, он вскочил на ноги. Он одевался, умывался и завтракал с такой стремительностью, что уже через десять минут был совершенно готов. Нацепив на себя кольт и торопливо чмокнув мать, он побежал к Шестакову.

Володя избегал приподнимать завесу над своим прошлым. Биография была его больным местом.

В каждом гвоздике грищенковских ботинок, в каждой рябине его изрытого оспой лица было больше героизма, чем во всем Володином прошлом. Кто бы

мог подумать, что за спиной начальника северинов-ского уголовного розыска нет ничего, кроме гимназии! Что человек, приводивший в трепет целое местечко, еще два месяца назад был гимназистом седьмого класса? Но это было так. По молодости лет Володя ни с кем не воевал: ни с белыми, ни с петлюровцами, ни с махновцами, ни с григорьевцами. Он не был ни на одном из фронтов и две собственные бомбы-лимонки, привезенные им с собою в Севериновку, он выменял у знакомого пятиклассника на фотоаппарат, полученный от папы в день рождения.

Он попал в уголовный розыск по знакомству. Друг отца, помощник присяжного поверенного Цинципер, подвергавшийся репрессиям при царизме, был назначен советской властью начальником уездного уголовного розыска. Товарищ Цинципер, человек городской, гуманитарного воспитания, никогда до этого назначения в деревне не бывал, если не считать выездов на дачу в Гниляково. Из крестьян он знал только молочниц. Вероятно, ему никогда не приходилось видеть и преступников. Он не встречал их даже в качестве подзащитных, ибо из-за радикальных убеждений при старом строе был лишен практики. Однако назначение товарища Цинципера не было ошибкой. Дело в том, что у советской власти совершенно не было специалистов по уголовному розыску. Специалисты были лишь из старого сыскного отделения, но их не только нельзя было привлекать к работе, но, наоборот, полагалось разыскивать и сажать. И получилось почему-то так, что больше всего в уездном уголовном розыске оказалось присяжных поверенных; на втором месте были гимназисты, затем шли педагоги, зубные врачи и прочие лица, отбившиеся от своих профессий, лица совсем без определенных занятий и, наконец, просто лица, искавшие случая поехать в деревню за продуктами. Среди них затерялась кучка пожилых рязанских милиционеров и несколько рабочих-коммунистов, присланных укомом партии. Таков был уголовный розыск, которому предстояло победить преступность на родине Мишки Япончика.

Володин отец не был в восторге от того, что товарищ Цинципер принял на службу его сына. Отец всегда мечтал о том, что Володя пойдет на филологический факультет Новороссийского университета. Мальчик лучше всех в классе писал сочинения и редактировал гимназический журнал «Следопыт». Правда, могло быть еще хуже. Конечно, уголовный розыск — это не филологический факультет. Но каково было одному из его знакомых, чей сынок пошел в воры?

Три с лишним года Одессу окружала линия фронта. Фронт стал географическим понятием. Казалось законным и естественным, что где-то к северу от Одессы существуют степь, леса Подолии, юго-западная железная дорога, станция Раздельная и станция Перекрестово, река Днестр, река Буг и — фронт. Фронт мог быть к северу от Раздельной или к югу от нее, под Бирзулой или за Бирзулой, но он был всегда. Иногда он уходил к северу, иногда придвигался к своему городу и рассекал его пополам. Война вливалась в русла улиц. Каждая улица имела свое стратегическое лицо. Улицы давали названия битвам. Были улицы мирной жизни, улицы мелких стычек и улицы больших сражений — улицы-ветераны. Наступать от вокзала к думе было принято по Пушкинской, между тем как параллельная ей Ришельевская пустовала. По Пушкинской же было принято отступать от думы к вокзалу. Никто не воевал на тихой Ремесленной, а на соседней Канатной не оставалось ни одной непрострелянной афишной тумбы. Карантинная не видела боев — она видела только бегство. Это была улица эвакуаций, панического бега к морю, к трапам отходящих судов.

У вокзала и вокзального скверика война принимала неизменно позиционный характер. Орудия били по зданию вокзала прямой наводкой. После очередного штурма на месте больших вокзальных часов обычно оставалась зияющая дыра. Одесситы очень гордились своими часами; лишь только стихал шум боя, они спешно заделывали дыру и устанавливали на фасаде вокзала новый сияющий циферблат. Но

мир длился недолго; проходило два-три месяца, снова часы становились приманкой для артиллеристов; стреляя по вокзалу, они между делом посылали снаряд и в эту заманчивую мишень. Снова на фасаде зияла огромная дыра, и снова одесситы поспешно втаскивали под крышу вокзала новый механизм и новый циферблат. Много циферблатов сменилось на фронтоне одесского вокзала в те дни.

Так три с лишним года жила Одесса. Пока большевики были за линией фронта, пока они пробивались к Одессе, городом владели армии центральных держав, армии держав Антанты, белые армии Деникина, жовто-блакитная армия Петлюры и Скоропадского, зеленая армия Григорьева, воровская армия Мишки Япончика.

Одесситы расходились в определении числа властей, побывавших в городе за три года. Одни считали Мишку Япончика, польских легионеров, атамана Григорьева и галичан за отдельную власть, другие — нет. Кроме того, бывали периоды, когда в Одессе было по две власти одновременно, и это тоже путало счет.

В один из таких периодов произошло событие, окончательно определившее мировоззрение Володиного отца.

Половиной города владело войско украинской директории и половиной — добровольческая армия генерала Деникина. Границей добровольческой зоны была Ланжероновская улица, границей петлюровской — параллельная ей Дерибасовская. Рубежи враждующих государственных образований были обозначены шпагатом, протянутым поперек улиц. Квартал между Ланжероновской и Дерибасовской, живший меж двух натянутых шпагатов, назывался нейтральной зоной и не имел государственного строя.

За веревочками стояли пулеметы и трехдюймовки, направленные друг на друга прямой наводкой.

Чтобы перейти из зоны в зону, одесситы, продолжавшие жить мирной гражданской жизнью, задирали

ноги и переступали через веревочки, стараясь лишь не попадать под дула орудий, которые могли начать стрелять в любую минуту. Однажды и Володин отец, покидая деникинскую зону, занес ногу над шпагатом, чтобы перешагнуть через него. Но, будучи человеком немолодым и неловким, он зацепился за веревочку каблуком и оборвал государственную границу. Стоявший поблизости молодой безусый офицер с тонким интеллигентным лицом не сказал ни слова, но, сунув папироску в зубы, размахнулся и ударил Володиного отца по лицу. Это была первая оплеуха, полученная доцентом медицинского факультета Новороссийского университета за всю его пятидесятилетнюю жизнь. Почти ослепленный, прижимая ладонь к горящей щеке, держась другой рукой за стену, он побрел, согнувшись, к Дерибасовской и здесь, наткнувшись на другую веревочку, оборвал и ее. Молодой безусый петлюровский офицер с довольно интеллигентным лицом развернулся и ударил нарушителя по лицу. Это была уже вторая затрещина, полученная доцентом на исходе этой несчастной минуты его жизни. Когда-то он считал себя левым октябристом, почти кадетом; он заметно полевел после того, как познакомился с четырнадцатью или восемнадцатью властями, побывавшими в Одессе; но, получив эти две оплеухи, он качнулся влево так сильно, что оказался как раз на позициях своего радикального друга Цинципера и сына Володи.

...Город просыпался, когда Володя выбежал на улицу. Улицы были пустынны, солнце еще пряталось за крышами домов, сыроватый воздух был по-ночному свеж. Однако это не был нормальный утренний пейзаж мирного времени. Это не было пробуждение города, который плотно поужинал, хорошо выспался, здоров, спокоен и рад наступающему дню. Не было видно пожилых, в опрятных фартуках дворников, размахивающих метлами, как на сенокосе, и румяных молочниц, несущих на коромыслах тяжелые бидоны с молоком; не гудел за поворотом улицы первый утренний трамвай; подвалы пекарен не обдавали жаром ноги прохожих, и забытая электрическая лампоч-

ка не блестела бледным золотушным светом на фоне наступившего дня. Никто не подметал Одессу, никто не поил ее молоком. Уж год не ходили трамваи, давно не было в городе электричества, а в пекарнях было пусто.

Но утро есть утро, и город есть город. И как ни скуден был пейзаж просыпающейся Одессы, в нем были свои характерные черты. Заканчивая свои ночные труды, молодые одесситы спиливали росшие вдоль тротуаров толстые акации. Они занимались этим по ночам не столько из страха ответственности, сколько из чувства приличия и почтения к родному городу. Когда любимые дети обкрадывают родителей, они боятся не уголовного наказания, а общественного мнения. Стволы и ветки акации тут же, на тротуаре, распиливались на короткие чурбанчики, которые складывались пирамидками на перекрестках. Через час сюда придут домашние хозяйки и будут покупать дрова для своих очагов. Дрова продавались на фунты, и каждый фунт стоил десятки тысяч рублей. В эти дни погибла знаменитая эстакада в одесском порту. Одесситы гордились ею не меньше, чем оперным театром, лестницей на Николаевском бульваре и домом Попудова на Соборной площади. О длине и толщине дубовых брусьев, из которых она была выстроена, в городе складывали легенды. Будь эти брусья потоньше и похуже, эстакада, возможно, простояла бы еще десятки лет. Но в дни топливного голода столь мощное деревянное сооружение не могло не погибнуть. Эстакаду спилили на дрова. Еще несколько месяцев назад жители заменяли дрова жмыхами, или, как их называли в Одессе, макухой. Теперь же макуха заменяла им хлеб. Одесситы, гордившиеся всем, что имело отношение к их городу, переносили это чувство даже на голод, который их истреблял, утверждая, что подобного голода не знала ни одна губерния в России, за исключением Поволжья.

Белинская улица, потерявшая за последние недели все свои великолепные акации, казалась Володе просторной и пустой, как комната, из которой вынес-

ли мебель. Стекла в окнах домов были оклеены бумажными полосами. Опыт показал домашним хозяйкам, что эти бумажки предохраняют стекла от сотрясения воздуха во время артиллерийских обстрелов, бомбардировок с моря и взрывов пороховых погребов.

Пробежав Белинскую улицу почти до конца, Володя вошел во двор большого бедного дома на углу Базарной. Здесь остановился Шестаков.

VI

Червень, которого сегодня собирался арестовать Виктор Прокофьевич, был не менее знаменит, чем Красавчик, а во многих отношениях даже превосходил его. Если мелких жуликов бывший метранпаж называл «нонпарелью», то такие бандиты, как Червень, заслуживали сравнения с афишным шрифтом самых крупных кеглей.

Бывший прапорщик Сашка Шварц, известный под кличкой Червень, что значит июнь, был одним из опаснейших бандитов в уезде. Это ему принадлежал знаменитый афоризм: «Хорошо стреляет тот, кто стреляет последним».

— Если вам захотелось выстрелить, — говорил Сашка Червень, — то делайте это так, чтобы после вас уже не мог стрелять никто... А для этого советую всегда стрелять первым. Никогда не сомневайтесь, нужно ли стрелять. Сомнение есть повод для стрельбы. Не стреляйте в воздух: не оставляйте свидетелей. Не жалейте их, так как и они вас не пожалеют. Живой свидетель — дитя вашей тупости и легкомыслия.

Не кто иной, как Сашка Червень, изобрел знаменитый прием — стрелять сквозь шинель. Руки его всегда были в карманах, в каждом кармане лежало по пистолету, и у обоих пистолетов курки были на взводе. Червень стрелял из карманов в живот врагу. Еще ни один человек не успел сказать ему «руки вверх».

План поимки Червеня, разработанный Виктором Прокофьевичем, был очень прост. Этот план не отличался тонкостью, в нем не было той прозорливости, которая так нравилась товарищу Цинциперу в Володиных протоколах. Товарищ Цинципер потирал руки от удовольствия, получая Володины протоколы, и не мог оторваться от них, не дочитав до конца. Он не подозревал, что в Севериновке у него сидит не Шерлок Холмс, а Конан-Дойль.

Виктор Прокофьевич писал свои протоколы красивым, косым, но мало разработанным почерком, долго замахиваясь пером перед каждым нажимом; в его дознаниях не было ничего, что могло бы обратить на себя внимание товарища Цинципера. Простым и заурядным показался Володе и проект поимки Червеня, составленный Виктором Прокофьевичем.

Однажды в камеру арестованных севериновского розыска был заключен мелкий вор Федька Бык, изобличенный в краже цепей с общественных водопоев в Севериновке и Яновке. Бык был арестован на шляху. Он брел, сгибаясь под тяжестью своей добычи, которую тщетно пытался продать в течение нескольких дней. Бык даже обрадовался аресту, освободившему его от цепей, которые, возможно, ему пришлось бы носить на себе еще долго. Однако когда с преступника сняли цепи, он отказался признать свою вину. Он отпирался лениво и неубедительно, лишь отдавая дань традиции. Он утверждал, что нашел цепи на дороге.

Цепи были переданы в камеру вещественных доказательств, а расследование дела поручено Виктору Прокофьевичу. Заметив отвращение, которое оставило в Быке его последнее преступление, Виктор Прокофьевич не ограничился снятием обычных показаний, но стал уговаривать вора вернуться к честной жизни. Он подолгу сидел с Быком в камере арестованных — маленьком глинобитном домике в глубине двора, где помещалась милиция. Он убеждал его порвать с преступным миром и стать честным человеком. Бык был польщен вниманием, которое ему оказывали, и проникся глубоким уважением к Виктору

Прокофьевичу. Он согласился не столько из любви к свободе — часто попадаясь на мелких кражах, он был к ней довольно равнодушен, — сколько из уважения к Виктору Прокофьевичу. Даже в те короткие промежутки времени, когда Бык пользовался свободой, его мысли были в тюрьме. Стоило ему во время прогулки немного призадуматься, как ноги его сами сворачивали на мостовую, по которой он привык передвигаться, сопровождаемый стражей. Привычка к конвою так укоренилась в нем, что чувство какой-то пустоты вокруг не покидало его все время, пока он вынужден был путешествовать в одиночестве.

Склонный, как все воры, к широкому жесту, к поступкам эффектным и сентиментальным, Бык предложил ознаменовать свой разрыв с преступным миром выдачей Сашки Червеня, которого часто встречал на Ставках, в пригороде Одессы.

Для этого нужно было выпустить Быка на свободу. Однако Володя воспротивился этому. Во-первых, он не хотел прощать Быку колодезных цепей; вовторых, он дорожил каждой единицей, населявшей маленькую и часто пустовавшую камеру арестованных севериновского уголовного розыска. Но Виктор Прокофьевич с такой энергией защищал этот план, что Володя сдался, и Бык был освобожден.

Прошло недели три; и вот накануне того дня, когда Красавчик угнал из Яновки зеленый фургон, в Севериновку прибыло известие от Федьки Быка. Он сообщал Шестакову, что через два дня Червень встретится в «малине» на Ставках с одним из своих друзей. Было решено, что в аресте Червеня примут участие все силы севериновского уголовного розыска: Володя, Виктор Прокофьевич и Грищенко. Виктор Прокофьевич готовился к операции особенно тщательно: долго изучал план дома, двора и прилегающих к «малине» улиц, нарисованный Быком, занял у начальника милиции, в добавление к собственному, наган солдатского образца, насобирал у сотрудников полшапки патронов и даже обулся в новые черные ботинки, которые обычно лежали у него в чемодан-

чике. За день до встречи Володи с Красавчиком Шестаков отправился в Одессу.

Виктор Прокофьевич был уже одет, когда к нему постучался Володя. Выслушав его взволнованный рассказ о неудачной погоне за Красавчиком, Шестаков сказал неодобрительно:

— Зачем же поехали на вещественных? Надо было запрячь Коханочку и начмиловского Горобца. Ох, доберусь я до вашего Грищенко!

Защищать Грищенко у Володи не было времени. Им предстояло обсудить два важных вопроса: о розыске Красавчика и засаде на Червеня.

Виктор Прокофьевич развернул план Одессы. Жирной карандашной линией, пересекавшей весь город, на нем была обозначена дорога на Ставки. Самих Ставков на карте не было — они не вмещались в ней, ибо были дальше самых далеких окраин. Однако Виктор Прокофьевич успел за вчерашний день побывать на Ставках и поглядеть издали на «малину» Червеня. Затем он показал Володе подробный план двора и дома, где помещалась эта «малина»: на длинной стороне прямоугольника, изображавшего дворовый флигель, немного левее ее середины, был нарисован жирный крест. В этом месте, у стены, Бык должен был поставить лопату — знак того, что Червень здесь. Отсутствие лопаты должно было означать, что Червень почему-либо не пришел или опоздал. Однако, по словам Быка, Червень должен был явиться сегодня непременно.

Володя пробыл у Виктора Прокофьевича не более пяти минут, но за этот короткий срок, как это бывает у людей, хорошо сработавшихся и понимающих друг друга с полуслова, они успели обсудить все, что нужно. В результате этого обсуждения Володя набросал на клочке бумаги план на сегодняшний день. В нем были два пункта и два примечания:

1. С утра Володя идет на Балковскую осматривать постоялые дворы; Виктор Прокофьевич беседует у себя с Федькой Быком.

Примечание: Грищенко до обеда отдыхает.

2. После обеда, независимо от того, удастся поймать Красавчика или нет, они отправляются на Ставки — ловить Червеня.

Примечание: Грищенко сопровождает их на Ставки.

Покончив с планом, Володя попросил у Виктора Прокофьевича пальто. Он брал у него пальто всякий раз, когда собирался переодеться, чтобы остаться неузнанным. В нем было жарко и тесно; это было воскресное пальто пожилого рабочего — черное, с бархатным воротником. Но служебное рвение не раз заставляло Володю прибегать к такой маскировке в самые знойные июльские дни. Севериновские самогонщики, любившие посудачить в свободное время на завалинке у входа в угрозыск, видя начальника в пальто Виктора Прокофьевича, из вежливости не здоровались с ним — они притворялись, что не узнают Володю. «Пошел на операцию», — шептали они друг другу, глядя вслед молодому начальнику.

Володя попрощался с Виктором Прокофьевичем и уже был на площадке лестницы, когда тот снова окликнул его. Прикрыв за собой дверь, он близко подошел к Володе.

— Не забудь взять на Ставки свои лимонки, — сказал он тихо и очень серьезно.

VII

Подняв узкий бархатный воротничок пальто и тщетно стараясь спрятать в нем свое лицо, Володя вышел на улицу. Чтобы попасть на Балковскую, ему нужно было пройти через весь город.

Володя опасался встреч со знакомыми. Его девизом было: агент знает и видит все, но никто не знает и не видит агента. Особенно опасен был район гимназии, где он еще недавно учился. Этот район буквально кишел знакомыми.

Мужская гимназия помещалась в конце Успенской улицы; ее можно было обойти, но тогда Володе пришлось бы приблизиться к женской гимназии Бален де

Балю, что на Канатной. Район женской гимназии был для Володи не менее опасен.

Володя решил проскользнуть меж двух гимназий, пройдя по Маразлиевской улице. Это была однобокая улица, дома вытянулись по левой ее стороне, а справа раскинулся Александровский парк. Маразлиевская была улицей богачей; перемены военного счастья на фронтах революции рождали в ней то радость, то горе, то отчаяние, то надежду, и в этом она была подобна улицам бедняков. Сейчас Маразлиевская с ее особняками и домами дорогих квартир казалась самой заброшенной, безлюдной и печальной улицей в городе.

Оглядываясь по сторонам, Володя быстро шел по Маразлиевской, задавая себе все тот же вопрос, который диктовали ему теория и практика розыска: что делал бы он сейчас, если бы оказался на месте Красавчика? Он старался представить себе все, что способны родить порок и преступление. Однако то, что рисовало его воображение, было бесцветным и неопределенным.

Володя уже миновал опасную зону гимназий, когда с ним поравнялся высокий парень лет восемнадцати. На нем были щегольские брюки «колокол», которые отличались от родственных им брюк «клеш» тем, что были еще шире внизу и еще у́же вверху, и короткая черная куртка, которая могла сойти и за матросский бушлат и за твинчик немецкого колониста. Несмотря на жаркий день, воротник его куртки был поднят, и он старался спрятать в нем свое лицо. Он шел, глядя прямо перед собой и не обращая внимания на прохожих.

Его бронзовая твердая скула показалась Володе знакомой. Если бы парень случайно не покосился на Володю, эта встреча не имела бы последствий и Володе, вероятно, удалось бы сохранить свое инкогнито до самой Балковской. Но, поймав на себе быстрый, рассеянный взгляд малознакомого молодого человека, Володя с торопливостью, свойственной застенчивым людям, поклонился ему.

— Ваша карточка мне знакома, — сказал парень

учтиво, прикасаясь двумя пальцами к кепке. — Не припомню только, из какого она альбома?

— Мы знакомы по Черному морю, — ответил Володя.

Они были знакомы не по тому Черному морю, которое омывает полуостров Крым, побережье Кавказа, Малую Азию, Болгарию, Румынию и юный край украинской степи, а по тому Черному морю, которое находилось в ста шагах от Маразлиевской, за низеньким уступчатым заборчиком Александровского парка и представляло собой большую, почти круглую яму с пологими склонами и ровным, сухим дном. Черным морем с незапамятных времен владела команда футболистов, именовавших себя черноморцами. Как футбольное поле Черное море было необыкновенно комфортабельным: окруженное пологими склонами, оно само возвращало игрокам мяч, вылетевший за его пределы. В команде черноморцев играли портовые парни, молодые рыбаки с Ланжерона и жители старой таможни. Они выходили на поле в полосатых матросских тельниках и длинных, достигавших колен, старомодных трусиках, которые, впрочем, тогда в Одессе назывались не трусиками, а штанчиками. В своем натиске черноморцы не знали преград. Свирепая слава черноморцев, добытая ими на заре футбола в боях с командами английских пароходов, устрашала футболистов других одесских команд. Никто из цивилизованных футболистов Одессы не решался ставить на карту спортивное счастье, здоровье, а может быть, и жизнь, защищая свои ворота против черноморцев. Поэтому с той поры, как в одесский порт перестали заходить английские пароходы, черноморцы играли главным образом друг с другом.

Володя был из Азовского моря. Рядом с Черным морем была яма поменьше, которую одесские мальчики называли Азовским морем. Здесь тренировалась команда гимназистов. Как это ни странно, черноморцы иногда приглашали на товарищеский матч команду из соседнего моря, и гимназисты принимали вызов. Это была игра львов с котятами. Если гимназистам не откусывали в игре ни ног, ни голов, то они бы-

ли обязаны этим той деликатности, которая присуща сильному в обращении со слабым и беспомощным.

Володя был левым инсайтом у гимназистов, а высокий парень — голкипером у черноморцев. В те времена высокие голкиперы ценились еще больше, чем сейчас. Обычно ворота обозначались кучками одежды, сброшенной с себя футболистами перед игрой, и верхняя граница ворот являлась воображаемой; естественно, что чем выше мог достать своей пятерней голкипер, тем спокойнее чувствовала себя команда. Парень в брюках «колокол» был самым высоким голкипером в командах обоих морей.

Но уже давно не летал футбольный мяч над Черным морем и примыкающим к нему Азовским. Обезлюдело славное племя черноморцев, и некому было вспоминать о боях с командами английских пароходов. Раньше, когда старшие черноморцы уходили учиться в мореходку или поступали в торговый флот, их места в команде занимали молодые черноморцы, их младшие братья, ребята с Ланжерона, из старой таможни и портовых улиц, такие же загорелые и веснушчатые, такие же свирепые в нападении, защите и полузащите. Поколение футболистов становилось поколением моряков, но за ними уже шло новое поколение футболистов, мечтавших стать моряками.

Война разбросала черноморцев, уничтожила футбол, мореходку и торговый флот. Опустело Черное море. Засохшая грязь на дне его потрескалась и покрылась чешуйками, как кожа на руке старика.

Володя с трудом узнал голкипера, которого не видел года два. Тот возмужал, похудел и стал еще выше. М жду ними никогда не было ни дружбы, ни знакомства. Он знал лишь, что черноморец сын таможенного сторожа. Однажды Володя дал очень красивый шут по воротам, в которых стоял черноморец: он взял мяч с воздуха на подъем и ударил шагов с двадцати; мяч пошел меж двух беков, но, к сожалению, прямо в руки голкиперу. Кроме этого памятного шута, их

ничто не связывало. Однако почтение, которое питали гимназисты к черноморцам, было таким глубоким и неизменным, что Володя, невзирая на свое солидное положение, увидев голкипера, ощутил подобострастную радость котенка, повстречавшего доброго льва.

Они пошли рядом, задавая друг другу обычные вопросы: как живешь, где достал такие брюки, что делает Коля и куда девался Петя. Володя сдержанно сообщил, что живет в деревне, меняя вещи на продукты. Узнав об этом, его спутник оживился и сказал, что тоже живет в деревне и тоже меняет вещи на продукты. Естественно, что разговор коснулся вещей, продуктов и цен. Однако Володя обнаружил во всем этом такую позорную неосведомленность, что поспешил перевести разговор на футбол.

Глаза их заблестели, когда они заговорили о футболе, ибо нет на свете таких болтунов, сплетников и фантазеров, как любители футбола. Они рылись в воспоминаниях, смаковали удары, осуждали и превозносили. От своего спутника Володя узнал о судьбе других черноморцев. Правый бек Звенчик, оказывается, стал петлюровцем, и его порубили белые. Правый хав Кирюша пошел к белым, и его, наоборот, порубили петлюровцы. Капитан Ваня Поддувало сошелся с лезгинами из контрразведки генерала Гришина-Алмазова, шлялся по городу в черкеске и был убит темной ночью на Ланжероне неизвестно кем. Зато вся пятерка нападения — пять молодых рыбаков дождались красных и пошли на Врангеля.

Раньше черноморцы делились только на беков, хавбеков и форвардов; казалось, что других различий между ними нет. Теперь, когда команда разделилась по-новому, когда одни стали белыми, другие красными, третьи жовто-блакитными, открылось то, что никогда раньше не было заметно на футбольном поле: что капитан Ваня Поддувало — сын богатого портового трактирщика, а форварды — бедные рыбацкие дети. И это определило места, которые они заняли на полях сражений.

Так они брели, разговаривая, через весь город, и

каждый раз, когда Володе нужно было свернуть налево, оказывалось, что голкиперу тоже нужно налево; и каждый раз, когда ему требовалось повернуть направо, оказывалось, что голкиперу нужно туда же. У Володи начало зарождаться подозрение, что черноморец тоже идет на Балковскую, и, хотя такое предположение казалось почти невероятным, по мере приближения к Балковской подозрение превращалось в уверенность. Это очень тревожило Володю, ибо голкипер мог помешать ему ловить Красавчика. Володя попытался даже скрыться от своего спутника — он сворачивал то на одну улицу, то на другую, но ему не везло: всякий раз он выбирал именно ту улицу, которая была нужна его спутнику. Он никак не мог отвязаться от этого человека.

Беседа о футболе, однако, была очень приятной, То, что говорил один, редко совпадало с тем, что сообщал другой, ибо, как все люди, они лучше помнили собственный вымысел, чем действительные события, им украшенные. Но они выслушивали друг друга со снисходительной уступчивостью, ибо каждый из них интересовался не столько тем, что говорил другой, сколько тем, что собирался сказать сам. Каждый с нетерпением ожидал окончания речи собеседника, чтобы приступить к изложению собственного мнения; разговор напоминал игру в футбол, где один старается вырвать мяч у другого, чтобы ударить самому. На Дерибасовской улице темой их разговора был шут Яшки Бейта, на Преображенской — бег Вальки Прокофьева, на Софиевской — вопрос об искусственном офсайде, доступный пониманию только самых тонких знатоков. На Нарышкинском спуске они коснулись вопросов футбольной казуистики (как должен поступить рефери, если игрок возьмет мяч в зубы и внесет его в ворота? Если мяч, поднятый свечой, не упадет на землю, а исчезнет в небе?). На Московской улице они заговорили о том, как мотается знаменитый форвард Богемский, и здесь в их взглядах неожиданно обнаружились столь крупные расхождения, что при всей снисходительности друг к другу они вступили в серьезный спор. Желание доказать свою правоту настоль-

ко овладело ими, что они решили наглядно продемонстрировать прием, послуживший причиной спора, и для этого, отыскав подходящий камешек, остановились на перекрестке, отошли на край тротуара, положили камешек на землю и попрыгали вокруг него, воспроизводя приемы Богемского так, как их понимал каждый. Чтобы овладеть камнем, голкипер, улучив момент, отпихнул Володю в сторону; бедро его на секунду прижалось к Володиному бедру и совершенно явственно ощутило твердое тело кольта, лежавшего в кармане Володиного пальто.

После этого голкипер стал задумчивым и грустным и, дойдя до ближайшего угла, попрощался с Володей.

— Покедова, мне на Бажакину, — сказал он и свернул налево.

Пройдя еще два квартала, Володя тоже свернул налево — на Балковскую.

VIII

Он прошел ее всю, от истоков до самого устья. Постоялые дворы расположились в низовьях Балковской, по обоим ее берегам, там, где улица впадает в степь.

Как по многоводной реке, идут по Балковской в море-степь торговые караваны и, выйдя из устья улицы, расходятся во все стороны — на Тирасполь, на Балту, на Голту. Здесь прощаются с Одессой и здороваются с ней. Если бы степь была морем, в конце Балковской стоял бы маяк, освещающий вход в гавань.

Улица состояла из постоялых дворов, фуражных лавок, кузниц, шорных мастерских, трактиров. Это был Бродвей для балагул; самые прихотливые желания их удовлетворялись здесь без отказа. Здесь была даже синагога для балагул с балагулами-шамесами. Не меньше, чем балагулы, любили Балковскую конокрады. Между членами этих двух цехов царила извечная вражда. Но всегда почему-то там, где вращались балагулы, обосновывались и конокрады. Кошки

и собаки, не любя друг друга, обыкновенно живут под одной крышей.

В одном из постоялых дворов жил портной Г. Кравец, который, по слухам, обшивал виднейших конокрадов уезда. Идя по улице, Володя увидел на противоположной стороне его зеленую вывеску. Слева на вывеске желтыми буквами было написано по-украински:

КРАВЕЦЬ Г. КРАВЕЦЬ

Справа было написано по-русски: «Портной Г. Кравец».

Рядом с вывеской и перпендикулярно к ней на ржавом стержне висел железный пиджак, скрипевший под ударами ветра.

«Что я сделал бы, — спрашивал себя Володя, разглядывая вывеску, — если бы оказался на месте Красавчика?»

Мучимый этим вопросом, он в нерешительности стоял перед вывеской.

«Я мог бы зайти к этому портному, чтобы заказать себе новый костюм. Я заплатил бы за него из денег, вырученных от продажи украденных лошадей».

Несомненно, это предположение имело столько же оснований, сколько всякое другое, и поэтому Володя решил начать поиски с посещения портного. Прохаживаясь взад и вперед, Володя обдумывал наводящие вопросы, посредством которых он выведает у портного что-либо о его преступных связях.

Когда план был готов, Володя, нащупав револьвер, лежавший в кармане пальто дулом вверх, стал переходить улицу. Дойдя до ее середины, он остановился, чтобы пропустить фургон, выехавший из ворот соседнего постоялого двора. Лошади шли шагом, и Володя, полный мыслей о портном, рассеянно глядел на фургон. То, что это был зеленый фургон, само по себе ни о чем не говорило. Девять фургонов из десяти на Одессщине окрашены в зеленый цвет. Было другое, более важное обстоятельство: левое заднее колесо фургона было новым, с белыми некрашеными спицами.

Володя пошел рядом с фургоном. В голове его все спуталось. Грищенко сообщил ему слишком много примет. Теперь они теснились в мозгу Володи, мешая принять решение. Розочки на задке, лысины на мордах, нарытники с бляшками, неподкованные копыта. Два аршина два вершка от холки до земли. Он шел рядом с фургоном, положив правую руку на дробину. Ему одновременно хотелось и забежать вперед, чтобы посмотреть на лошадиные лысины, и заглянуть под копыта, чтобы узнать, кованы ли они, и броситься назад, чтобы освидетельствовать розочки на задке фургона. Немецкой ли работы нарытники? Володя поглядел на возницу. Воротник его полуморского, полустепного твинчика был поднят. На мешке с половой сидел голкипер Черного моря. Это еще больше смутило Володю.

Нужно было что-то делать, что-то говорить. Но что?

Вместо само собой подразумевавшегося «Руки вверх!» Володя произнес, наконец, запинаясь:

— Скажите... как ваша фамилия?

Фамилии Красавчика он не знал, вопрос был бесполезен.

— Фамилия? — переспросил голкипер и прищурил свои глаза цвета ячменного пива. — Иэ-эх! — дико взвизгнул он и хлестнул лошадей.

Дробина толкнула Володю в сторону и вперед, затем он почувствовал удар в поясницу, упал на руки, новое заднее колесо перескочило через его спину; еще миг — и, стоя на четвереньках, он увидел перед самым своим носом розочки на задке фургона. Они удалялись от него со все возрастающей быстротой. Вид этих розочек почти ослепил его. Он вскочил на ноги и бросился вперед с такой стремительностью, будто им выстрелили из невидимой катапульты. Сделав несколько отчаянных скачков, он вцепился в задок в тот момент, когда фургон набрал полную скорость и розочки грозили скрыться навсегда. Он перевалился корпусом через борт и, подрыгав в воздухе ногами, очутился в фургоне.

Черноморец, не оглядываясь, хлестал лошадей так,

будто хотел перерубить их пополам. Володя вскочил на ноги и, балансируя, стал передвигаться вперед. Увы! Царственная поза, в которой Володя видел Красавчика в тот день, когда тот удирал из Севериновки, плохо удавалась Володе. Он чувствовал, что на любом ухабе его может выбросить из повозки. Наконец, кой-как утвердившись на зыбком днище фургона, он схватил за дуло револьвер, и высоко поднял его над головой. Один удар по черепу — и с преступником будет покончено. Револьвер описал большую дугу и довольно слабо уткнулся рукояткой в кепку бандита. Тот был не столько ушиблен, сколько удивлен. Но тут дело приняло уж совсем неожиданный оборот. Потеряв равновесие, Володя повалился на возницу, подмял его под себя, тот выпустил вожжи, лошади понесли. Вожжи упали в ноги лошадям, левый жеребец выскочил за постромки и скакал боком, лягаясь. Возница лежал тихо. Володя терся носом о его пыльный затылок и шершавое ухо и, видя над бортами фургона ряды скачущих домов, заборов и вывесок, соображал, что делать. Решение было принято лошадьми. Выбежав на площадь, они сами отдались в руки правосудия, остановившись у общественного водопоя, где их взял под уздцы постовой милиционер.

Через минуту фургон поехал по Балковской. Милиционер правил лошадьми, арестованный сидел на дне фургона, а Володя на дробине. Задержанный молчал, он как-то обмяк и посерел. Футболист исчез, его место занял правонарушитель. Володя сидел на дробине, держа в руках кольт. Дуло его было направлено на преступника. Не было сомнений, что голкипер Черного моря и Красавчик — одно и то же лицо. Они проехали Балковскую, пересекли Бажакину, свернули на Московскую, миновали перекресток, где только что два молодых человека прыгали вокруг камешка, изображавшего футбольный мяч, поднялись по Нарышкинскому спуску и через пять минут въехали во двор дома, где помещался уголовный розыск. Затем все трое были введены в кабинет товарища Цинципера.

Его удивлению не было границ. В учреждении, возглавляемом товарищем Цинципером, поимка бандита считалась почти невозможной. Товарищ Цинципер был очень взволнован, беспрерывно снимал и надевал свое четырехугольное пенсне, потирал лысеющую голову, назвал задержанного «товарищ Красавчик», зачем-то придвинул ему стул и пригласил сесть. Красавчик сел, все продолжали стоять. Сотрудники стояли в полном молчании, пожирая глазами живого бандита. Наконец товарищ Цинципер объявил, что будет допрашивать Красавчика лично через час, после того как заслушает утренние доклады подчиненных. Красавчика увели, а Володя помчался к Виктору Прокофьевичу.

Виктор Прокофьевич был дома — он только что отпустил Федьку Быка. Володя поведал Шестакову о своих приключениях, о поимке Красавчика, но не скрыл и своих ошибок; рассказал, как он путешествовал с преступником через весь город, всячески стараясь от него ускользнуть, и как он был удивлен, когда наперекор его усилиям, благодаря счастливой случайности Красавчик оказался у него в руках.

— Эх, Володя, Володя! — сказал Виктор Прокофьевич укоризненно. — Ваша главная ошибка заключалась в том, что вы все время старались поставить себя на место Красавчика. А что вы знали о Красавчике? Ничего. Надо было, наоборот, поставить Красавчика на место себя. Тогда бы получилась более верная картина. Вы подумали бы о том, что и у Красавчика могут быть в городе родители, к которым он пошел ночевать, что и Красавчик, ворочаясь в своей постели, думал о зеленом фургоне, а утром, напившись чаю и попрощавшись с матерью, побежал на Балковскую.

Володя хотел что-то возразить, но дверь открылась и в комнату вошел фельдъегерь товарища Цинципера.

По дороге на допрос Красавчик бежал из-под стражи.

IX

Самыми бандитскими районами в уезде считались одесские пригороды.

Ставки считались самым бандитским из пригородов Одессы.

Как при отливе, когда океанские воды уходят и на обнажившемся дне остаются мутные лужицы с застрявшей в них мелкой рыбешкой, тиной и водяными блохами, в степных просторах Одессщины, едва схлынули волны гражданской войны, осела «кукурузная» армия, пестрая смесь из остатков разбитых банд, политических и уголовных головорезов, конокрадов и контрабандистов.

«Кукурузной» эта армия называлась потому, что убежищем ее на Одессщине, лишенной лесов, были кукурузные заросли. Днем бандиты сидели в кукурузе, а ночью выходили на шляхи. Одно время было так: днем в уезде одна власть, ночью — другая.

Три месяца назад из Одессщины ушли белые, на этот раз навсегда; до них ушли петлюровцы, махновцы, французы, англичане, греки, поляки, австрийцы, немцы, галичане. Но еще носился по уезду на красном мотоциклете «Индиан» организатор кулацких восстаний немец-колонист Шок; еще не был расстрелян гроза местечек Иоська Пожарник, обязанный кличкой столь прекрасным своим лошадям, что равных им можно найти лишь в пожарных командах; уныло резали своих соплеменников молдаване братья Мунтян; грабил богатых и бедных болгарин Ангелов, по прозвищу Безлапый; еще не был изловлен петлюровский последыш Заболотный, уходивший после каждого налета через Днестр к румынам; еще бродил на воле бандит в офицерском чине Сашка Червень, не оставлявший свидетелей. В самой Одессе гимназистка седьмого класса Дуська Верцинская, известная под кличкой Дуська Жарь, совершила за вечер восемнадцать налетов на одной Ришельевской улице и только по четной ее стороне. Самогонных аппаратов в деревнях было больше, чем сепараторов; спекулянты ез-

дили по трактам шумными обозами; к кулацкой соломе притаились зеленые «максимы», а сами кулаки, еще не вышибленные из своих гнезд, готовили месть и расправу.

Странные дела творились в преступном мире. Богатые чаще грабили бедных, чем бедные богатых. Кулаки посягали на добро незаможников. Неимущие становились опорой законности, а собственники — вдохновителями анархии и разбоя. По уезду гремели конокрады из помещиков и налетчики из гимназистов. Они свозили награбленное к малинщикам из священников. Бывший гласный думы попался на краже кур и гусей.

В Одесском уезде жили бок о бок украинцы, молдаване, немцы, болгары, евреи, великороссы, греки, эстонцы, арнауты, караимы. Старообрядцы, субботники, молокане, баптисты, католики, лютеране, православные. Жили обособленно, отдельными селами, хуторами, колониями, не смешиваясь друг с другом, сохраняя родной язык, уклад, обычаи. Немцы жили, как полтораста лет назад их прадеды жили в Эльзасе и Лотарингии, — в каменных домах с островерхими кровлями, крытыми разноцветной черепицей. Дома, мебель, повозки, платья, посуда, вилы и грабли, кухонные плиты, молитвенники — все это было точь-в-точь таким, как в Эльзасе. Колонии назывались Страсбург, Мангейм — как города на Рейне. Немцы были разные. Были немцы с французскими фамилиями — онемеченные эльзасские французы с заметным украинским налетом, и были немцы с немецкими фамилиями. Были немцы богачи и бедняки, немцы-католики и немцы-лютеране, немцы, говорящие на хохдойч, и немцы, говорящие на платдойч, плохо понимающие и не любящие друг друга. Кроме немецкого, колонисты знали немножко украинский. «Мы — нимци», — говорили они о себе. Молдаване на Одесщине жили точно так, как их предки в дунайских княжествах двести-триста лет тому назад; ели мамалыгу с кислыми огурцами и медом, сами ткали полотно и шерсть и не понимали по-русски. Французы ухаживали за своими виноградниками, как где-нибудь

в Провансе. Рядом с огромными нищими селами стояли немецкие хутора, где каждый из тридцати хозяев носил фамилию Келлер или Шумахер, имел от тысячи до полутора тысяч десятин тяжелой черноземной земли и полсотни заводских лошадей. Были села, где жили сплошь хлебопашцы, и были села, где жили виноделы, огородники, гончары, шорники, брынзоделы, рыбаки, столяры, шинкари, и даже села, где жили одни только музыканты, разъезжавшие по свадьбам и крестьянам. Были села, особенно поближе к Одессе и по Днестру, где жили бандиты. Бандиты были из немцев и болгар, из евреев и молдаван, из украинцев и греков, из мирного и немногочисленного племени караимов. Были бандиты из баптистов. Вечерами они выходили на шляхи и в ночной темноте грабили и убивали, не разбираясь в национальности. И по утрам у дорог находили трупы — немцев и болгар, евреев и молдаван, украинцев и караимов.

Но Володя, описывая в своих актах, как выглядят эти трупы и в каких положениях застигло их утро, не мог охватить взглядом всю картину. Ему не были понятны ее масштабы и социальный смысл. Но ему была ясна его задача. Вид первого трупа, который ему пришлось осматривать, глубоко потряс его. Это не был страх перед мертвецом. Это было негодование и острое сознание чужого человеческого горя. «Люди, только что освобожденные революцией, не должны умирать от руки убийц», — сказал он себе. Он должен помочь трудовым селянам сбросить с себя последнее иго — иго бандитизма. Чтобы они могли мирно работать на своих полях и виноградниках. Пасти овец. Ездить по шляхам днем и ночью. Повыбрасывать обрезы. Спать спокойно в своих хатах.

...Даже люди, столь мужественные и привыкшие к опасностям, какими Володя считал себя, Грищенко и отчасти Шестакова, испытывали неприятное чувство, приближаясь к Ставкам — этому неприступному бандитскому гнезду.

Не всякий одессит знает, где расположены Ставки, и только очень немногие бывали на этой глухой окраине.

Несколько раз город кончался, пропадал, начинались пустыри, мусорные свалки, чахлые баштаны и, наконец, голая степь; потом степь снова переходила в огороды, свалки, пустыри, появлялись какие-то бесконечные заборы, склады, крупорушки, возникали подобия улиц. Володя, Виктор Прокофьевич и Грищенко все шли и шли, выходили из города и снова входили в него, а до Ставков было еще далеко, и они начинали опасаться, что не попадут туда до темноты.

Они шли на Ставки брать Червеня — Володя, Виктор Прокофьевич и Грищенко, особенно мрачный сегодня и как будто чем-то раздраженный. Они шли через пустыри, мимо бесконечных заборов из желтого песчаника, утыканных сверху осколками бутылок, выбирая дорогу среди обрезков кровельного железа, тряпья, жестянок, битого стекла, куч навоза и дохлых кошек.

Прохожие почти не встречались, да и самое название «прохожий» не вязалось с видом людей, пробиравшихся иногда по пустырям и переулкам Ставков. Эти встречи вызывали у мирного путника такое же чувство, какое испытывает горожанин, впервые попавший в деревню и увидевший на пути своем бодливую корову.

— Нехорошо идти гурьбой, — сказал Виктор Прокофьевич. — Если они увидят кучу народа, то догадаются, что мы идем на них облавой.

— Ще неизвестно, хто кому облаву готовит, — заметил Грищенко зловеще. — Чи мы на их, чи воны на нас.

— Я с Грищенко пойду вперед, — продолжал Виктор Прокофьевич, — а вы, Володя, отстаньте шагов на пятьдесят, будете, так сказать, защищать тыл. Мы с Грищенко войдем первыми, а вы...

— Ни за что! — вспыхнул Володя. — Уж не потому ли, что Червень стреляет сквозь шинель!

— От вже и поцапались! Я можу пойти сзади, — примирительно сказал Грищенко.

Но Виктор Прокофьевич заупрямился.

— Что вы за человек, Володя? Вы обязательно

хотите поймать всех бандитов сами. Вы уже поймали Красавчика, и пока хватит с вас. Дайте и старику раз в жизни поймать преступника.

В конце концов Володя согласился, чтобы не обижать старика.

— Не забудьте, Володя, — сказал Шестаков, — наш уговор насчет лопаты. Если лопаты не будет, мы поворачиваемся и на цыпочках уходим.

X

Володя пошел сзади, время от времени вынимая карманное зеркальце и проверяя, не выслеживает ли их кто-нибудь.

Иногда он не без удовольствия разглядывал на дороге красивые отпечатки в форме полумесяца, напоминающие следы укусов; то были отпечатки обрамленных шипами грищенковских каблуков. Бравая спина их владельца виднелась впереди, шагах в пятидесяти; рядом шагал, сутулясь, Виктор Прокофьевич.

Они подошли к переезду. Здесь, как всегда в жаркую пору, запахло железной дорогой: дегтем, гарью, застоявшейся в кюветах водой и далекими путешествиями. Володя любил этот запах. От чистенькой щебенки повеяло теплом, накопленным за день. Рельс, которого он мимоходом коснулся рукой, был горячим, хотя солнце уже зашло.

Еще минут пять они пробирались сквозь дыры в каких-то дощатых заборах, пока не пришли к облезлому, покрытому струпьями двухэтажному дому, со сводчатой подворотней посредине, маленькими окнами и толстыми стенами, подпертыми полуобвалившимися кирпичами — контрфорсами. Дом был окрашен в буро-зеленый цвет, в какой время и морские туманы красят в Одессе заброшенные строения, а городская управа — богадельни и сиротские приюты, и принадлежал к тому типу зданий, самая архитектура которых органически включает в себя запах испорченных уборных, смрад помоек, сырость и плесень внутри и снаружи.

Из дома доносилась бойкая песенка, которую пела в те дни вся Одесса:

Как приятны, как полезны помидоры,
Да помидоры, да помидоры...

Перед тем как скрыться в подворотне, Виктор Прокофьевич обернулся к Володе и кивнул ему.

Володя побежал. Он знал, что Червень с приятелем должны находиться не в двухэтажном доме, выходящем на улицу, а в дворовом одноэтажном флигеле. Когда он очутился перед длинной сводчатой подворотней, в его уши ударили рвущиеся оттуда громоподобные звуки песни, как будто он всунул голову в граммофонную трубу:

Да помидоры, да помидоры...

Володя побежал по гремящей подворотне и очутился на квадратном дворике, замощенном камнем-дикарем. Посредине росло лишь одно дерево с голыми, скорченными, как бы застывшими в судороге обрубками сучьев. На один из обрубков была надета большая макитра. От дерева навстречу Володе молча бросилась высокая худая собака с темными кругами вокруг белых глаз, собака с головой стерляди, собираясь не то обнюхать его, не то укусить. Володя отпрыгнул в сторону. С детства он испытывал не то что страх, но какое-то предубеждение против собак, оставшееся в нем с того дня, когда его, трехлетнего мальчика, облаяла соседкина болонка; ужас, испытанный им в тот день, на всю жизнь определил его отношение к собакам.

— Пшел! — крикнул Володя серому и, косясь через плечо, пересек двор по дуге, в центре которой оставался подозрительный пес.

Перед Володей было одноэтажное здание складского типа с толстыми решетками на окнах и входом посредине. Из этого входа и рвался наружу лихой припев. Володя знал, что вход ведет в коридорчик, имеющий аршин восемь в длину и аршина два в ширину, что коридорчик упирается в дверь, за которой находится комната с окном, взятым в ре-

шетку. Здесь и должен был находиться Червень с приятелем.

В глубине коридорчика появилась и исчезла полоса света. Песня оборвалась.

«Вошли», — подумал Володя.

Уже почти стемнело.

Слева от входа стояла лопата.

Вытянув вперед руку, Володя побежал по темному коридорчику. Ладонь его коснулась толстого железного засова. Он потянул его к себе, дверь, удерживаемая тугой пружиной, приоткрылась, и Володя просунул голову внутрь.

Он увидел комнату, более широкую, чем длинную; большой стол, оставлявший лишь узкие проходы у стен, заставленный бутылками и едой, человек пятнадцать мужчин и женщин, неподвижно, в полном молчании сидевших вокруг стола, Виктора Прокофьевича, стоявшего справа, у дверного косяка, и Гриценко, который стоял еще правее, опираясь на манлихер.

Еще не было произнесено ни слова, еще не было сделано ни одного движения. Но пальцы уже лежали на собачках. Слабый шорох, произведенный Володей, привел всех в движение. Лавина рухнула. Из многих глоток вырвался пронзительный крик. Квасная бутылка описала почти видимую дугу и шлепнулась донышком о лоб Шестакова. Боднув воздух эспаньолкой, Виктор Прокофьевич рухнул на пол. Лампа-«молния» погасла. В грохоте опрокидываемых стульев, звоне посуды, топоте, рычании утонули чьи-то пистолетные выстрелы. Казалось, что в комнате топчется бешеный слон.

Все бросились к выходу.

Володя втянул голову в плечи и отпрянул в коридор. Дверь захлопнулась и сейчас же, нажатая кем-то изнутри, ударила его в лоб.

Он толкнул дверь обратно. Он сделал это инстинктивно. Если дверь откроется, бешеный слон растопчет его. Изнутри нажали на дверь сильнее. Володя хотел бежать, но он не мог оставить дверь. Он налег на нее всем корпусом, но дверь неумолимо — милли-

метр за миллиметром — отодвигала его в коридор. Подошвы Володи медленно скользили по полу. Но его левая ладонь хранила какое-то важное воспоминание. Воспоминание о прикосновении к засову! Ладонь догадалась, что надо делать. Она стала искать в темноте. Ум в этом не участвовал. Рукой управлял страх. Нужно было закрыть дверь на задвижку, чтобы бежать.

Володя уперся плечом в засов. Ему показалось, что позвоночник его сейчас сожмется гармошкой. Но вдруг ноги его на секунду перестали скользить.

За дверью образовалась каша из людей и стульев, подхваченных потоком, устремившимся к выходу. Мешало тело Шестакова, упавшего внутри у порога.

Нажим ослабел — может быть, руки, давящие на дверь, были отняты на миг, чтобы нанести новый, еще более сильный удар. В этот миг засов вошел в скобу.

Теперь можно было бежать через пустынный двор по Ставкам. Никто не будет гнаться за ним, кроме серой собаки.

Володя на цыпочках, стараясь не стучать ногами, побежал через двор, мимо сумасшедшего дерева, к подворотне. Серый пес шарахнулся от него. Володя чувствовал во всем теле необыкновенную легкость, будто с его плеча свалился весь флигель.

Только сердце стучало на весь двор.

В подворотне Володя остановился, затем так же, на цыпочках, словно боясь, что кто-нибудь увидит его, побежал обратно.

Он вспомнил: Виктор Прокофьевич, Грищенко.

XI

Дверь гудела так, будто изнутри ее били тараном. Володе казалось, что при каждом ударе она выгибается наружу.

Володя выхватил свисток. Как только его рука ощутила этот символ власти и порядка, он успокоился.

Он засвистел. Он знал, что на выстрел народ не

прибежит, а на свисток прибежит. В те времена стрельба не была для одессита чем-то необычным, что могло бы его заинтересовать и заставить ускорить шаг. Но в звуке милицейского свистка заключалась магическая сила, подчиняться которой одессит привык издавна.

Володя свистел, таран продолжал громыхать. Перегородка, отделявшая Володю от бандитов, трещала и грозила рассыпаться. Сейчас Володя уже вполне трезво оценивал обстановку: если дверь будет высажена, не спастись ни ему, ни Виктору Прокофьевичу, ни Грищенко. Во главе осажденных — Червень, а Червень не оставляет свидетелей.

— Не ломайте дверь! — крикнул Володя фальцетом. — Стрелять буду!

И вытащил из кармана кольт.

Но дверь продолжала сотрясаться от ударов.

Толстая кольтовская пуля с десяти шагов пробивает двухдюймовую доску. Володя поднял кольт.

— Стрелять буду! — крикнул он снова. И, даже не успев полюбоваться собой, выстрелил в дверь два раза.

Наступила минута тишины, затем послышались три громких удара. Кусочки песчаника, отбитые от стены, брызнули Володе в лицо. Большая макитра на сучке с грохотом разлетелась на куски и осыпала осколками дворик.

Осажденные отстреливались. Володя выскочил из коридорчика и, став за угол, продолжал стрелять в дверь. К счастью, он вовремя вспомнил одно из изречений Червеня: «Начав стрелять, не забудь остановиться». В обойме у него оставалось только два патрона.

Володя снова схватился за свисток. Осажденные же, начав стрелять, еще долго не могли остановиться, хотя среди них и находился сам Червень.

Пули летели через дворик. Во флигеле напротив со звоном сыпались стекла.

Вдруг в шуме боя образовалась щель, сквозь которую прорвался новый звук. Володя быстро обер-

нулся. Кто-то бежал через двор, работая на ходу затвором длинной берданки.

На бегущем была защитная гимнастерка, украшенная синими венгерскими бранденбурами, какие сейчас нашивают на пижамы, парусиновая буденовка старинного фасона, с высоким шпилем и двумя козырьками — сзади и спереди; на ногах — желтые ботинки из твердой негнущейся кожи. Незнакомец был так занят своей берданкой, в которой что-то не ладилось, что, подбежав к Володе, даже не поглядел на него, а продолжал громко лязгать затвором.

— Кто ты? — крикнул Володя.

— Продармеец, — ответил тот, не отрываясь от своего занятия.

— Сколько у тебя патронов?

— Один, — ответил продармеец, показывая длинный патрон с толстой свинцовой, спиленной на конце пулей, вроде тех, которыми стреляли в битве на реке Альме.

Володя быстро оценил огневую силу подкрепления.

— Стрелять не надо, стой здесь, щелкай затвором, — Володя сунул продармейцу свисток, — и свисти.

Продармеец стал по другую сторону входа и принялся щелкать и свистеть, свистеть и щелкать, как ему было приказано.

Между тем бандиты прекратили стрельбу и снова занялись высаживанием двери. Через несколько минут их усилия увенчались успехом. Крик торжества вырвался изнутри. Дверные петли отскочили. Дверь приоткрылась — теперь она держалась только на засове. Достаточно было немного отодвинуть ее в сторону, чтобы засов вышел из скобы и путь был открыт. Но осажденные сгоряча продолжали бить в дверь, отгибая засов и постепенно расширяя проход.

«Дверь защитит Шестакова, но тех, кто выскочит в коридор, порвет на куски», — пронеслось в голове у Володи.

Он схватил одну из своих лимонок.

Это была лимонка, выменянная когда-то на фото-

графический аппарат, заветная лимонка, на которой ему был знаком каждый бугорок, каждая царапина. Пришло-таки ей время взорваться! Он вырвал кольцо — сколько раз он представлял себе это движение, которое каждая лимонка позволяет сделать только однажды, — и бросил продолговатую, бугристую, как еловая шишка, бомбу в коридорчик.

Из коридора громыхнуло, дунуло ветром, дымом и пылью.

Дверь упала.

Было тихо. Внутри что-то звякнуло.

— Сдавайтесь! — крикнул Володя. — Иначе все будете перебиты!

Продармеец щелкнул затвором.

— Выходи безоружными, по команде, спиной вперед, каждый отдельно, с поднятыми руками. Кто не подчиниться — взорву! — крикнул Володя в темноту.

Сзади послышался топот. Кто-то бежал через дворик, размахивая фонарем. Светлый круг прыгал по булыжнику.

— Стой! Кто идет? — крикнул Володя. Все нужные слова сами шли на язык.

Человек с фонарем молчал.

— Кто ты? — опять крикнул Володя.

— Я?

— Да, ты.

— Я житель, — уклончиво ответил незнакомец, испуганно разглядывал Володю.

Тот стоял, держа в поднятой руке вторую лимонку, как бокал.

Человек с фонарем колебался. Его взгляд скользил по лимонке, наплечным ремням, обшитым кожей Володиным галифе. Все это были вещи неясные, неубедительные. Лимонка, наплечные ремни могли быть у кого угодно. Но свисток! Свисток мог быть только у представителя закона.

— Я председатель домкома, — сказал незнакомец, ободренный непрекращающимся свистом.

— Далеко отсюда телефон? — спросил его Володя.

— На переезде, пять минут ходу.

— Бегите на переезд, звоните в угрозыск дежурному по городу, без номера... повторите...

— ...угрозыск, дежурному по городу, без номера...

— ...чтобы выслал летучку и «Скорую помощь»... Повторите...

— ...летучку и «Скорую помощь»...

— ...на Ставки. Куда ехать — объясните сами. Сумеете?

— Сумею.

— И чтобы позвонили Цин-ци-пе-ру. Запомните?

— Чтобы позвонили Цин-ци-пе-ру.

Председатель домкома поставил фонарь на землю и побежал.

В глубине коридорчика о чем-то шептались. Володя стоял за углом стены, прислушиваясь. Вдруг дверь скрипнула под чьей-то ногой.

— Сдавайся! — крикнул Володя, замахнувшись лимонкой.

— Сдаемся, — послышалось изнутри.

Бандиты выходили по одному затылками вперед, подняв руки. Вероятно, они ожидали увидеть во дворе большой отряд. Но когда они убеждались в своей ошибке, было поздно ее исправлять. Они уже были испуганы и, стало быть, побеждены. Володя стоял с револьвером и бомбой, следя, чтобы никто не опустил рук. Продармеец обыскивал бандитов и ставил их в ряд, лицом к стене. Всего вышло девять человек — пять мужчин и четыре женщины. Червеня среди них не было.

— Женщин ставь по краям, — распорядился Володя.

Когда с бандитами было покончено, он крикнул:

— Виктор Прокофьевич!

Но ответа не было.

В этот момент в коридорчике послышался шорох.

— Не лякайтесь, це я, — сказал знакомый голос.

По коридорчику пятился, подняв руки, Грищенко.

— Это шоб вы с переляку меня не шлепнули, товарищ начальник, — объяснил он, выбравшись во двор.

Одна штанина была у Грищенко оторвана до колена, и голая нога торчала из нее, как протез. К рябой щеке прилип салатный лист, но в общем младший милиционер был цел и невредим.

— Вот здорово, ты цел? — обрадовался Володя. — Что же ты там делал, внутри?

— Да ничего. Як стали нашего Виктора Прокоповича топтать, я соби и подумав: «Пока спекут кныши, останешься без души», тай заховался пид стол, в затишок...

— Где Виктор Прокофьевич? — прервал его Володя мрачно. — Что с ним?

— А хиба ж я знаю? Що я, доктор?

— А где твой манлихер?

— Манлихер? — переспросил Грищенко и почесал за ухом.

XII

В то время как Грищенко чесал за ухом, мушка его манлихера остановилась как раз на уровне груди Володи. Человек, целившийся в Володю из манлихера, лежал за порогом комнаты. Очнувшись от контузии, он пошарил вокруг себя. Его рука сначала нащупала чье-то холодное лицо, затем приклад. Он подтянул его к себе и засунул палец в дырку в нижней части магазина. Палец вошел в дырку на глубину одной гильзы. «Четыре патрона в магазине», — подумал человек. Есть ли патрон в стволе? Щелкать затвором нельзя было, — тот, кто стоял у входа, мог услышать и отскочить в сторону. Но ведь винтовка на предохранителе; стало быть, патрон в стволе есть. Человек в комнате тихо отвел предохранитель и приник щекой к прикладу.

Володя стоял в светлом квадрате выхода. Над головой его висела красная луна. Фонарь председателя домкома освещал его снизу колеблющимся светом. Человек переводил мушку манлихера с Володиной головы на грудь, с груди на голову.

— Грищенко, — говорил Володя взволнованно, — я приказываю тебе полезть за манлихером...

— Ну, як же я туда полизу, — плаксиво отвечал Грищенко, — коли я чую, що там хтось чухаеться.

— Грищенко...

Но Володя не договорил.

— Получай свой манлихер! — раздался голос изнутри.

И манлихер Грищенко, выброшенный сильной рукой из коридора, загрохотал по булыжнику.

Грищенко прыгнул в сторону, как кенгуру.

Вслед за манлихером из коридорчика показалась долговязая фигура с поднятыми руками.

Грищенко поднял манлихер и держал его растерянно, как будто это была не винтовка, а дрючок.

— Обыщи, — сказал Володя Грищенко.

— Отскочь, не прикасайся, — сказал долговязый. — От меня винт получил — и меня же обыскивать хочет! На, обыскивай! — Он повернулся корпусом к председателю домкома, который только что вынырнул из темноты.

Председатель домкома, обнаружив неплохую технику кистевого механизма, стал проделывать волнообразные движения вдоль его тела. В этом, собственно, не было ничего удивительного, ибо одесситы последние годы только тем и занимались, что обыскивали друг друга.

Верзила поворачивался перед председателем домкома то спиной, то боком, как на примерке. Тусклый свет фонаря падал иногда на его лицо, и чем пристальнее вглядывался в него Володя, тем больше убеждался, что эти твердые бронзовые скулы не имеют ничего общего с подробно описанной Федькой Быком толстомясой, банной мордой Сашки Червеня. «Эта карточка мне знакома, — думал Володя, разглядывая бандита, — но из какого она альбома?» Верзила между тем повернулся к свету, и Володя понял, что он снова поймал Красавчика.

— Красавчик! — пролепетал Володя совершенно потрясенный. — Как ты сюда попал?

— Добрый вечер, гражданин начальник, еще раз! — Красавчик приложил руку к кепке. — Мы

с вами сегодня как нитка с иголкой: куда вы — туда я, куда я — туда вы.

Этой фразой было сказано очень много. Он давал понять, что признает неуместность при данных обстоятельствах всяких воспоминаний о старом знакомстве двух футболистов. Он не собирается извлекать из них какую-либо пользу для себя. Он понимает, что дружба дружбой, а служба службой. Он произнес эти слова тем полным достоинства, почтительно фамильярным тоном, которым опытный арестованный всегда разговаривает со своим следователем. Но, не претендуя на поблажки по знакомству, он не собирался отказываться от того, на что имел право по закону.

— Прошу только, гражданин начальник, — сказал он тем же почтительно-фамильярным тоном, — отметить в протоколе этот манлихер. Дескать, ворконокрад Красавчик, не имея мокрых дел и не желая их иметь...

Продолжая вертеться перед председателем домкома с поднятыми над головой руками, то втягивая, то выпячивая живот, услужливо подставляя еще не обысканные участки тела, он объяснял Володе, почему умный вор не пойдет на мокрое дело.

— Мокрые дела умному вору ни к чему, — говорил он. — За мокрые дела шлепают.

Председатель домкома между тем нащупал за пазухой Красавчика какой-то ремень и принялся его вытаскивать. За ремнем потянулся моток, оказавшийся уздечкой.

— Орудие производства, — объяснил Красавчик, смутившись.

— Манлихер я отмечу, поскольку факт имеет место, — сказал Володя. — Но ты скажи откровенно: как насчет побегов? Будешь еще бежать или нет?

Красавчик ударил себя в грудь.

— Побей меня гром, разве ж это был мой побег? Это ж был ихний побег. Берут меня из камеры и дают мне конвой — женщину-милиционера. Это же просто насмешка! Мы идем по улице, а я себе думаю:

«Меня же люди видят, знакомые!» Может, мне даже этой свободы особенно не хотелось...

Председатель домкома фыркнул.

— Ну, чем доказать? Вот могу дойти до этих ворот и обратно. Хотите?

Он сказал это так искренне и горячо, как может сказать только человек, взятый под стражу.

Много времени спустя Володя задумался над тем, что удержало руку Красавчика, когда он, целясь в него из манлихера, решал вопрос: убить или не убить? Только ли холодный расчет опытного уголовника? Не вспомнил ли Красавчик в эту минуту Черное море, футбол? Не вспомнил ли он, увидев в светлом квадрате входа инсайта Азовского моря, что сам был когда-то голкипером черноморцев и лежал в их славных воротах, как лежит сейчас на полу в темной воровской «малине»? И тогда, быть может, в нем проснулся добрый лев, не пожелавший убить ничего не подозревающего, беззащитного врага; быть может, он почувствовал обиду за себя, за свою скверную судьбу, понял, что смутное время кончилось и что надо делать окончательный выбор. Но если эти мысли и взволновали его, он постарался скрыть их. Лишь много лет спустя Володя узнал, о чем размышлял Красавчик в минуту, решившую судьбу обоих.

Бандиты стояли в ряд в причудливых позах, изогнув спины и упершись ладонями в стену. Потеряв свободу, они потеряли индивидуальность. Они казались одинаково серыми, покорными и почти не отличимыми друг от друга. У них онемели поднятые руки, чесались спины, и они ныли коровьими голосами:

— Гражданин начальник... разрешите опустить руки...

Нытье бандитов прервал грохот автомобиля, полным ходом въехавшего во двор. Это был курносенький грузовичок «фиат» на твердых шинах, битком набитый людьми. Машина круто завернула, и начоперот с ходу кобчиком упал на бандитов. За начоперотом посыпались агенты, и менее чем в две секунды бандиты были обысканы с головы до ног.

— Городская работа, а? — подмигнул начальник оперативного отдела Володе, намекая на превосходство городского угрозыска над уездным.

Расшитая золотом кубанка начоперота, алая черкеска, окрыленная пришпиленным к спине башлыком, желтые сапоги с подколенными ремешками и маленьким раструбом вверху голенища, обритая со всех сторон бородка котлеткой, напудренное лицо, наконец, бомба-фонарка особенно редкостного, не известного Володе образца — все это производило такое сильное впечатление, что всякому, кто видел этого человека, хотелось ему немедленно сдаться.

Еще через секунду бандиты, подгоняемые агентами, как овцы толкая друг друга, лезли в грузовик. Они рассаживались в нем, ворча друг на друга, зло пиная женщин и стараясь захватить лучшие места. Только что потеряв свободу, они хотели тем не менее с удобством уехать в грузовике. Утратив преимущества, которые дает человеку свобода, они сейчас же стали заботиться о мелких выгодах, которые могло дать им заключение. Когда бандиты уселись, начальник оперативного отдела, освещая путь фонариком, устремился в коридорчик. За ним двинулись агенты, целясь в темноту из револьверов.

Первым вынесли Виктора Прокофьевича.

— Сажай, сажай его под стенку, не клади, чтобы юшка через голову не вытекла, — распоряжался начоперот.

Виктора Прокофьевича посадили под стенку, он тихо застонал. Седенькая эспаньолка его потемнела от крови, стекавшей по лицу.

— Кроме черепа, все в порядке, — сказал начоперот, ощупав опытной рукой раненого и с трудом отгибая его пальцы, все еще сжимавшие два нагана солдатского образца. — Вот пример доблести! — добавил он. — Без памяти, голова пробита, а наганов отдавать не хочет.

— Что с ним, как вы думаете? — спросил Володя в тревоге.

— Что я, доктор? — пожал плечами начоперот. —

Думаю, добрая жменя стекла в черепе. Один кусок торчит из лба, как рог.

Рядом с Виктором Прокофьевичем положили еще двух: один был без памяти, другой мертв.

Начоперот осветил его лицо электрическим фонариком.

— Червень, — сказал он. — Наповал. — И, посмотрев на Володю с уважением, добавил: — Вам повезло. Поздравляю.

Приложив руку к груди, он отвесил Володе легкий поклон.

— Хорошо стреляет тот, кто стреляет последним.

Затем он поднял кусок старого толя, валявшийся у водосточной трубы, и, стряхнув с него песок, накрыл лицо бандита.

В это время во двор въехала машина «Скорой помощи». За ней, гремя шестернями, вкатился нарядный штабной «берлиэ» на высоких колесах; его широкий, выпуклый радиатор, обильно украшенный бронзой и эмалью, сверкал, словно осыпанная звездами, лентами и орденскими знаками грудь императора. В «берлиэ» сидел товарищ Цинципер.

Три пары автомобильных фар осветили необычную сцену: тела, вытянувшиеся на земле, кучу арестованных под дулами наведенных на них наганов, белый халат доктора, склонившегося над Виктором Прокофьевичем, и в центре — Володю, потного, измазанного, с упавшими на глаза волосами. Он все еще держал в вытянутых руках пистолет и бомбу, как скипетр и державу.

— Володя! — крикнул товарищ Цинципер, соскакивая с машины. — Уездный розыск гордится тобой!

Он хотел пожать Володе руку, но, увидев пистолет и бомбу, бросился к начопероту, по дороге едва не наступив на тело Червеня. Близоруко поглядев на его поднятые колени и черную лужу, вытекшую из-под куска толя, товарищ Цинципер, непривычный к подобным картинам, заметно позеленел.

Володя разыскал взглядом Грищенко, который терся где-то в задних рядах.

— Грищенко, дай на минуточку твой манлихер, — сказал он.

Грищенко вышел вперед. Все великолепие его куда-то исчезло, и он казался невзрачным, как сибирский кот, только что вытащенный из воды.

Взяв у Грищенко винтовку, Володя обратился к товарищу Цинциперу:

— Товарищ начальник, разрешите доложить, младший милиционер Грищенко арестован мной за измену долгу.

— Пожалуйста, пожалуйста, я не возражаю, — замахал руками товарищ Цинципер, с некоторой робостью взирая на своего неукротимого агента.

— Занимайте места согласно купленному билету, — изысканно вежливо обратился начоперот к Грищенко, сложив ладони лодочками и указывая ими в сторону грузовика, в котором уже сидели, понурившись, бандиты.

Грищенко пошел, сутулясь, к грузовику; и его спина, еще недавно такая бравая, сразу стала похожей на спину заключенного.

— Это все? Или еще не все? — начоперот выразительно покосился на председателя домкома.

— Пока все, — ответил Володя.

— Тогда поехали, — крикнул начоперот и, взмахнув полами черкески, взлетел на грузовик.

Володя подошел к Шестакову. Рядом с ним на коленях стоял врач. Белый бинт летал вокруг головы раненого. Из-под марли были видны только его глаза.

— Как раненый? — спросил Володя у врача.

— Рана не опасна, но месяц продержим, — ответил тот, ловко перебрасывая бинт из руки в руку.

— Подлечите его, пожалуйста, и от хронического катара, — сказал Володя. — И когда он придет в себя, передайте ему от меня записочку.

Он вынул из кармана клочок бумаги — это был их план на сегодняшний день — и написал на обороте:

«Виктор Прокофьевич! Красавчик пойман.

Червень убит. Грищенко я посадил. Завтра утром приду к вам в больницу. Володя».

Первой выехала на улицу «Скорая помощь». За ней тронулась летучка. Бандиты сидели на дне грузовика, агенты — на бортах. Двое лежали на крыльях, целясь из винтовок в Ставки, притаившиеся в ночном мраке.

Долговязая фигура Красавчика раскачивалась над головами урканов. Красавчик стоял, широко расставив ноги, балансируя на ухабах и хватаясь иногда за голову Грищенко, сидевшего у его ног.

— Гражданин начальник, манлихер! Не забудьте манлихер! — кричал Красавчик Володе.

Тяжело переваливаясь, грузовик вполз в сводчатую подворотню.

— Манлихер! — прогремело из подворотни в последний раз.

На улице бандиты приободрились — в конце концов то, что случилось с ними, было в порядке вещей — и затянули воровскую «дорожную». Ветер забросил во дворик ее бойкий напев и веселые слова:

Майдан несется полным ходом...

Последними выехали со двора товарищ Цинципер и Володя на «берлиэ». Худая серая собака со стерляжьей головой бросилась за машиной, чтобы укусить ее в заднее колесо, но раздумала и отбежала. Двор опустел. Только часовые стояли у дверей разгромленной «малины».

— Володя, — сказал товарищ Цинципер, закрывая рот ладонью от встречного ветра, — я завтра же ставлю вопрос перед начальником губернского розыска, чтобы вас обоих — тебя и Шестакова — наградили именными золотыми часами с надписью: «За успешную борьбу с бандитизмом».

Они догнали летучку. Клубы пыли окутали «берлиэ», и воровская частушка заглушила приятные речи, с которыми товарищ Цинципер обращался к своему агенту.

Едва Владимир Степанович Бойченко закончил чтение, едва члены клуба перенеслись мыслью из

знойной Одессы в суровые Гагры, как несколько рук потянулось к увесистым золотым часам, лежавшим на тумбочке у изголовья кровати доктора. Все хорошо знали эти часы и безукоризненную точность их хода.

Самым проворным оказался юрисконсульт. Он схватил часы и нажал пружину. Толстая крышка со звоном отскочила, и под ней, как в сейфе, оказалась другая, точно такая же крышка. Юрисконсульт поднес часы к керосиновой лампе и громко прочитал надпись, выгравированную на внутренней стороне крышки:

«Владимиру Алексеевичу Патрикееву
за успешную борьбу с бандитизмом
от Одесского уездного уголовного розыска
25 августа 1920 года».

На минуту все онемели от изумления.

— Позвольте! — закричал, наконец, юрисконсульт. — Вы нарушили условие, доктор! Вы должны были написать из собственной жизни... Значит, сыщик Володя не вы, Владимир Степанович, а вы, Владимир Алексеевич!

И он недоуменно повернулся к Патрикееву.

— Вы меня, кажется, разоблачили, — ответил тот, чуть-чуть смутившись.— Отпираться бесполезно. Володя — это я.

— И вы ездили на кобыле Коханочке? — спросил старик Пфайфер.

— И я ездил на кобыле Коханочке.

— И вы бросали лимонки?

— И я бросал лимонки.

— И вы поймали Красавчика?

— И я поймал Красавчика.

Члены клуба недоумевали. Все уже создали в своем воображении образ Володи, и это был образ молодого доктора Бойченко. Теперь нужно было этот образ менять. Нужно было на место Бойченко ставить Патрикеева. Это было трудно. Трудно было поверить, что солидный, уверенный в себе Патрикеев был когда-то робким, застенчивым, смешным мальчиком — таким, каким он был описан в рассказе доктора.

— Как это на вас непохоже! — всплеснула руками Нечестивцева. — Вы — и эти степные трупы...

— Позвольте! — перебил ее юрисконсульт. — Одного я все-таки не понимаю: почему же часы у Владимира Степановича? При чем здесь доктор?

— Ну, это просто, — ответил Патрикеев, ухмыльнувшись не без лукавства. — Мы с ним старые приятели, и я давно подарил ему эти часы на память о юности, проведенной вместе.

— Сидели небось за одной партой?

— Нет, мы учились в разных учебных заведениях.

Юрисконсульт еще долго не мог успокоиться.

— Кто бы мог подумать, — говорил он, обращаясь к Пфайферу и Нечестивцевой, — что известный литератор десять лет назад был мелким агентом деревенского уголовного розыска...

Все согласились с тем, что подобные превращения возможны только в наши дни, и каждый привел несколько примеров быстрого роста людей в Советской стране. Оказалось, что доктор Нечестивцева была когда-то медицинской сестрой, а интендант Сдобнов — почтальоном; и даже сам Пфайфер, знаменитый хлебопек, до семнадцатого года всего-навсего управлял большой частной пекарней в Кременчуге. Только юрисконсульт Котик со смущением признал, что всегда был юрисконсультом и его отец тоже был юрисконсультом.

— Скажите, — спохватился вдруг Котик, — а куда девался ваш Красавчик?

— Красавчик попал, разумеется, в допр, — ответил Патрикеев. — В те годы над воротами одесского допра висела надпись, сочиненная его начальником, бывшим политкаторжанином, полжизни просидевшим в царских тюрьмах: «Допр не тюрьма, не грусти, входящий». Всякий, кто попадал в допр, мог стать человеком, если только хотел этого. Красавчик сидел года четыре и все четыре года работал и учился. Он вышел на волю довольно образованным молодым человеком, спокойным и скромным. То, что произошло с ним дальше, никого в наши дни не может удивить:

он продолжал учиться и окончил вуз. Кстати, и я окончил все-таки вуз — филологический факультет бывшего Новороссийского университета. То были трудные годы для юношей, и многие из нас занимались не тем, чем надо. Советская власть помогла нам найти место в жизни. Она занялась нами, как только у нее немножко освободились руки. С одними она обошлась сурово, как с Красавчиком, с другими — поласковее. Кто дождался этого времени, кто захотел, тот стал человеком... Теперь Красавчик,— продолжал Патрикеев, — редко вспоминает о своих степных похождениях, о «кукурузной» армии, о том времени, когда он не выходил из дому без уздечки за пазухой. Теперь вы можете совершенно спокойно доверить ему пару лучших своих лошадей. Я не терял его из виду, и в конце концов мы подружились; каждый из нас считает себя очень обязанным другому: я — за то, что он не выстрелил в меня когда-то из манлихера, а он — за то, что я вовремя его посадил.

Патрикеев швырнул в камин чурбанчики, на которых сидел, и подошел к окну. Посредине бухты, прямо перед дворцом, возвышалась пирамида огня. Это был теплоход. Он был иллюминирован с такой пышностью, будто его рубильниками управляли огнепоклонники. Патрикеев распахнул балконную дверь. Непривычная тишина почти оглушила его. Прибоя не было. Молодой синеватый месяц мирно сиял в звездном небе, а под ним поперек спокойного моря тек к берегу светлый лунный ручей. С высокого берега свергались в море потоки талой воды. Было тепло, снег быстро таял. И, как бы извещая о первых глотках воды, вернувших жизнь гидростанции, в электрической лампочке над верандой порозовела и затрепетала тонкая нить.

Торжественный аккорд потряс воздух. Он был всеобъемлющ. Все тона сплелись в нем, и все звучало вместе с ним — горы, море, стекло в оконной раме. Он наполнял собой все. Он был так низок, что казался подземным. Это гудел теплоход.

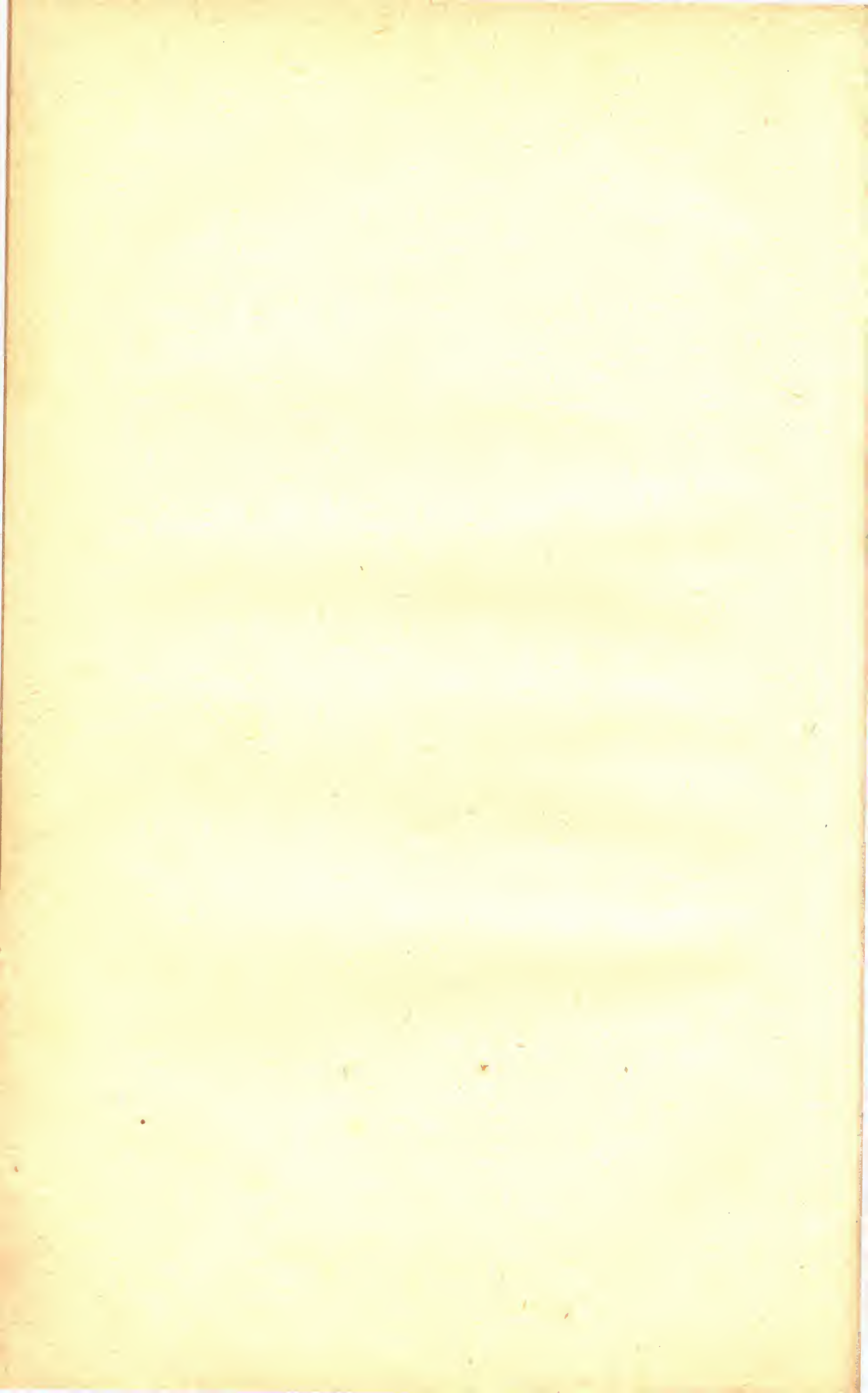
— Товарищи, — крикнул Патрикеев, — шторм утих!

Но никто не обратил внимания на его слова. Все смотрели на доктора Бойченко. Тот сидел молча, опустив голову и приблизив лицо к огню, как будто немного обиженный тем, что никто не сказал ни слова о литературных достоинствах его рассказа. Доктор молчал, и члены клуба продолжали смотреть на него немигающим, изумленным взглядом.

Общее внимание смутило доктора. Он поднялся со стула, расправил широкие плечи, потянулся, и все увидели его долговязую фигуру, твердые бронзовые скулы и веселые глаза цвета ячменного пива.

П. БЛЯХИН

КРАСНЫЕ ДЬЯВОЛЯТА



ДВЕ МАСКИ

Страна Советов пылала в огне гражданской войны. Со всех сторон к сердцу России — Москве — двигались многочисленные орды контрреволюции. С востока, севера и юга угрожали иностранные интервенты, снабжавшие белые армии оружием и продовольствием. В Крыму засел Врангель, войска которого прорывались на Украину, в район Екатеринославщины. А здесь, в тылу молодой Красной Армии, бесчинствовали кулацкие шайки, возглавляемые разными батьками и атаманами.

Городские рабочие и деревенская беднота самоотверженно боролись за советскую власть, помогали Красной Армии и нашим партизанам всем, чем могли. Сотни и тысячи молодых добровольцев пополняли ряды славных бойцов за дело свободы и социализма.

В эти грозные годы в кольце врагов советскому народу жилось тяжко, голодно и холодно. После войны промышленность была разрушена, поля не засеяны, хлеба не хватало даже для снабжения Красной Армии. Деревенские кулаки-богатеи прятали свой хлеб и продукты в ямах и потаенных местах, занимались спекуляцией и жестоко грабили городское население, спускавшее за хлеб и картошку последние пожитки.

В те дни, к которым относится действие нашей повести, такое же положение было и в городе Екатеринославе.

В Гуляй-Поле и по всей Екатеринославской губернии разгуливали и грабили мирных жителей банды знаменитого на Украине батьки Махно. Действуя в тылу Красной Армии, эти банды приносили неисчислимый вред советскому народу: устраивали еврейские погромы, громили и грабили базы снабжения, убивали советских работников, особенно большевиков и красных партизан. Деревенские богачи и бур-

жуи всячески помогали им в борьбе против советской власти. Они хотели вернуть старый режим, царя и помещиков.

Был вечер. На густо-красном горизонте тяжко громоздились и лезли к зениту грозовые тучи. По широкому шляху из Екатеринослава длинной вереницей тянулись мужицкие телеги и тачанки. Они возвращались с большого воскресного базара. На возах громоздились пустые кадушки и макитры *, кухонная посуда, граммофонные трубы, зеркала и ведра, столы и стулья — словом, все, что можно было выменять у голодающих горожан за хлеб, молоко и картошку.

Крестьяне явно спешили домой. Не желая остаться в одиночестве, задние возчики усердно нахлестывали и понукали криками своих коней:

— Та ну, швыдче, кавурый!

— Гей, Петро! Чи здыхае твоя кобыляка, чи шо?

— Трохым, геть со шляху, чого став, бач, лис близко!..

Грозовые сумерки уже ползли по земле, окутывая дорогу зловещим полумраком.

Подъезжая к лесу, мужики незаметно вытаскивали из-под соломы короткие куцаки **, иные нащупывали за пазухой револьверы, готовили ножи. Они явно чего-то опасались, со страхом поглядывая на темные овраги и в сторону леса.

Только одна расписная тачанка, запряженная парой коней и нагруженная до отказа разным барахлом, не торопясь катилась в хвосте обоза. На ее задке, увязанное веревками, гулко громыхало старое пианино.

Лениво пошевеливая вожжами, конями правил здоровенный мужичище с красным, заплывшим лицом и толстой золотой цепочкой на рыхлом брюхе.

Рядом, словно курица на яйцах, сидела его жена. С первого взгляда было ясно, что это почтенные и богатые люди.

---

* Большая глиняная квашня.

** Куцак — от слова «куцый» — винтовка с обрезанным дулом.

Вероятно, по случаю выгодной спекуляции мужик изрядно выпил и теперь беспечно насвистывал украинские песенки. Это очень беспокоило его жинку, которая то и дело тыкала чоловика кулаком в спину:

— Та ну, красный пес, гони швыдче! Бач, як тэмно?!

— Тэмно? А нехай соби тэмно, — невозмутимо отвечал «красный пес» и не думал торопиться, — мини що: дорогу я знаю, село знаю, ворота знаю — усё знаю. Хиба ж я пьян, чи шо? Бач, у мэнэ яка цидуля е?

Пьяный кулак выразительно шлепнул ладонью по пустой кубышке, из которой торчала ручка нагана:

— Хлоп, и в голове дырка.

Жинка разъярилась еще больше:

— Вот дурна дитына! Хиба ж ты не чув, що тут сам Махно гуляе? Гони, кажу, швыдче!..

— Батько Махно? — живо отозвался мужик. — А нехай соби гуляе, дай ему боже... Вин же на радяньску владу идэ, щоб ий кишки повытягло!

И кулак разразился забористой бранью по адресу советской власти. Наругавшись вдоволь, он вдруг бросил вожжи, смачно шлепнул ручищей по жирной спине своей жинки.

— А хошь, Олена, я для батьки Махно «Боже, царя» спою? Хошь? Ей-богу, спою и на музыке натрынькаю...

Мужик повернулся к пианино и лихо забарабанил кулаками по крышке:

— «Бо-о-о-же, царя храни, сильный дер...»

— Стой!

— Стой!..

— Руки вверх! — внезапно загремело над ухом кулака. И его кони в мгновенье ока оказались свернутыми в обочину, а перед глазами блеснуло черное дуло револьвера.— Оружие и деньги! — грозно крикнул незнакомец, направляя пистолет в лоб кулаку.

В ужасе воздев руки к небу, мужик растерянно забормотал:

— Деньги?.. Яки деньги?.. — Но, глянув в лицо

грабителя, он вдруг увидел красную маску, разрисованную белыми полосами и черными пятнами.

— О боже ж мий! Нэчиста сила! — взревел суеверный мужик.

А перепуганная Олена уже лежала ничком, спрятав голову в большую макитру с остатками сметаны.

У тачанки появился еще один грабитель в такой же страшной маске.

— Да они совсем окачурились от страха, — сказал первый, опуская дуло пистолета. — А ну-ка, обыщи их, Овод!

Второй грабитель проворно обшарил воз и кулака.

— Есть оружие, брат Следопыт! — радостно крикнул он, выхватывая из кубышки наган.

— Даешь поход! — отозвался грабитель, названный Следопытом, и тотчас спрыгнул с колеса тачанки.

Две красные маски мгновенно исчезли в ближайшем овраге, а перепуганная чета еще долго лежала на месте, боясь шелохнуться. Наконец мужик осторожно приподнял голову и огляделся по сторонам. Вокруг все было тихо.

— Дэ ж воны? — изумился он, крестясь. — Мабуть, наваждение було, чи оборотень якийʼ? Дывысь, Олена!..

И только теперь мужик заметил, что на плечах его жинки вместо головы торчала огромная макитра.

— Олена! Гей, Олена! Та дэ ж твоя дурна голова? Ты сказылась, чи шо?..

Услышав знакомый голос, Олена медленно подняла голову вместе с макитрой. По ее груди и шее стекала сметана.

Мужик невольно расхохотался:

— Бачтэ, яка штука!

Олена с трудом стащила свой нелепый колпак. Но, увидев хохочущего мужа, она побагровела от ярости и с такой силой трахнула его макитрой по голове, что черепки разлетелись во все стороны.

— Жинку чуть не зарizалы, а вин регоче, рыжий сатана!

Однако, опомнившись, они оба сразу схватились за вожжи и, нахлестывая коней, понеслись по шляху прочь от страшного места.

КТО ОНИ?

Глухая ночь спустила на мир свой черный полог. Вдали угрожающе ворчал гром, вспыхивали белые молнии, словно от страха, трепетали вершины дубов...

Но что это?..

Далеко над лесом пролетела красная горящая искра, за ней другая, третья... В темной чаще заиграли языки пламени.

Кто же дерзнул зажечь огонь в этом угрюмом лесу в такую тревожную ночь и так далеко от жилых селений?..

У костра под могучим дубом сидели на корточках уже знакомые нам грабители в страшных масках.

— Слушай, брат Следопыт, — сказал один, подбрасывая сухие сучья в огонь, — для чего ты крикнул: «Оружие и деньги!», когда нам нужно было только оружие? Мы ж не грабители.

Второй засмеялся:

— А так страшнее. Видал, как кулак глаза выкатил? Я думал, он лопнет от страха. Военная хитрость, брат Овод.

— Ну нет, это он твоего пистолета испугался!

— Да, пистолет лихой, — согласился тот, кого звали Следопытом, и бросил в огонь большой черный «пистолет», дубовый ствол которого походил на детскую пушку.

Овод снял маску. Она оказалась простой красной тряпкой, разукрашенной белилами и ваксой, с двумя дырками для глаз.

— Не пора ли, брат, начать совет вождей? — спросил он, засовывая револьвер за пояс штанов. — В поход мы, кажись, готовы.

— Ну что ж, начинать так начинать, — ответил Следопыт и тоже сорвал с лица маску.

При колеблющемся свете костра теперь уже можно было разглядеть безусые лица двух подростков, ничуть не похожих на лесных грабителей. Юнец, названный Следопытом, был одет в красную рубашку, подпоясан простой веревочкой. На ногах большие, видимо отцовские, сапоги. Крепкий, широкий в плечах и груди, он казался сильным не по летам. Рыжие волосы буйными вихрами торчали во все стороны, а живые серые глаза смотрели дерзко и весело.

Второй паренек был, видимо, слабее первого, но ловкий и гибкий, как лоза. Черные волосы то и дело сползали на его высокий, умный лоб, заставляя частенько встряхивать головой. Мягкое красивое лицо и особенно светлая улыбка годились бы скорее для девушки, чем для парня с револьвером за поясом. Одет он был так же, как Следопыт, обут в опорки на босу ногу.

Следопыт, не торопясь, вытащил из-за голенища сапога длинную резиновую кишку с трубкой на конце.

— Для начала выкурим трубку мира, брат Овод, — важно сказал он, набивая трубку чем-то вроде табака.

Овод молча кивнул головой.

Следопыт закурил. Выпустил первый клуб дыма и так закашлялся, что на глазах выступили слезы.

— Тьфу ты, пакость какая! Аж в нос шибануло!

— Ничего не поделаешь, — отозвался Овод, — таков порядок в совете вождей. Твое слово, брат Следопыт...

Следопыт вытер глаза рукавом рубахи и начал:

— Слушай, брат Овод. Одиннадцать лун тому назад Черный Шакал вырыл томагавк войны, а проклятая Голубая Лисица разоряет наши родные вигвамы и села. Бледнолицые собаки не щадят ни жен, ни детей наших и даже стариков предают лютой смерти у столба пыток. Не пора ли и нам взяться за томагавки? Или мы трусливые бабы, что сидим дома у костров мира? Смерть бледнолицым собакам!

Оратор грозно потряс кулаком в воздухе и передал конец кишки своему приятелю. Тот, в свою очередь, глотнул дыму и тоже закашлялся.

— Голубая Лисица замучила нашего брата Федю у столба пыток, — сказал он. — Мы должны разыскать ее хоть на дне моря, заковать в железные цепи и отправить на суд Великого Вождя краснокожих...

— Ой, нет, сначала мы всыпем ему пятьдесят горячих, а потом уж и в цепи, — перебил Следопыт. — Я обещал батьке...

— Можно и так, — согласился Овод. — Значит, завтра в поход?..

— Урра-а, в поход! — подхватил Следопыт и, совсем как мальчишка, перевернулся через голову, ударив каблуками опорок по костру.

Сноп золотых искр взвился к небу, осветив на мгновение и дуб, и полянку, и юных вояк. А затем тьма стала еще гуще и ночь чернее.

Так неожиданно закончился совет вождей... Однако пусть читатель не думает, что все это лишь простая игра юных фантазеров «в индейцев» или еще что-нибудь в таком же роде. Не всякому понятное решение совета вождей явилось началом таких дел и приключений, что они составят все содержание нашей повести. А впрочем, вернемся немного назад и расскажем, как эти ребята задумали свой поход и что их толкнуло на отчаянный трюк с красными масками...

красные дьяволята

Отец наших героев, Иван Недоля жил в селе Яблонном на Украине. Все его имение состояло из старой покосившейся хатенки да худой сивой кобылы. Зимой он ходил на заработки, а летом ковырялся на своем жалком клочке земли и батрачил у деревенских кулаков. В 1914 году он вместе со старшим сыном Федором ушел на войну бить немца.

Домой Недоля вернулся уже после Октябрьской революции. Он пришел на село в рваной шинели,

заметно прихрамывая на левую ногу, но с винтовкой в руках. На его широченной груди сияли два георгиевских креста, а за пазухой лежала пачка большевистских газет и первые декреты советской власти о земле и мире. С этого дня Иван стал самым горячим большевистским агитатором на селе.

— Земля — народу! — кричал он на сельских сходках, потрясая винтовкой. — Хлеб — Красной Армии! Смерть — белякам и буржуям!..

В разгар гражданской войны на Украине он организовал комитет незаможных селян и крепко взял в переделку кулаков-мироедов.

Федор попал на флот.

Семья Ивана — жена и двое ребят-близнецов — по-прежнему ютилась в кособокой хатенке. Ребята — Дуняша и Мишка — старались быть похожими на отца и на свой лад помогали ему в борьбе за власть Советов.

Гражданская война разбила село на два враждебных лагеря: на кулаков и бедняков, на красных и белых, на тех, кто за советскую власть и кто против нее.

Дети бедноты и кулачества тоже разделились на две партии и отчаянно воевали между собой, шли «стенка на стенку».

Мишка и Дуняша чуть не каждый день возвращались домой, покрытые синяками.

Старушка мать плакала. Отец посмеивался:

— Так-так, хлопцы, значит, вам опять всыпали?

— Всыпали своими боками, — хмуро отвечал Мишка. — Мы им тоже наклюкали, дай боже...

— А кто же это вас разукрасил так?

— Кулачье разное да Митька Косой — попов сын.

— А вы что? Пятки казали?

Мишка вспыхивал от обиды:

— Ну, это ты брось, батька, я им такие фонари наставил!

— И я тоже, — подхватывала Дуняша, показывая отцу рваную кофточку, — мы вместе бьем их...

— За что же вы воюете, хлопцы мои? — продолжал допрашивать отец, делая серьезное лицо.

— А они нас красными дьяволятами обзывают. Ну, мы и... того, в кулаки их...

— А потом они советскую власть ругают и тебя тоже...

Отец был доволен:

— Молодцы, ребята! За советскую власть всем беднякам биться надо. И «красные дьяволята» — хорошая кличка, лишь бы не белые...

Мать горестно всплескивала руками:

— Что ж ты делаешь, старый, дети в крови приходят, а он еще нахваливает!

Но дети давно уже решили воевать за советскую власть по-настоящему, с оружием в руках, как взрослые. Под руководством отца они изучали военный строй, ружейные приемы, стрельбу из винтовки и револьвера.

К великому удовольствию Ивана, в стрельбе Мишка скоро превзошел своего отца. Из револьвера на десять шагов он попадал в яблоко, а из винтовки почти не знал промаха. Неплохо «рубал» он и старенькой шашкой, одним махом срезая голову «белогвардейцу», слепленному из глины. Но из всех военных дел Мишке больше всего нравилась разведка. Всерьез готовясь к этому делу, он исползал на животе окрестности села, порвал все свои штаны и рубашки, по голым стволам лазал на вершины самых высоких сосен, часами сидел там, «выслеживая врага» и корректируя воображаемый огонь Красной Армии.

Дерзко поправ обычаи своего пола, Дуняша мало в чем уступала своему брату и была с ним неразлучна, как тень.

Ребята помогали и матери по хозяйству: ходили в лес за дровами и хворостом, таскали воду с реки, обрабатывали огород, чистили картошку... Впрочем, кроме картошки, у Недоли ничего и не было. Хлеб пополам с мякиной и лебедой они получали из сельсовета по восьмушке на человека да изредка по фунту муки через комитет незаможных селян.

Так же, как отец, ребята не унывали. Они свято верили в светлое будущее трудящихся, в окончательную победу советской власти и всей душой любили Владимира Ильича Ленина, о котором так много рассказывали им отец и брат Федор. Ленин представлялся им как добрый отец всего трудового народа, как великий вождь и чудо-богатырь земли русской. Недаром между собой они называли его Великим Вождем краснокожих воинов...

У брата и сестры были две страсти: война и книги. Читали они запоем все, что подвертывалось под руку. Но больше всего любили книги о боевых подвигах и приключениях, о путешествиях за моря и океаны. о героической борьбе краснокожих индейцев Америки за свою свободу и независимость.

Любимыми героями Мишки были «последний из могикан» — Ункас и старый охотник — Следопыт. А так как Следопыт был замечательным разведчиком, Мишка и присвоил себе его кличку.

Дуняша долго не могла найти для себя подходящего имени. Но однажды сельский учитель, охотно снабжавший их книгами, подарил Дуняше чудесный роман Войнич «Овод». Ребята прочитали его залпом и были потрясены необыкновенным мужеством и самоотверженностью Овода в борьбе за освобождение Италии от иноземцев-поработителей. На истрепанные страницы, где описывалась трагическая смерть Овода, не раз падали горькие слезы Дуняши, а Мишка отворачивался в сторону, подозрительно посапывая носом. Как настоящий мужчина, он старался скрывать свою слабость.

Чтение этой книги закончилось тем, что Дуняша дала Мишке клятву быть такой же самоотверженной, как Овод, и так же, как он, мужественно встретить смерть, если придется погибнуть в борьбе за власть Советов, за свободу. Мишка торжественно одобрил клятву сестры и тут же назвал ее Оводом.

В сознании ребят современные события и герои гражданской войны так причудливо переплетались с книжными образами, что они уже и сами не знали, где кончается чудесная сказка и вымысел, а где на-

чинается подлинная суровая жизнь. В разговорах между собою они создали даже свой особый язык, заимствованный у индейцев Фенимора Купера и Майн Рида, понятный только им одним. Красноармейцев они называли краснокожими воинами, белых контрреволюционеров — бледнолицыми собаками. Белогвардейский генерал Врангель получил кличку Черного Шакала, бандита Махно окрестили Голубой Лисицей. Знаменитый командарм Первой Конной армии Буденный носил у них имя храброго предводителя одного из индейских племен — Красного Оленя и т. п. А Ленина, как мы уже говорили, иначе и не называли, как Великий Вождь краснокожих воинов: в их представлении это была высшая степень любви и уважения.

Время шло. Гражданская война разгоралась. Ребята продолжали готовиться к боевым делам и уже стали осаждать своего батьку просьбами отпустить их добровольцами в армию краснокожих воинов. Разумеется, они пойдут под начало только самого Красного Оленя, то есть Буденного. В то время слава Первой Конной уже гремела по всей России, заражая сердца молодежи жаждой подвига.

Отец одобрительно посмеивался, но все же советовал ребятам подрасти еще немного, а потом уж...

Дуняша и Мишка ждали этого дня с величайшим нетерпением. Но тут случилось событие, сразу опрокинувшее все их надежды и планы. С фронта неожиданно прибыл старший брат — матрос Федор, чтобы организовать на селе заготовку хлеба для Красной Армии. Отец, как председатель Комитета незаможных селян, пришел ему на помощь и при содействии бедноты стал выкачивать у богатеев-кулаков припрятанный хлеб.

И вот в тот день, когда продотряд выехал в соседнюю деревню и в Яблонном не осталось вооруженных сил, в село ворвалась банда и учинила кровавый разгром. Это была одна из шаек самого злого врага советской власти — батьки Махно. Отец и Федор вступили с бандитами в неравную схватку. Раненого Федора бандиты увезли в лес и там замучили

насмерть. Отец же остался жив. Получив тяжелую рану в спину, он оправился и через два месяца встал на ноги. Его хатенка сгорела. Иван Недоля устроил свою семью у знакомого рабочего в городе Екатеринославе, а сам решил уйти к красным партизанам.

Прощаясь с Мишкой, отец сказал:

— Вот что, сынок, если я сам не встречу и не убью Махно, то постарайся разыскать его хоть ты и всыпь ему таких горячих, чтобы он вовек не забыл нашей деревни...

Неизвестно, шутил ли отец или говорил всерьез, но Мишка гневно блеснул глазами и сурово ответил:

— Не бойся, батька, это ему даром не пройдет: я найду его хоть под землей! Скажи только, сколько ему всыпать?

Отец невольно улыбнулся:

— Да влепи хоть полсотни, и то будет добре.

— И я с Мишкой пойду! — вмешалась Дуняша, бросаясь на шею отца. — Махно замучил нашего Федю.

Напоминание о смерти старшего сына передернуло старика. Он расцеловал детей и плачущую жену, смахнул с ресниц тяжелую мужицкую слезу и быстро вышел вон, прихватив винтовку.

С тех пор отец как в воду канул — ни слуху, ни духу. Все думали, что он погиб. Только жена не хотела верить и ждала его домой изо дня в день, полная тоски и горя.

По уходе отца ребята решили, что они уже достаточно выросли и вполне готовы для боевых дел (а как же, ведь им уже перевалило за пятнадцать лет!). Одна беда — у них не было оружия. Винтовку и револьвер забрал отец, а старенькая шашка в расчет не принималась. «Не оружие, а бабье веретено», — уверял Мишка. Как же быть? После долгих споров и обсуждений ребята решили отобрать оружие у какого-нибудь кулака или бандита, а потом двинуться «в поход». Как и чем закончилась эта попытка, читатель уже знает из предыдущей главы.

Костер на полянке догорал. Ребята сидели под

дубом, обсуждая разные детали предстоящей военной кампании.

В первую очередь они решили пробраться в лагерь Красного Оленя — Буденного, недельку-другую повоевать с бледнолицыми собаками, поработать для практики разведчиками, а потом уж направиться на поиски проклятой Голубой Лисицы, то есть Махно, и разделаться с ним по-своему.

Как видно, ребята затеяли нешуточное дело. Они свято верили, что все пойдет как по маслу и врагам революции несдобровать! Жаль только, что им не удалось достать пару хороших маузеров, с которыми, по их мнению, можно было победить весь мир: шутка ли — двенадцать пуль в одной обойме! Да вот нехорошо еще, что старуха мать одна остается дома. Захиреет с горя.

— Тяжело будет нашей матке-то, — грустно заметил Овод, вытирая полой рубахи заплаканные глаза, — не выдержит она голодухи, зачахнет без нас...

— Не зачахнет, — сурово возразил Следопыт, чувствуя, что и сам вот-вот разревется. — Экая ты беспонятливая, война-то ведь не кухня, не с горшками драться. Солдаты всегда уходят, а матери остаются...

— Да я что ж, я ничего... Я говорю только, что тяжело будет старухе, — оправдывался Овод, стараясь приободриться.

— Значит, завтра чем свет в поход?

— Уже сегодня. Вишь, светает.

— Руку, товарищ!..

Ребята крепко обнялись. А затем дали клятвенное обещание всегда быть вместе, не оставлять друг друга в беде и биться за власть Советов не на жизнь, а на смерть.

Сидя плечом к плечу и продолжая мечтать о будущих подвигах и приключениях на красном фронте, они незаметно задремали.

Костер давно погас... Ночная тьма поднялась к небу, черные тучи рассеялись, и огненные мечи восходящего солнца торжественно возвестили спящему миру: «Пора вставать, идет утро!..»

У красного оленя

На берегу извилистой речонки, по оврагам и деревушкам раскинулся лагерь Конной армии Буденного. После многодневного утомительного марша бойцы и кони отдыхали. Впрочем, этот отдых был вынужденным: на пути конницы встретились сильные части белогвардейской пехоты, окопавшейся вдоль опушки леса с артиллерией и пулеметами.

Штаб армии расположился в крестьянской хате на окраине села. На крыльце стояли два буденновца с винтовками — это охрана. В штаб то и дело пробегали ординарцы с донесениями или с приказами, выскакивали обратно, садились на коней и неслись прочь.

В хате за большим столом, склонившись над полевой картой, сидели сам Буденный и могучий седовласый полковник с пышными и длинными усами, похожий на гоголевского Тараса Бульбу.

— Так вы говорите, полковник, что фланг противника — самое слабое место? — спросил Буденный, скосив глаза на старого казака.

— Эге ж, — коротко ответил тот, тряхнув чубом. — Ось тут такая низина, по которой можно ударить в конном строю. — Он ткнул пальцем в отметку на карте.

Буденный усмехнулся:

— А вот здесь, на холмике, стоят «максимки» и могут порезать твоих коней, как коса траву.

Полковник почесал в затылке:

— Ось тут?.. Могут поризать... Як же будэ?

— Ударим в лоб, — решил Буденный, — вот по этой долине.

Полковник удивился:

— В лоб? Ни, так не можно.

— В лоб! — повторил Буденный, вставая. — Это слишком дерзко, зато неожиданно для врага. А для конницы внезапный удар — половина победы. Ваш полк махнет первым перед рассветом. Еще раз пошлите разведку...

— В лоб так в лоб, — спокойно согласился полковник и, вынув из кармана коротенькую трубку, стал набивать ее махоркой.

В дверь кто-то постучал.

— Войдите! — крикнул Буденный.

Дверь распахнулась, и бравый казак, взяв под козырек, вытянулся в струнку у входа.

— Ты что, Гарбузенко?

— Шпиёнов привели, товарищ командующий.

— Шпионов? Вот кстати. Где ж вы их схватили? — живо спросил Буденный.

— В лесу, около речки.

— А почему вы думаете, что это шпионы?

— Та воны дюже подозрительны: кажуть, шукали Буденного, и такое балакают, що не дай боже. Мабуть, воны пьяны, чи шо, — отвечал, переходя на украинский язык, красноармеец.

— Вы обыскали их?

— А то як же!

— Что ж нашли?

— Та оцю книжку та наган.

— Хорошо, давайте их сюда.

— Слухаю! — буденновец повернулся на каблуках и, приоткрыв дверь, позвал: — Гей, Петро, тягни их до командира!

В палатку, подталкиваемые сзади, вкатились два старичка с длинными бородами неопределенного цвета. Один походил на деда-мороза, слепленного детскими руками: низенький, квадратный, с всклокоченной бородой, немного съехавшей набок; второй был тощий и прямой, как палка. Старички подошли к столу и с любопытством стали оглядывать палатку.

На столе рядом с картой лежал маузер.

При виде оружия квадратный старичок живо толкнул в бок тощего, шепнув вполголоса:

— Гляди-ка, маузер!

— Маузер, — тоже шепотом ответил тот, сделав еще шаг к столу.

Полковник, зорко следивший за каждым их движением, быстро схватил маузер и чему-то ухмыльнулся.

Окинув старичков пытливым взглядом, Буденный оперся подбородком на эфес своей сабли и сухо спросил:

— Вы откуда, старики, пожаловали в наши края?

— Мы-то? — переспросил квадратный старичок, оправляя бороденку. — А кому какое дело? Мы ж не такие дурни, чтобы всякому болтать, как и что.

Буденный изумленно вскинул брови:

— Вот это номер!.. Вас же арестовали около самого штаба!..

— А ну что ж, — отрезал старичок, — мы пробирались к Красному Оленю, а нас и цапнули эти чудаки...

— Что за вздор, какой олень?

— Красный...

Тощий старичок дернул квадратного за рукав и на ухо шепнул:

— Они же не знают!..

— И верно! — спохватился квадратный. — Мы, значит, к Буденному шли и вот — влопались.

— Ну, так говорите, что вам нужно от него. Я и есть Буденный.

Старички ахнули в один голос:

— Сам Буденный?!

— А ведь похож! Ей-богу, он! — обрадовался квадратный, подталкивая вперед тощего. — Ну, валяй рассказывай, брат Овод, а то я опять наверчу что-нибудь.

Тощий старичок подвинулся ближе к Буденному:

— Вы на нас не сердитесь, товарищ Буденный. Мы, вот я и мой братень Следопыт, то есть Мишка, из села Яблонного, а батька наш Иван Недоля ушел в партизаны, брата Федора замучили бандиты Голубой Лисицы, значит, Махно, а мы с Мишкой решили вступить добровольцами к вам...

— В ряды краснокожих воинов, — вставил квадратный старичок.

— Не перебивай, пожалуйста, — отмахнулся тощий и продолжал: — Под вашей командой мы хотим немного попрактиковаться в военных делах...

— Побить бледнолицых собак, — опять не утерпел квадратный, — а потом разыщем проклятую Голубую Лисицу и всыпем ей полсотни горячих. Пусть знает, гадюка, как села жечь! Во!..

— Вы что-нибудь понимаете здесь, полковник? — сердито спросил Буденный. — Красный Олень, бледнолицые собаки, Голубая Лисица... Что за тарабарщина такая?

Овод хотел уже разъяснить, в чем дело, но тут старый буденновец подошел к старичкам, и вдруг схватив их за бороды, дернул вниз:

— Бачтэ, яка кумедия!

И перед изумленными взорами красных конников и Буденного во всей красе предстали наши герои — Следопыт и Овод. Все прыснули со смеху, а за ними рассмеялись и ребята.

— Это еще что за фокусы?! — прикрикнул Буденный.

Ребята сразу притихли, не совсем понимая, почему сердится Красный Олень, когда все получилось так великолепно.

— Никакого тут фокуса нет, — робко возразил Овод, — это мы для отвода глаз прицепили и вот явились к вам...

— А на что вы мне нужны? — отрезал Буденный. — У вас еще молоко на губах не обсохло, а вы воевать задумали.

— Как на что? — удивился Следопыт, выступая вперед. — А кто вам Голубую Лисицу поймает?..

— И потом иметь такого разведчика, как Следопыт, вовсе не худо, — поддержал Овод. — Он может проползти на пузе хоть двадцать верст, а шашкой рубает не хуже любого казака.

Мишка сердито фыркнул и задрал голову вверх.

Буденный не выдержал тона:

— Вот забавные хлопцы! Куда ж мы их денем, полковник?

— Принять их на службу и отдать под мою команду, — невозмутимо посоветовал старый вояка, — а я их прощупаю.

— Хорошо, пусть будет по-вашему, — согласился

Буденный. — Только проверь сначала, что это за сорванцы такие.

— Слухаю! Гайда за мной, хлопцы!

— А где ж наше оружие? — спросил Мишка. — Мы его в бою взяли...

— Возвратить! — коротко бросил Буденный, снова наклонясь над картой.

По-военному отдав честь Буденному, ребята вышли вслед за полковником.

Ю-Ю

Был уже вечер, и на голубом небе одна за другой выплывали звезды.

Ребята шли по деревне, полные радости и надежд, — они станут буденновцами!

Мишка старался идти в ногу с полковником, который молча посмеивался, наблюдая за юнцами. Мимо них то и дело проносились верховые. Во дворах ржали и фыркали кони. Порой слышался лязг штыка или шашки, окрики патрульных, лихая песня. Там и сям горели костры, вокруг которых сидели на корточках воины в ожидании ужина. Лагерь глухо рокотал и гудел, словно улей гигантских пчел.

По пути ребята увидели несколько хат, снесенных до основания артиллерийским огнем. Только черные остовы труб и печей зловеще торчали среди кучи развалин, производя жуткое впечатление.

У наших героев невольно сжались сердца: вот она где, настоящая-то война! Вот они, настоящие красные бойцы, и тот самый фронт, куда тянуло их с такой неодолимой силой!

Пройдя развалины, Мишка и Дуняша увидели кучку деревенских ребят. Они шумели и над кем-то громко смеялись. Центром внимания оказался молодой китаец с буденовкой на голове, который старался выбраться из толпы.

— Ходя! Ходя! Косолапый ходя! — кричали озорники, дергая его за полу длинной шинели. А когда

китаец поворачивался, чтобы схватить обидчика, они с хохотом отскакивали прочь.

Желтое лицо китайца посерело от гнева. Он яростно метался в куче озорников.

Овод возмутился издевательством над китайцем и тотчас шепнул что-то на ухо Мишке.

— Есть, дать взбучку! — ответил Мишка. И не успел полковник сообразить, в чем дело, как наши приятели с криком «ура» врезались в толпу ребят, раздавая удары направо и налево. От быстроты и неожиданности натиска толпа в испуге разлетелась в разные стороны.

Опрокинув двух-трех озорников, Мишка и Овод подбежали к китайцу и в воинственной позе стали по бокам:

— Прочь, бледнолицые собаки! — крикнул Мишка, выхватывая револьвер. — Не будь я Следопыт, если не влеплю кому-нибудь пулю в лоб! А ну, подходи, кто желает!..

Желающих не оказалось...

— Молодцы, хлопцы! — смеясь, похвалил старый казак. — Быть вам буденновцами! Ведь это кулацкое отродье напало на Ю-ю.

— Рады стараться, товарищ полковник! — по-военному гаркнули ребята.

Прижимая руки к груди, китаец низко кланялся своим заступникам и почтительно лопотал:

— Спасибо, капитана!.. Караша, капитана, моя твоя товалиса!

Он схватил руку Мишки и крепко встряхнул ее в знак дружбы и преданности. Потом резко обернулся вслед убегавшим озорникам и, гневно сверкнув черными глазами, погрозил кулаком:

— Твоя шайтан! Моя твоя бить будет!

— Как тебя звать, товарищ? — спросил Овод в свою очередь, пожимая руку китайцу.

— Моя звать Ю-ю, товалиса Ю-ю...

Из разговора с полковником выяснилось, что Ю-ю давно уже находился в армии Буденного, исполняя различные поручения штаба полка, а иногда бывая и в разведке. До прихода в армию он работал в ки-

тайской прачечной в Москве, потом был акробатом в цирке и даже уличным фокусником при старом шарманщике. Гражданская война пробудила в нем страстное желание покинуть свою неблагодарную работу и броситься в огонь кровавых событий. Он смутно понимал, что борьба русских крестьян и рабочих за советскую власть есть дело всех угнетенных, и стихийно потянулся к красным, под знамена свободы и революции.

По просьбе наших ребят полковник согласился устроить их вместе и взять под свое особое покровительство. Задорные юнцы сразу полюбились суровому воину, известному среди буденновцев под кличкой Деда. Особенно понравился ему Овод, подозрительно похожий на его красавца сына, сложившего голову в борьбе с белобандитами.

Все направились к хате, занимаемой полковником.

— Следуй за нами! — приказал Мишка Ю-ю. — Теперь ты будешь моим оруженосцем.

— Слюхай, капитана! — охотно отозвался Ю-ю, взяв под козырек.

Вскоре все четверо уже сидели за большим столом в хате полковника.

— Ну-с, хлопцы, что ж мы будем делать? — начал полковник, попыхивая трубкой и оглядывая своих гостей.

— Воевать! — решительно отрезал Мишка. — А пока не худо бы поесть досыта...

— Мы уже пять дней одними сухарями пробавлялись, — подтвердил и Овод, стараясь смягчить слишком прямой подход Мишки.

— Добре, хлопцы, добре, можно и поснидать.

На столе вскоре появился незатейливый солдатский ужин, который голодные ребята мигом уничтожили.

На первый случай судьба им улыбнулась и все устраивалось так, как мечталось. Было решено, что некоторое время они «попрактикуются» в военном деле, поучатся у опытных красноармейцев, как держать себя в бою, как ходить в разведку, ухаживать за конями и прочее.

На другой день ребятам уже выдали старенькое военное обмундирование и короткие драгунские винтовки. Правда, все это было немножко великовато и смешно топорщилось во все стороны, но юнцы сразу почувствовали себя настоящими боевыми буденновцами, готовыми идти в огонь и в воду. Теперь они были уверены, что обещание, данное отцу, будет скоро выполнено.

Оглядев себя в боевом наряде, Мишка уверенно сказал Оводу:

— Теперь берегись, Голубая Лисица, душу вытрясем! Во!..

— Не говори «гоп», пока не перескочишь! — охладил пыл Мишки более благоразумный Овод. Однако и он не мог предвидеть, какие трудности и беды ждут их на пути к заветной цели.

Так началась боевая жизнь юных фантазеров.

В суровой, полной опасностей и лишений обстановке время летело незаметно. Прошла неприятная, мокрая, с непролазной грязью осень 1919 года. Прошла и страшная зима с ее лютыми морозами и почти непрерывными боями против многочисленных полчищ белых, наседавших со всех сторон, проникших до Орла и Воронежа. Это были самые критические дни гражданской войны, когда Конная армия под командованием бывшего унтер-офицера Буденного разгромила два корпуса белых генералов Мамонтова и Шкуро, шесть лучших конных кубанских корпусов генерала Павлова, очистила от белых весь Дон, Кубань, Северный Кавказ, проделала воистину легендарный тысячеверстный переход до Киева, захваченного белополяками, а по пути беспощадно уничтожала бандитские шайки Махно и других «батьков».

Невозможно описать все героические подвиги Конной армии в эти памятные дни и нельзя представить себе те бедствия и трудности, которые пришлось ей пережить и преодолеть. Это не столько битвы с врагами, сколько голод и жуткие морозы, паразиты и болезни, невылазная грязь и бездорожье.

Все это видели и перенесли наши юные герои. Правда, они заметно похудели и загрубели, обтянулись их лица, руки стали корявыми и жесткими, но зато они закалились телом и духом, окрепли, возмужали. Теперь они поняли, что война — это не только славные подвиги, но и бесконечно трудное и страшное дело, требующее много сил, ума, железной стойкости и самоотверженной любви к своей Родине.

За эти дни все трое не раз участвовали в боях, ходили в разведку с опытными буденновцами, научились прекрасно владеть конями и ухаживать за ними. Их боевые успехи, выносливость и отвага поражали даже старых вояк. А полковник души в них не чаял и всякий раз, когда начинались бои, дрожал за жизнь ребят, словно это были его собственные дети.

Теперь Конная армия проходила по украинской земле, где бесчинствовали банды Махно, и в голове Мишки снова вспыхнула надежда разыскать и поймать Голубую Лисицу.

Однажды буденновцы заметили, что их любимая тройка куда-то скрылась. Проходили дни, а ребята не возвращались. В разведку, что ли, ушли?..

На вопросы любопытных полковник только покачивал головой да хитро ухмылялся:

— Откуда мне знать?

Куда ж, в самом деле, пропали молодые разведчики?

Над этим вопросом многие ломали головы, но так и не могли разгадать тайну.

ШПИОН

Темной ночью по глухим лесным тропам и дорогам двигались черные фигуры вооруженных всадников. Лишь изредка фыркали боевые кони да поскрипывали на ухабах плохо подмазанные тачанки, нагруженные оружием и съестными припасами. Видимо, чего-то опасаясь, люди говорили и даже пере-

ругивались вполголоса, сердито шикали друг на друга.

Отряд остановился в глубине леса и быстро раскинулся лагерем на большой круглой поляне, примыкавшей к обрывистому оврагу.

Вокруг, словно на страже, стояли могучие дубы. Посредине поляны возникла холщовая палатка для командира. Всадники спешились и расположились прямо на земле, под кустами и деревьями. Костров не зажигали.

У входа в палатку стояли двое с шашками наголо.

— Слышь, Перепечко, — полушепотом заговорил один, обращаясь к соседу, — сегодня наш батько зол, як черт.

— Будешь зол, коли половина войска зарублена красными, — отозвался Перепечко.

— Балакають, що у нас измена появилась, або шпиен якый.

— Мабуть, и так. Воны так швыдко налетали, шо сам батько еле ноги унис...

— Тсс! Вот он идет!..

Мимо часовых с толстым портфелем в руке быстрыми семенящими шажками прошел маленький человек в черной мохнатой папахе, надвинутой на лоб. Вслед за ним, согнувшись вдвое, полез в палатку длинноногий, как аист, бандит с цилиндром на голове.

Войдя в палатку, батька сердито швырнул портфель под ноги часовому, стоявшему около черного знамени:

— Стеречь, как маму! Иначе — душа вон, и баста!

Часовой ловко подхватил портфель, сунул его в железный сундук и снова вытянулся у знамени с шашкой на плече.

Бандит в измятом цилиндре проворно сел за походный стол и тотчас вынул карандаш и толстую записную книжку:

— Я слухаю, батько, диктуйте...

— Пшел к чертям! — огрызнулся батька, шагая взад и вперед по палатке с плетью в руке. — Ты, ско-

тина, мой адъютант и не видишь, что у тебя делается под носом.

— А что у меня там делается, батько? — испуганно спросил «адъютант», шмыгнув пальцем по верхней губе.

— А то, что в нашем войске засел шпион, сто чертив твоему батьку!..

— Шпион?! — всполошился адъютант. — Быть того не может! У нас хлопцы все на подбор...

— Цыть, когда я говорю! — прикрикнул Махно, бросая на стол скомканную бумажку. — Накануне разгрома у меня пропала важная депеша, а на ее месте я нашел вот эту чепуху.

Адъютант проворно развернул бумажку и прочитал вполголоса:

— «Берегись, коварная Лисица! Твой лохматый скальп скоро украсит вигвам Великого Вождя краснокожих воинов. Мы тебе покажем, как сёла жечь, бандитская морда! За красных дьяволят — Следопыт!» Что за дьявольщина такая! — развел руками адъютант. — Значит, за нами в самом деле кто-то следит и доносит красным о каждом движении. А ты уверен, батько, вон в том казачке, что охраняет нашу казну? — кивнув в сторону часового, прошептал адъютант на ухо атаману.

— Цыть, Голопуз! — оборвал его Махно. — Этот мальчишка — сын убитого красными старшины и предан нам, как собака...

— Молчу, молчу! — осекся Голопуз, захлопывая рот ладонью. — Я ж только соображаю...

Махно остановился посредине палатки и, по-наполеоновски сложив на груди руки, приказал:

— Пиши, адъютант!

Голопуз поспешно схватил карандаш.

— Слухаю, батько.

— «Атаману Черняку от батьки Махно братский привет, — начал диктовать злой атаман, ощупывая свои карманы. — Слухай, Черняк: живо собирай свое войско и ровно к пяти часам утра будь у Чертова дуба, да хорошенько сховайся. Ударим сразу с двух сторон!..» Однако где же его донесение? — вдруг

оборвал себя Махно, продолжая обшаривать карманы... — Ах, вот оно! Ишь ты, забыл, куда засунул.

Махно выхватил из заднего кармана брюк маленькую бумажку и вдруг побледнел, в ужасе выкатив глаза.

— Эт-то что такое?.. Эт-то ж не то?!.

Трясущимися руками он расправил бумажку и вполголоса прочитал:

— «Сегодня ночью атаман Черняк будет разбит красными. На днях получишь хорошую баню и ты, проклятая Лисица, не будь я Следопыт»... Опять он, сатана бесхвостый! — неистово заорал взбешенный бандит.— Шкуру спущу! Засеку насмерть, и баста!

И Махно так хватил плетью по столу, что Голопуз подскочил как ужаленный, выронив из рук карандаш и тетрадку.

— Как попала ко мне в карман эта пакость?! Я вас научу охранять своего атамана, прохвосты! Вон, глиста поганая!..

Голопуз ринулся к выходу. Махно толкнул его ногой в спину и сам выскочил из палатки.

Когда палатка опустела, казачок осторожно шагнул к выходу и, чуть-чуть приподняв уголок полотнища, выглянул наружу.

Вокруг было спокойно. Часовые стояли на месте.

Двигаясь, как тень, казачок вернулся к знамени, проворно открыл железный сундук и, вынув портфель Махно, сунул его в свою сумку:

— Теперь пора тикать. Кажется, этот длинный журавль пронюхал, чем я пахну.

Схватив бумажку, казачок быстро набросал записку: «До скорого свидания, грозный атаман. Как ни вертись, а от нас не уйдешь, грабитель. По поручению Следопыта — Овод-Мельниченко».

Заранее радуясь предстоящему бешенству бандита, Овод свернул записку треугольником и положил в железный сундук — пусть повеселится!

Костры давно уже погасли. Часовые сладко дремали. Весь лагерь спал крепким сном.

Бесшумно шагая между спящими бандитами, Овод благополучно пересек поляну и по узкой тропке направился в глубину леса. Здесь он без труда нашел тачанку атамана и, смело подойдя к караульному, сказал:

— Слушай, Сероштан, оседлай живее пару лучших коней: батька требует.

— Чего там седлать, — лениво отозвался казак, — два коня у нас всегда наготове, вон они под дубом стоят.

Бандит хорошо знал махновского казачка и, ничего не подозревая, неторопливо отвязал коней и передал их Оводу:

— Бери и тикай!

Овод мигом вскочил в седло, взял второго коня за повод и шагом поехал в сторону лагеря. Зная пароль, он без особого риска миновал последнюю стражу и вскоре исчез в лесной глуши...

Сероштан между тем возвратился к тачанке, раза два зевнул, позавидовал тем, кто спал, и предался воспоминаниям двухнедельной давности, когда в каком-то небольшом городишке местный фотограф, строгий старик с рыжей бородой, запечатлел на карточке его сероштановскую физиономию...

Но как Овод очутился в «казачках» у самого Махно — вот вопрос? К сожалению, сейчас уже нет времени для ответа. Оводу дорога каждая секунда. Его вот-вот могут хватиться и, конечно, пошлют погоню...

ПОГОНЯ

Проехав шагом около полуверсты и выбравшись на знакомую дорогу, Овод пустил коней крупной рысью. Вот уже близко опушка леса, меж деревьев просвечивает небо. Овод натянул поводья и, осмотревшись по сторонам, крикнул, подражая филину.

В ответ из лесной глуши зловеще закаркал ворон. Через минуту у самой морды лошади, словно из зем-

ли, вырос Следопыт, а за ним появился и Ю-ю с карабином в руках. При виде Овода он широко и радостно улыбнулся.

Лошади в испуге шарахнулись в сторону, едва не сбросив седока.

— Экий ты леший, как кошка ходишь, — рассмеялся Овод, бросая повод второй лошади Следопыту.— Принимай скорее, и марш!

— Что, погоня? — хладнокровно спросил Мишка, одним махом вскакивая в седло.

— Погони еще нет, но она будет. Голубая Лисица в таком бешенстве, что перебьет всю свою банду, если мы не будем пойманы.

— Тогда летим. Садись за мной, Ю-ю.

— Караша, капитана, — тихо отозвался Ю-ю, вскакивая на круп коня позади Мишки.

— За мной, — скомандовал Мишка, взмахнув плетью.

Горячие кони помчались по дороге, взметая вихри пыли.

Лес вскоре кончился. Впереди извилистой лентой тянулся сердитый Днепр.

Беглецы круто повернули вверх, по течению, к известному им броду. По расчетам Мишки, до него оставалось пять-шесть верст, не более. И если им удастся благополучно перебраться на ту сторону реки, дело будет выиграно, там уже недалеко до военной зоны красных.

Быстроногие махновские кони понравились Мишке, и он на скаку крикнул Оводу:

— Если увидишь Голубую Лисицу, передай ей спасибо за хороший подарок!

Овод рассмеялся:

— Я оставил ей благодарственную записку, будет довольна!

Над Днепром поднялась огромная багровая луна.

— Эка вынесло тебя не вовремя, — сердито проворчал Мишка, стегнув коня, — за десять верст заметят!

В ушах засвистел ветер, из-под копыт лихих коней посыпались искры. Но вскоре Мишка замедлил

бег и стал искать груду камней, обозначавшую брод.

Луна, как назло, спряталась за облако, и густая тьма сразу окутала реку.

Не заметив брода, ребята промчались еще с версту вдоль берега. Но вдруг Мишка так круто осадил лошадь, что она взвилась на дыбы, а Овод оказался на десяток шагов впереди.

— Что случилось? — тревожно спросил он, равняясь с Мишкой.

— Тихо! — Мишка прислушался. — Погоня!

А луна, словно издеваясь над ребятами, во всей красе снова выплыла из-за облака, заливая Днепр и все вокруг чудесным сиянием.

— Вон брод! — радостно вскрикнул Мишка, показывая на знакомую кучу камней, мимо которой они промчались в темноте. Но позади уже слышался топот многочисленных копыт, а через мгновение ребята увидели бешено мчавшийся отряд бандитов. Скакать дальше вдоль берега не имело смысла: рано или поздно нагонят. Единственный выход — первыми перейти брод и попытаться задержать погоню. Все это Мишка сообразил в одну секунду и отдал команду:

— Сыпь до брода!..

Беглецы вихрем помчались навстречу врагам и, круто повернув коней, ринулись в воду.

Заметив ребят, махновцы пронзительно взвизгнули и тоже устремились к броду. Однако беглецы уже были на том берегу.

Вылетев из воды на кручу, Мишка отчаянно свистнул и дал шпоры коню:

— Вперед, буденновцы!

Но в этот момент махновцы с седел дали залп по беглецам.

Обе лошади грохнулись на землю, отбросив в сторону своих седоков.

— Вот когда мы влопались! — сердито проворчал Мишка, вскакивая на ноги и хватаясь за маузер.

— Ну, нет, — возразил Овод, — мы еще посмотрим. Во всяком случае, махновские бумаги мы должны спасти во что бы то ни стало.

Во всем подражая Мишке, Ю-ю спокойно снял с плеч свой «карабай». Он редко принимал участие в обсуждении обстановки, но действовал всегда решительно и мужественно, точно выполняя любое приказание командира.

— Ложись — и за мной! — скомандовал Мишка, придумав какой-то маневр.

Он прополз шагов пятьдесят вдоль берега и залег за огромным камнем. Ю-ю и Овод последовали его примеру.

— Так как же быть с бумагами? — спросил Следопыт, лежа на животе и зорко наблюдая за противником.

Овод снял сумку с плеча и, передавая ее, Ю-ю, сказал:

— Эту сумку Ю-ю немедленно доставит нашим, а мы задержим бандитов у переправы.

— Да, ты прав, всем спастись не удастся, — тотчас согласился Следопыт. — Но не лучше ли тебе самому пойти с бумагами, а мы с Ю-ю дадим бой...

— Нет-нет! — решительно перебил Овод. — Ведь мы дали клятву не покидать друг друга в беде... а беда уже надвигается, — и он кивнул головой в сторону брода.

Махновцы заметили свалившихся коней, дали по ним еще три-четыре залпа и смело пустились в реку, идя по два в ряд.

Мишка пожал руку Овода и приказал Ю-ю немедленно отправляться в путь:

— Умри, но сумку доставь нашему полковнику или самому Буденному!

— Слюхай, капитана! — Ю-ю с некоторым колебанием взял таинственную сумку. Он понял, что ему велят оставить своих друзей в самый опасный момент, когда его «карабай» мог бы пригодиться. Но приказ есть приказ. Козырнув командиру и поклонившись Оводу, он молча перебросил сумку через плечо и быстро пополз прочь от берега.

Проводив Ю-ю теплым взглядом, Овод вздохнул:

— Какой он славный товарищ... Прощай, дорогой!..

— Ну-ну, — нахмурился Следопыт, — рано прощаться. Готовься к бою, видишь — идут!

Первая пара махновцев была уже на середине реки. Мишка насчитал шесть пар «с хвостиком», значит тринадцать здоровенных бандитов против двух буденновцев.

— Пора начинать музыку, — сказал Мишка, прицеливаясь, — надо снять первую пару: ты правого, я левого... Пли!..

Гулкий залп прокатился над рекой.

Оба махновца свалились в воду. Раздался крик. Бандиты сразу остановились, открыв беглый огонь по мертвым коням, за которыми, как им казалось, спрятались беглецы.

Маневр Мишки оказался удачным. В то время как махновцы один за другим падали с седел, ребята, невредимые, лежали за камнем.

Потеряв еще двух убитыми, бандиты в панике повернули обратно.

— Ослы! — заметил Мишка, выпуская им вслед одну пулю за другой. — Им надо было переть напролом, потерь было бы столько же, а нас бы, конечно, пристукнули.

— Не беспокойся, Мишук, мы, кажется, и так не уйдем: гляди-ка, что там творится.

На помощь бандитам примчался еще один отряд. Он сразу спешился и вместе с остатками первого отряда открыл по невидимым юнцам ожесточенную стрельбу, осыпая градом свинца большой отрезок берега. Пули запели и над камнем, скрывавшим ребят. Они не отвечали.

— Да, пожалуй, ты прав, — признался Мишка, — пешком нам не уйти: впереди — голая степь, а наши кони на том свете... А тут еще эта дурища светит во все лопатки!

Он сердито погрозил кулаком в небо, по которому величаво и медленно катилась луна.

Обстрел вскоре прекратился. Бандиты снова сели на коней и редкой цепью двинулись через переправу.

— Теперь они уже перейдут реку, как пить дать, — проговорил Мишка. — Ну, начинай, брат...

И буденновцы опять открыли огонь по бандитам. Однако те не остановились, а только пришпорили коней и вскоре выбрались на берег. Здесь они выхватили шашки и с диким воем устремились к трупам коней. Бандиты надеялись захватить там отчаянных юнцов.

— А ловко мы их надули! — засмеялся Мишка, словно не понимая опасности. — Кажется, штук семь отправили раков ловить.

Бандиты покружились вокруг мертвых коней, а потом рассыпались в разные стороны в поисках притаившихся ребят. Часть ринулась к камню.

Друзья поняли, что смерть или постыдный плен неизбежны. Овод порывисто поцеловал Мишку:

— Прощай, братишка мой, умрем вместе.

— Зачем умирать, мы еще подеремся, — ответил Мишка, закладывая последнюю обойму в маузер. — За советскую власть!.. За Ленина! Пли!

Двое бандитов, близко подскакавших к камню, слетели с седел. Испуганные кони шарахнулись прочь, волоча по камням своих хозяев.

Беглецы были открыты...

С торжествующим ревом махновцы, сверкая шашками, всей ордой двинулись на двух подростков.

Овод еще раз обнял своего храброго брата и приставил дуло маузера к сердцу.

— Прощай!

Все это произошло так быстро и неожиданно, что Следопыт успел лишь подхватить свою сестру на руки, уронив маузер. Разъяренная банда махновцев обрушилась на безоружных, нанося им удары, кто чем мог, сгоряча сшибая друг друга, задыхаясь от злобы...

— Стой, хлопцы! — спохватился командир отряда, вспомнив, что ему приказано поймать и доставить беглецов живьем.

С большим трудом ему удалось разогнать взбесившихся головорезов и прорваться к ребятам. Они

лежали неподвижно, как мертвые, залитые кровью, в растерзанных одеждах.

— Собакам собачья и смерть! — злобно проворчал рябой бандит. — Однако кто же из них шпион? Они оба так изувечены, что и разобрать трудно.

— Взять обоих! — приказал командир. — Но сначала отберите портфель с бумагами.

Бандиты осмотрели сумку Следопыта, со всех сторон ощупали Овода, но никаких бумаг не нашли.

— Бумаг нет.

— Как — нет? — растерянно пролепетал командир: — Ну, быть беде: батька всем нам шкуру спустит.

Рассыпавшись вдоль берега, махновцы осмотрели седла мертвых коней, каждый камень, каждый кустик, но бумаги исчезли.

Рябой бандит обмыл лица ребят водой и только тогда опознал Овода-Мельниченко. Командир велел везти его с особой осторожностью, на случай, если он окажется жив.

— А что делать с этим щенком? — спросил рябой, свирепо толкнув сапогом безжизненное тело Мишки. — Приколоть, что ли, на всякий случай?

— Взять и его в лагерь, а там разберемся.

И отряд махновцев отправился в обратный путь, захватив несчастных пленников.

Рябой грубо бросил Следопыта поперек седла и медленно двинулся вслед за бандой. Изредка поглядывая на бледное лицо юноши, он злобно ворчал:

— Я тебя довезу, гадюка!

Переехав брод, он незаметно отстал от отряда и, наконец, сбросив беспомощного Мишку на землю, раздел его догола:

— Я тебе покажу, красная собака, как махновцев бить!

С этими словами бандит схватил голого Мишку на руки и, раскачав, бросил с обрыва в кипящие буруны.

— Катись, дьяволенок!

И, словно желая проверить, куда упало тело, бандит нагнулся над обрывом и глянул вниз...

В то же мгновение какая-то черная фигура беззвучно выросла за его спиной. В воздухе сверкнул кинжал, и бандит с криком свалился в Днепр вслед за своей жертвой.

КТО СКОРЕЕ

Оставив своих друзей, Ю-ю торопливо полз к молодому дубку, одиноко стоявшему у проселочной дороги, в стороне от реки. На его спине болталась сумка с махновскими бумагами. Время от времени Ю-ю останавливался, осторожно приподнимал голову, оглядывался назад. Его мучило сознание, что пришлось покинуть товарищей в такую страшную минуту. А он так привязался к ним, что ради спасения отважного «капитана» и его удивительной сестренки готов был положить свою голову.

Да, Ю-ю случайно открыл их тайну и теперь смотрел на Дуняшу с глубочайшим уважением и восторгом. Однако китайчонок ни единым движением не выдавал своих чувств, оставаясь с виду все таким же невозмутимо спокойным и молчаливым. И вот он вынужден уходить, оставив на растерзание бандитам своих славных соратников.

— Никараша, капитана, никараша, — укоризненно шептал он, покачивая головой. — Зачем такое?.. Ой, никараша...

Добравшись до дубка, он прилег под ним и стал наблюдать за ходом боя. Он видел, как падали в воду махновцы и в какой панике они бросились обратно, к берегу.

— Маладца, капитана! — одобрил Ю-ю.

Но каков был его ужас, когда второй отряд, невзирая на меткие пули друзей, все-таки перебрался через реку и всей массой набросился на ребят.

Ю-ю вскочил на ноги и хотел уже бежать на помощь друзьям, но сумка с бумагами свалилась с плеча, напомнив о суровом приказе Следопыта — доставить ее во что бы то ни стало полковнику.

Ю-ю был в отчаянии. А когда на его глазах началось дикое избиение ребят, он в бессильном гневе разорвал свою гимнастерку и, потрясая карабином, кричал по адресу махновцев:

— Собака! Бандит! Мой карабай на твой башка стреляй будет!..

К счастью, за шумом свалки криков Ю-ю никто не слышал. Вскоре он увидел, как неподвижные тела его товарищей были брошены в седла и вся банда отправилась в обратный путь.

Ю-ю понял, что его верные друзья и защитники погибли. Сердце бедного юноши сжалось от тоски и горя. Захлебываясь от рыданий, он упал на траву и долго и горько жаловался кому-то на свою жестокую судьбу:

— Ай, капитана, мой карош капитана! — повторял он, катаясь по земле. — Пропал наш Овод!.. Совсем пропал!.. Зачем остался Ю-ю?

Ю-ю казалось, что вместе с друзьями погас последний луч, который так тепло согревал его душу. Но вдруг, пораженный какой-то новой мыслью, Ю-ю ударил себя ладонью по лбу и вскочил на ноги.

— Ай, никараша мой башка! — С этими словами он схватил свой карабин и бегом пустился к броду.

Пока командир был жив, Ю-ю считал невозможным нарушить его приказ, но теперь он убит и ему уже все равно, дойдет бумага немедленно или немножко попозже... А главное, надо узнать о дальнейшей судьбе товарищей, быть может, кто-нибудь жив еще, и тогда...

Рискуя каждую минуту сорваться в бурную пучину или попасться на глаза бандитам, Ю-ю с трудом перебрался через брод и издали последовал за отрядом. Вскоре он заметил, что один из махновцев почему-то задержался у обрыва и слез с коня. Ю-ю тоже остановился, спрятавшись за куст.

Бандит снял с седла безжизненное тело и, положив его на землю, присел на корточки. Ю-ю подполз ближе и осторожно приподнял голову. В предутренних сумерках он смутно видел, как бандит сорвал с человека одежду и, подняв обнаженное тело на

руки, подошел к самому краю обрыва. Вот он качнул его и бросил в Днепр. Ю-ю весь содрогнулся: ему показалось, что в воздухе промелькнула всклокоченная голова Мишки.

Выхватив кинжал, Ю-ю одним прыжком очутился за спиной бандита, а через мгновение тот уже летел вслед за своей жертвой, пораженный насмерть. Ю-ю глянул с обрыва. Внизу пенились и ревели волны, разбиваясь об отвесную скалу.

Ю-ю бегом спустился к берегу и, внимательно оглядывая каждый камень, пошел вдоль излучины вниз по течению. Здесь река, сделав крутой поворот, катилась спокойно. Поиски не дали результатов: на пути встречались только голые камни, окатанные водой. Ю-ю тяжело опустился на землю и, полный отчаяния, уставился неподвижным взглядом в темные воды Днепра.

Что делать?

Но вдруг ему почудилось, что кто-то тихо стонет вблизи. Он живо вскочил на ноги и осмотрелся по сторонам — никого нет... Через секунды стон повторился, казалось, он шел из самой глубины реки.

По спине суеверного Ю-ю пробежал холодок: уж не утопленник ли подает голос?

Преодолевая страх, Ю-ю подошел к самой воде и за большим серым камнем увидел чье-то голое тело, омываемое волнами. Мокрая голова лежала на мелкой гальке лицом вверх. До слуха онемевшего на месте Ю-ю донесся шепот:

— Овод... где Овод?..

Дрожа от волнения, Ю-ю бросился в воду, схватил Мишку на руки и, выйдя на берег, осторожно уложил его на песок.

— Мой тавалиса... мой капитана, — радостно лопотал он, насухо вытирая друга.

Мишка постепенно приходил в себя. Наконец он приподнял голову и мутными глазами уставился в лицо Ю-ю, видимо, не узнавая его:

— Где Овод?.. Где Дуняша? — еле слышно спросил он.

Ю-ю беспомощно развел руками:

— Моя не знай, капитана, бандит пришел, бандит взял...

Следопыт долго не мог понять, что с ним случилось, где он находится и почему он голый. Только острая боль в раненой ноге вдруг напомнила ему о расправе бандитов и самоубийстве Овода. Он вспомнил, как нежно обняла его Дуняша, прощаясь перед смертью, как она приставила дуло маузера к своей груди, но дальше все пропадало в тумане. Какой-то вой, крики, страшный удар в голову...

В первое мгновение ему захотелось плакать от сознания своего бессилия. Но мысль о том, что Овод захвачен в плен и, быть может, еще жив и ждет его помощи, заставила Мишку собрать последние силы. С трудом приподнявшись на локте, он стал расспрашивать Ю-ю о деталях боя и обо всем, что он видел.

Из короткого рассказа китайца Мишка узнал только, что их долго били, потом бросили на коней и увезли через Днепр, а жив ли Овод — неизвестно...

Глаза Следопыта вспыхнули гневом и жаждой борьбы. Надо не плакать, а действовать! Если Овод не умер, проклятый Махно предаст его таким пыткам, каких не выдержит даже взрослый человек, а ведь она еще девочка...

При помощи Ю-ю Следопыт поднялся на ноги, осмотрелся и тщательно ощупал свои ребра и голову — кажется, все цело.

— Вот идиоты! — заметил он. — Двадцать ослов не могли одного Мишку убить!.. — Обычный юмор возвращался к нему. — Вот только нога что-то того... Далеко не убежишь...

Жестоко помятая и покрытая ранами, правая нога Мишки опухла. Ю-ю тотчас разорвал свою рубашку и ловко перевязал ногу. Но при новой попытке двинуть раненой ногой, Следопыт побледнел и свалился на руки Ю-ю. Тот подхватил его и понес к оставленной бандитом лошади.

Придя в себя и увидев перед носом морду коня, Мишка изумился:

— А это что за привидение?

Ю-ю скупо рассказал о стычке.

— Молодец, Ю-ю! — похвалил Следопыт своего славного оруженосца.

Ю-ю счастливо улыбнулся и подал Мишке его одежду, сорванную бандитом. Мишка с удовольствием оделся. Но как быть дальше? Гнаться сейчас за Оводом — дело совершенно безнадежное, тем более что каждую минуту бандиты могли хватиться отставшего махновца и начать поиски. Идти пешком не давала больная нога...

Немного подумав, Следопыт решительно скомандовал:

— На коня!

Преодолевая мучительную боль, при помощи Ю-ю Следопыт взобрался на седло. Ю-ю уселся за его спиной.

— Ну, а теперь вперед! — приказал Мишка. — Загони коня, но доставь меня к нашему полковнику живым или мертвым. Если буду кричать, не обращай внимания. Только держи крепче и не давай падать.

— Есть, капитана! — Ю-ю понял, что от быстроты бега зависит жизнь несчастной Дуняшки, попавшей в руки свирепых бандитов. Он изо всей силы хлестнул и без того горячего коня плетью. Тот бешено рванулся вперед. Мишка скрипнул зубами от боли. И они лихим карьером понеслись вдоль Днепра в лесную глушь.

Далеко за Днепром вихрилась пыль. Словно стрела, выпущенная из лука, боевой конь летел навстречу ветру, раздувая ноздри. Левой рукой Ю-ю поддерживал Мишку, правой нахлестывал коня и пронзительно кричал на всю степь:

— Га-га-ааа!..

НЕЧИСТАЯ СИЛА

В то время как наши друзья мчались в лагерь Буденного, батько Махно нервно бегал по поляне. Он был взбешен до последней степени: какой-то молокосос так ловко водил за нос грозного атамана, что

его банда дважды подряд оказалась жестоко битой. Это ли не конфуз! На сей раз мнимый сын старшины Мельниченко захватил важную переписку Махно с атаманами других банд и план общего наступления на Екатеринослав. Если беглец не будет пойман и бумаги попадут к красным, провал этой кампании неизбежен.

Махно, как волк в клетке, носился взад и вперед, до крови кусая губы. Он ждал бумаг. Наконец до его слуха донесся топот коней.

— Скорей позвать есаула! — нетерпеливо крикнул Махно, хлестнув по цилиндру подвернувшегося адъютанта.

— Я здесь, батько!

И молодой командир отряда вытянулся перед Махно, взяв под козырек.

— Бумаги! Подай бумаги! — потребовал атаман, протягивая руку.

— Бумаг нет, — дрожа всем телом, ответил побелевший есаул.

— Что ты сказал? Не-е-ет?! — неистово заревел атаман. — Запорю насмерть! Семь шкур спущу, мерзавец!..

Вспыхнув от гнева и незаслуженной обиды, есаул дерзко ответил:

— Забываешься, батько! Я дворянин и не позволю орать на меня!

— Цыть, мальчишка! Взять его!..

На крик Махно явился мрачный одноглазый бандит с толстой плетью за поясом — палач банды.

Он мигом скрутил есаулу руки назад, и, как щенка, потащил в лес.

— Всыпать ему сто горячих! — крикнул вслед Махно.

Вскоре из леса послышались свист плетей, яростные проклятия и угрозы есаула.

Один из бандитов принес на руках окровавленного Овода и бросил его к ногам атамана, как победный трофей экспедиции.

При виде неподвижного тела мнимого Мельниченко Махно снова вспылил:

— Как, убит? Я ж приказал доставить живьем!

— Хиба ж я знаю? Може, сдох, а може, и живой, — спокойно возразил бандит, — я ж не дохтур...

— Та-а-ак, — зловеще протянул Махно, разглядывая бледное лицо Овода, — если этот змееныш окажется мертвым, половину вашего отряда вздерну на деревья.

— Та воны ж настоящие дьяволята, брясця их матэри! — оправдываясь, выругался бандит. — Двое щенят семерых казаков угробили та трех поранили.

Этот неожиданный сюрприз заставил Махно подскочить на месте и разразиться такой забористой бранью, что даже у видавших виды бандитов глаза полезли на лоб.

— А где же второй щенок? — спросил Махно, немного отдышавшись. — Ты говоришь, их было двое.

— Того Серощтан вез. Гей, Серощтан, тяни к батьке своего шибеника!

На крик никто не отозвался.

Каково же было изумление всей банды, когда стало известно, что и Серощтан и неизвестный соратник Мельниченко бесследно пропали.

— Вот нечистая сила! — в страхе ворчали суеверные махновцы, не зная, чем объяснить таинственное исчезновение. — Мабуть, то переворотень був якийсь, чи шо...

А Махно настолько растерялся, что велел немедленно связать и без того неподвижного Овода и под усиленной охраной отправить на новую стоянку. Хитрый бандит понял, что пропажа бумаг и неизвестного мальчишки может привести к неожиданному нападению, и решил тотчас переменить место.

Вскоре вся шайка мчалась по тайным тропам и дорогам в указанный атаманом район на новые грабежи и насилия над украинскими селянами, на новые диверсии в тылу Красной Армии.

тяжкое испытание

Овод очнулся в какой-то темной конуре. Снаружи слышался непонятный рокот. Открыв глаза и озирая мокрые, покрытые плесенью стены, он долго не мог сообразить, что с ним произошло. Но постепенно мысли Овода прояснились. Он понял, что каким-то чудом уцелел в страшной свалке у переправы и теперь, видно, находится в плену у лютого атамана: от него уж не будет пощады. Жалко, не удалось покончить с собой. В горячке боя он забыл вложить в револьвер новую обойму и упал не от собственной пули, а от удара бандита.

Овода охватила тревога за брата. Где он? Жив ли? Может быть, и он в плену? Тогда их обоих ждет лютая пытка и смерть на виселице.

Овод содрогнулся. Он хорошо понимал, что ему предстоят такие страшные муки, каких, быть может, не знал и действительный Овод, прекрасный образ которого встал теперь перед ним. Да, он постарается умереть так же мужественно, без слез и мольбы о пощаде. Ведь он умирает за советскую власть, за ту власть, которая принесет свободу и счастье всем беднякам его милой Родины... И Мишке и славному Ю-ю... Если они еще живы.

Вдруг огромная лягушка прыгнула на голые ноги Овода. Он испуганно метнулся в сторону, и пронзенный с головы до ног мучительной болью, снова потерял сознание.

Очнувшись, Овод снова не мог понять, что же еще случилось? Может быть, это сон? А может быть, это... свобода? Весь забинтованный и отмытый от крови, он лежал на чистой постели в белой уютной комнатке. Как вестник жизни и счастья, светлый луч утреннего солнца падал из маленького оконца на глиняный пол. Ну, конечно, это свобода. Он у своих.

Открылась дверь. В комнату вошла высокая стройная девушка и ласково склонилась над Оводом:

— Не хочешь ли пить, солдатик? — спросила она, подавая кружку с холодной водой.

Дрожащими губами Овод жадно припал к круж-

ке, чувствуя, как вместе с водой в его тело вливаются новые силы.

— Где я? — еле слышно спросил он, словно боясь спугнуть чудесное видение.

— Ты у друга, — так же тихо ответила девушка, глядя на Овода теплыми карими глазами. — Но дальше не спрашивай: я не в силах помочь тебе...

Только теперь Овод услышал уже знакомый ему странный рокот за окном: значит, он находится в том же месте и в тех же руках.

Вдруг дверь с шумом распахнулась, и на пороге появился Махно в сопровождении одноглазого бандита. Злой, тусклый глаз палача заставил Овода содрогнуться: он вдруг ясно понял, что его раны перевязаны лишь для того, чтобы возвратить его к жизни на новые муки, а может быть, и на смерть.

— Прошу оставить нас, красавица.

Вежливо поклонившись, девушка молча вышла.

Атаман сел на широкую дубовую скамью около Овода и молча оглядел его с головы до пят: так смотрит сытый кот на пойманную мышь.

Сняв с плеча кожаную сумку, одноглазый бросил ее в угол и молча встал у двери.

В сумке что-то зазвенело...

— Итак, — зловеще спокойным тоном начал Махно, — с кем я имею удовольствие разговаривать? Надо полагать, не с Мельниченко?

— Нет, я дочь бедняка-крестьянина из села Яблонного, которое сожгла ваша банда, — просто ответила самоотверженная девушка, решив выдержать испытание до конца.

Махно, словно ужаленный, вскочил на ноги:

— Как?! Ты... ты... девчонка?! И ты осмелилась проникнуть в мой штаб? А знаешь ли ты, что ждет тебя за шпионаж?

— Пытка и смерть, — спокойно ответила Дуняша.

— Ты не ошиблась, гадюка. У нашего одноглазого дьявола давно уже не было работы.

Дуняша невольно глянула на палача. Отвратительно ухмыляясь, он сидел на корточках и корявыми, как клешни, руками рылся в кожаной сумке.

Его сверлящий глаз тускло поблескивал. У Дуняши упало сердце. Но она тотчас взяла себя в руки и отвернулась к стене.

— Ну, так вот что, подлая девчонка, — снова заговорил Махно, хватая Овода за волосы и поворачивая лицом к себе. — Если ты хочешь быть повешенной сразу без особых хлопот и неприятностей, сейчас же сообщи нам, куда делись украденные тобой бумаги и тот мальчишка, который был вместе с тобой.

— Как?! — вскричала девушка. — Следопыт бежал?!

Девушка ликовала: Мишка жив, на свободе!.. Теперь она готова на любые муки...

Услышав ненавистное имя Следопыта, Махно понял, что его бандиты упустили самого главного и неуловимого врага шайки. Он задрожал от ярости:

— Отвечай, звереныш, иначе из твоей спины вырежут кожу для моих сапог!

— Да что ж тут отвечать! — воскликнула девушка. — Ваши бумаги в надежных руках, а где теперь Следопыт, спроси у ветра в поле...

Лицо Махно позеленело.

— А... ты еще смеешься, змея! Эй, кривой черт, поучи-ка ее, как надо отвечать атаману... Только смотри не зарежь насмерть, а то сам угодишь в Черную балку.

— Слухаю, батько. Я буду дергать по ниточке, так что не умрет даже муха, а толк будет...

Привычным движением палач подхватил Дуняшу на руки и, положив на скамью, захлестнул широкими ремнями. Потом не торопясь вынул из роковой сумки острый блестящий клинок странно изогнутой формы.

— От этой штуки и не такие щенки выли, — ворчал палач, хватая девушку за кисть руки.

Дуняша закрыла глаза...

Махно грузно отошел к окну и закурил папиросу. Жадно затягиваясь и выпуская изо рта кольца дыма, он следил за каждым движением крабьих рук палача. Тяжкие муки беззащитной жертвы, видимо, доставля-

ли ему наслаждение. Его серое лицо подергивалось судорогой, на тонких губах застыла кривая усмешка.

Время шло. Пытка продолжалась. Палач глухо ворчал, изрыгая проклятия. Но ни единого звука, ни слова мольбы о пощаде не услышал Махно от юной героини. Только побелевшее лицо ее покрылось холодным потом да искусанные губы залились кровью...

— Довольно! — прохрипел пораженный стойкостью девушки Махно. — Пшел вон!

Он боялся, что Дуняша умрет, не открыв своей тайны.

Ворча, как побитый пес, одноглазый отошел.

Дуняша очнулась и, тяжело вздохнув, застонала от невыносимой боли...

Махно довольно улыбнулся:

— Ну что, красный дьяволенок, будешь отвечать батьке Махно?

— Буду, — еле слышно ответила девушка.

— Вот и добре, — похвалил бандит, присаживаясь поближе к изголовью. — Если ты честно ответишь на мои вопросы и расскажешь, где теперь находится штаб Буденного, ты будешь помилована. Катись ко всем чертям... и баста!..

Дуняша с трудом повернула голову, тяжело глянула в испитое лицо мучителя и твердо сказала:

— Убей меня, но своих братьев я не выдам, бандит!

В то же мгновение над головой Дуняши сверкнула шашка взбешенного Махно.

— Стойте! Стойте! — раздался вдруг испуганный крик, и девушка, которая поила Овода, бросилась в ноги Махно: — Пощадите! Пощадите его, милый атаман, — умоляла она, хватая за руки обезумевшего от ярости бандита.

Описав над Дуняшей кривую, шашка медленно опустилась и ткнулась концом в пол.

Мрачное лицо Махно прояснилось. Он торопливо поднял девушку за плечи и, заглянув ей в глаза, сказал:

— Хорошо, моя красавица. Ты дашь мне выкуп, и я помилую эту дерзкую девчонку...

— Что вы сказали? Это девчонка?! — гневно сверкнув глазами, воскликнула незнакомка. — Неужто грозный атаман воюет с такими младенцами?!

Махно снова потемнел:

— Я уже сказал, что дарую ей милость: она будет просто повешена, как военный шпион... и баста! — Он сделал знак палачу. — На Черную балку!

— О, какой же ты зверь! — простонала незнакомка, загораживая Дуняшу. — Нет-нет! Я не дам ее!..

— Не плачь, сестра, — с глубоким чувством сказала Дуняша, — мне смерть не страшна. Я умираю за святое дело. Прощай!

Странная девушка прильнула губами к тонкой бессильной руке Дуняши, залилась слезами.

Палач грубо оттолкнул ее, схватил пленницу на руки и понес из комнаты...

Дверь за ними захлопнулась, как крышка гроба.

в черной балке

Теплый летний день тихо угасал. Ветерок приносил из степи крепкий аромат трав. Невозмутимый покой царил над миром.

Но люди-звери продолжали творить свое злое дело. На дне глубокого темного оврага, именуемого Черной балкой, под корявым сучком обожженного молнией дуба лежал бедный Овод. Из мрачной глубины балки он видел только кусочек угасающего неба, и его душа тоскливо тянулась вверх, в эту синюю даль, полную красоты.

И впервые за всю свою боевую жизнь стойкий и крепкий Овод почувствовал себя маленькой, беззащитной девочкой, попавшей в неумолимое колесо кровавой войны, и вот теперь, сию минуту она будет безжалостно раздавлена вдали от родных мест, на дне черной ямы. А ведь она желала народу добра и счастья. Она мечтала о том, чтобы знамя Советов засияло над миром, возвещая всем угнетенным зарю

свободы и братства... Как чудесно заживут бедняки, когда придет этот желанный час!

И, забыв на мгновение о неотвратимой казни, Дуняша счастливо улыбнулась, опять вспомнила милого своего Мишку и верного друга Ю-ю с его неразлучным «карабаем». Вспомнила и живо представила себе их безутешное горе, когда дойдет до них весть о ее смерти. А что будет с доброй их матерью, которая ждет не дождется своих дорогих птенцов?!.

И тяжкие слезы сами собой покатились по исхудавшим щекам больной девушки. Ей так страстно хотелось жить.

— Ну, пора, — словно сквозь сон, услышала она пропитой голос, — надо спешить...

И огромная туша склонилась к распростертой на земле Дуняше. Одноглазый палач продел ее голову в веревочную петлю. Потом она увидела, как конец веревки перекинули через сук. Могучий отросток дуба был заметно потерт посредине.

«Знать, не меня одну вешали здесь проклятые бандиты», — гневно подумала она, машинально поправляя петлю, съехавшую на подбородок. И только теперь Дуняша остро почувствовала, что ее минуты сочтены, что она никогда больше не увидит ни знойного летнего солнца, ни голубого неба, ни пестрых пахучих цветов, ни верных друзей. Ее сердце сжалось предсмертной тоской и сознанием полного бессилия.

Никакой надежды на спасение не было. Помощник палача — плюгавый, низкорослый бандит, — лениво переваливаясь с ноги на ногу, уже подходил к своей жертве... А через минуту мертвое тело будет одиноко качаться над этой ужасной ямой, слетятся хищные птицы и...

«Кррр! Кррр!» — донеслось до ее слуха зловещее карканье ворона.

Услышав знакомый сигнал, девушка встрепенулась и, как эхо, отозвалась криком филина.

Палач отпрянул.

— Что это? С ума, что ль, она спятила?..

— Мабуть, и так, — спокойно отозвался помощ-

ник, поднимая руку, чтобы достать конец веревки, перекинутой через сук.

Дуняша подняла голову и глянула в направлении звука. Но вокруг никого не было, только на противоположной стороне оврага что-то серое шмыгнуло в кустах, слегка шелохнув ветку.

«Что ж это? Неужто вороны уже слетаются к оврагу в предчувствии легкой добычи?» — тоскливо подумала Дуняша, вновь поднимая глаза к небу, где уже загорались бледные звезды.

— Прощайте, звезды! — тихо прошептала Дуняша. — Приласкайте за меня рыжего Мишку, поцелуйте Ю-ю...

— Та ну же, тягни! — сердито крикнул палач. — Какого дьявола канителишься, каракатица!

Помощник лениво подпрыгнул, но конец веревки повис так высоко, что он коснулся его только концом пальца.

— А, будь ты проклята, змеюка! С этим чертенком и перед смертью морока...

Он подпрыгнул еще раз:

— Ну, вот и готово!..

Веревка стала натягиваться...

Дуняша в ужасе закрыла глаза. Крик ворона повторился. Дуняша, собрав все силы, резким движением сбросила с головы петлю.

От неожиданности потянувший за веревку подручный палача потерял равновесие и свалился.

В то же мгновение в вечернем воздухе прокатился залп из двух карабинов, и оба злодея, пронзенные пулями, завертелись ужами в предсмертной агонии.

Не успела Дуняша прийти в себя, как кто-то уже крепко обнимал ее и покрывал лицо поцелуями.

— Дуняша, милая Дуняша!.. Жива!.. Да очнись же, это я, Мишка!..

Девушка обвила руками кудлатую голову брата. Она еще не верила своим глазам.

Но кривой палач лежал неподвижно под дубком. Его подручного Ю-ю проворно сваливал в ту самую яму, которая была приготовлена для Дуняши.

Поняв, наконец, что она спасена, Дуняша приль-

нула головой к широкой груди Следопыта и залилась горячими радостными слезами.

Когда улегся первый порыв, она позвала к себе верного соратника Ю-ю и крепко расцеловала его, благодаря за спасение и помощь.

Растроганный Ю-ю, не знавший никогда ласки, встал на колени перед лежавшей девушкой и, сложив на груди руки, молча поклонился ей до земли. В эту минуту он готов был ради нее отдать себя на растерзание, пойти на самую лютую казнь. Но бедный язык Ю-ю ничего не мог выразить, и только черные блестящие глаза его подернулись влагой и какой-то комок подкатил к горлу. Он быстро поднялся и, схватив труп палача за ноги, поволок его к яме...

— Брось эту погань! — сердито буркнул Мишка. — Пусть их вороны хоронят. Нам пора в путь!..

— Да-да! — подхватила Дуняша. — Возьмите меня скорее отсюда, а то бандиты могут хватиться!..

Мишка лукаво улыбнулся и, посмотрев на часы, сказал:

— Не бойся, Овод, через полчаса здесь заварится такая каша, что им будет не до нас.

— Что за каша?

— Да ничего особенного, я привел с собой десятка три добровольцев, которые согласились потрепать махновскую шайку... А теперь марш-марш в дорогу!

— Но как вы меня возьмете, ведь я еще не могу ходить!

— Не беспокойся, это уже наше дело. Ну что, Ю-ю, готово?

— Есть, капитана! — отозвался Ю-ю, подавая носилки, сделанные им из ветвей того дуба, на котором махновские бандиты хотели повесить Овода.

Осторожно уложив больную, наши герои медленно пошли по дну оврага, прочь от страшного места.

На этот раз ночь им благоприятствовала: небо сердито хмурилось, угрожая дождем.

Овраг кончился.

Следопыт тихонько свистнул. Из-за темной купы

ближайших деревьев появился буденновец с винтовкой в руках:

— Несете, хлопцы?

— Несем.

— Жив ли?

— Жив.

— Вот будет рад наш Дед! Давай скорей на тачанку.

Красноармеец подошел к носилкам, радостно поздоровался с Оводом и вместе с Ю-ю понес Дуняшу к тачанке.

— Сено положено? — спросил Следопыт.

— Целый ворох.

— Тогда едем!

Овод и Мишка, у которого еще побаливала нога, устроился на тачанке, а неутомимый Ю-ю и боец, взяв винтовки на ремень, пошли следом.

Проехав верст семь-восемь по глухим местам, они услышали позади себя отчаянную ружейную трескотню.

— Ну, началась потеха! — радостно потирая руки, воскликнул Мишка. — Дальше мы можем ехать спокойно. Голубая Лисица решит, что она попала в капкан, и даст тягу к старому лесу, где им знакома каждая тропинка.

И действительно, вскоре перестрелка стала затихать, удаляясь, а затем и совсем прекратилась.

Дорогой Мишка подробно рассказывал Оводу, как он с помощью Ю-ю вырвался из лап бандитов, как они мчались в полк Деда, как проследили потом шайку Махно и разыскали, наконец, Черную балку...

В свою очередь, Овод поделился с братом своими переживаниями, особенно подробно рассказав о странной девушке, осмелившейся заступиться за него перед зверем Махно.

— А где это было? — заинтересовался Следопыт.

— На водяной мельнице. Я узнала об этом, когда палач вынес меня из комнаты.

Следопыт в раздумье почесал затылок:

— Так ты говоришь, девушка назвала себя твоим другом?

— Назвала...
— А Махно обругала зверем?
— Зверем.
— И тот не убил ее?
— Нет, даже назвал ее милой красавицей.
— Гм... странная штука. Тут что-то есть этакое, — нахмурив лоб, изрек Мишка. — А девка все-таки молодчага. И смазливая, говоришь?..
— Как в сказке, — улыбаясь, ответил Овод.
— Ишь ты...

Путники незаметно продвигались вперед и к восходу солнца уже нагнали свой полк.

Трудно себе представить радость и удивление старого полковника и буденновцев, когда они услыхали о возвращении уже похороненного всеми Овода. Узнав подробности о пытке и геройском поведении Овода, его пришел навестить сам Буденный. А вскоре он послал рапорт высшему командованию с просьбой о награждении орденами наших героев.

На другой день Конная армия Буденного всесокрушающей силой двинулась вперед, очищая от врагов советскую землю. К великому огорчению Деда, Овод был еще так слаб, что его пришлось оставить в ближайшем госпитале, а вместе с ним остались, конечно, и его друзья — Следопыт и Ю-ю.

Расставаясь с ребятами, старый полковник обнял и расцеловал каждого по очереди.

— Берегите себя, хлопцы, — наказывал он, моргая покрасневшими глазами, — зря на рожон не лезьте и бейте беляков с умом. Я вас в партизанский отряд сдам. Нас уж вы не догоните...

Любимый буденновский полк ушел вместе с армией, ушел и Дед...

И опять трое юных бойцов-разведчиков закружились в кипящем котле кровавой войны.

А пока три друга ищут свое место в строю, расскажем читателям, как Овод попал в штаб Махно.

Во время одной из стычек буденновцев с махновскими бандитами Овод заметил на поле боя тяжело раненного деревенского парня: он горько плакал над трупом старого бандита. Парень был без оружия,

в крестьянской одежде. На вид он казался не старше Овода. Из допроса в штабе полка выяснилось, что это сын убитого старшины Мельниченко, верного друга и соратника Махно. Он возглавлял одну из его шаек, которая и была уничтожена буденновцами. Уцелел только этот парень. По его словам, отец впервые взял его с собой, с тем чтобы передать самому Махно в качестве ординарца. По документам и письмам, найденным в кармане старого Мельниченко, рассказ парня подтвердился.

Такой случай Овод решил немедленно использовать и, посоветовавшись с друзьями, составил план действий: нарядившись в одежду пленного парня, с документами отца явиться к Махно под именем сына убитого старшины, втереться к нему в доверие и остаться при штабе. Мишка и Ю-ю будут держать связь с полком и доставлять добытые сведения.

С некоторым сомнением и неохотой полковник одобрил план красных дьяволят.

Вскоре наши разведчики проследили банду Махно. Переодетый Овод, «весь в слезах» и проклиная красных, явился к атаману. Он просил принять его в банду, чтобы отомстить буденновцам за смерть отца.

Весть о разгроме шайки Мельниченко разъярила Махно, но просьбу его «сына» он решил удовлетворить, а в знак согласия ожег его плетью и приказал зачислить казачком при своей особе.

Скрипнув зубами, Овод стерпел «ласку» бандита и поклялся отплатить ему сторицей. А как он выполнил свою клятву, читатель уже знает.

таинственный автомобиль

Через десять дней после описанных событий, глубокой ночью по дороге из города выехал большой красный автомобиль. Он был изрешечен пулями, осколками снарядов, но летел, как буря, поднимая облака пыли и наполняя безбрежную степь тревож-

ным гулом. Вслед за ним мчался отряд вооружённых всадников.

В автомобиле сидели трое военных в кожаных куртках. Один из них, отличавшийся низким ростом и широкими плечами, поместился на откидной скамеечке, держа наготове маузер и зорко вглядываясь в темноту ночи. Двое за его спиной тихо переговаривались между собой:

— Признаться, я очень опасаюсь засады.

— Да. Я тоже думаю, что надо быть начеку...

— В самом деле: никому не известный бандит вызывает на свидание командира красных партизан, обещая помощь против Махно. Согласитесь, что все это очень странно и пахнет провокацией.

— На всякий случай за нами следует полуэскадрон надежных рубак...

— Это, конечно, хорошо. Впрочем, неожиданного нападения я не боюсь: с нами едет такой разведчик, о котором говорят, что он чует махновца за сто верст...

Путники смолкли. И только глухой рокот мотора да отдаленный гул лошадиных копыт нарушали тишину ночи.

Вдали показались черные контуры леса. Автомобиль спустился в ложбинку.

— Стойте, — сказал низкорослый военный, приподнимаясь с сиденья.

Автомобиль остановился.

— Что случилось, товарищ?

— Надо прощупать овраг перед опушкой. Ждите сигнала: если завоет волк, немедленно мчитесь обратно и верните отряд, а если все будет благополучно, я дам знать лично...

Говоривший бесшумно выскочил из автомобиля и сразу исчез, словно нырнул в черную воду.

— Вот дьяволенок! — воскликнул один из оставшихся военных. — Пропал, как кузнечик в траве...

— Я даже не успел заметить, в какую сторону этот парень направился...

— Недаром он носит кличку Следопыта...

— Говорят, у него есть сотрудники, и такие же ловкие, как он.

— Да. И я очень доволен, что согласился принять их в наш полк. Эти отчаянные ребята так ненавидят Махно, что готовы искать его хоть на дне моря.

Беседа была прервана прибытием конного отряда.

— Приготовьтесь к бою и стойте в этой ложбине, — приказал командир красных партизан, выходя из машины.

Прошло еще минут сорок в напряженном ожидании.

— Все в порядке! — сообщил Следопыт, бесшумно вырастая за спиной командира, вздрогнувшего от неожиданности. — Садись, ребята!

Наши друзья — Овод и Ю-ю — вскочили вслед за Мишкой в машину.

— Вот так штука! — удивился командир. — Да вы же настоящие невидимки!

— Вперед!

Оставив конных в засаде, автомобиль помчался к опушке леса. Из оврага навстречу им, держа руку на эфесе шашки, вышел человек в полувоенной одежде.

— Это он, — шепнул Следопыт на ухо командиру.

Автомобиль остановился. Нащупав пистолет, командир выскочил из машины и пошел к человеку.

— Я весь к вашим услугам, командир. Если угодно, я бы мог...

— Вы меня извините, — перебил командир партизан, — но вашему слову мы не можем довериться без достаточных оснований. Согласитесь сами, что есаулы не так часто изменяют своим атаманам...

— Вы правы, конечно, но, к сожалению, никаких доказательств сейчас я не могу представить вам: вы можете проверить меня только на деле.

— Каким образом?..

— Я могу хоть сейчас дать вам самые точные сведения о предстоящих операциях шайки Махно, и вы можете разгромить ее в любое время. Меня же оставьте в качестве заложника, а в случае предательства расстреляйте, вот и все...

— Хорошо, — согласился, наконец, осторожный командир. — Вы можете сейчас поехать со мной в город?

— Нет, этого не следует делать. Завтра утром я должен быть у Махно на приеме и освобожусь лишь часам к десяти.

— В таком случае я жду вас завтра к двенадцати часам дня.

Условившись о месте встречи, они быстро разошлись.

Усаживаясь в автомобиль, командир вдруг заметил отсутствие Следопыта:

— А куда делся ваш старший?

— Пошел проследить есаула, — ответил Овод, вместе с Ю-ю вылезая из машины, — а кстати, проведать что-нибудь о расположении банды.

— Как? Он опять полез в пасть Махно? — удивился командир. Овод улыбнулся.

— Не беспокойтесь, товарищ командир. Следопыта не так-то легко скушать.

— А вы едете с нами?

— Никак нет. Мы с Ю-ю подождем его здесь, а завтра вечером, когда ваш полк двинется против Махно, мы будем на месте...

— Почему вы думаете, что мы выступим именно завтра? — спросил командир, не зная, чем объяснить уверенность Овода.

— А потому, что завтра шайка попытается разгромить продовольственную базу Красной Армии в Н-ском, и вы сделаете большую оплошность, если не предотвратите удара.

— Соображение верное, — согласился командир, — однако зачем нам связываться с этим подозрительным есаулом, если вы сами так хорошо осведомлены о замыслах шайки?

— Он может сообщить ценные подробности, нам еще не известные... Ну, мы уходим, товарищ командир. До свидания!.. За мною, Ю-ю!

— Есть, товалиса!

Ребята исчезли.

В сопровождении конного отряда красный автомобиль помчался обратно. Надо было немедленно готовить генеральный бой с многочисленной бандой Махно.

В партизанский отряд знаменитого командира Николая Цибули ребята попали без особых затруднений. Как только Овод вышел из госпиталя, их приняли с большой охотой, ибо слава о подвигах тройки дьяволят уже вышла за пределы буденновской армии. А рекомендации старого полковника еще выше подняли авторитет юных разведчиков. Они были счастливы, когда узнали, что полк Цибули получил приказ от высшего командования разгромить шайку Махно. Втайне надеясь поймать самого атамана и свести с ним свои счеты, ребята принимали горячее участие в розысках шайки и подготовке к решающему бою.

В ожидании Следопыта Ю-ю и Овод просидели в овраге до самого утра. Их начала уже одолевать тревога. Но карканье ворона, раздавшееся поблизости, возвестило о благополучном возвращении Мишки.

По установившейся традиции ребята ничем не обнаружили своих опасений и любопытства. Усевшись на траве по обеим сторонам Следопыта, они разложили перед ним немудреную закуску. Покончив с едой, Следопыт рассказал друзьям о результатах своей экспедиции в лагерь Махно. Есаул действительно вернулся в шайку, которая расположилась за лесным массивом, в большом селении. По некоторым признакам и по подслушанным разговорам Следопыт вывел заключение, что в банде назревает раскол. Часть махновских соратников была недовольна чересчур «самодержавным» поведением Махно, который расправлялся с ними как хотел по любому поводу, нередко засекая насмерть наиболее строптивых. Недовольны были бандиты и несправедливым распределением награбленного добра. Но наибольшее раздражение вызвали последние неудачи шайки и явная бесплодность всех попыток подорвать советскую власть на Украине. Часть молодых махновцев

поговаривала даже о переходе на сторону красных. Расправа с есаулом подлила масла в огонь.

— Мне кажется, что при первой же серьезной стычке с красными часть банды покинет Махно, — заметил Следопыт, кончая рассказ. — Особенно если увидит в наших рядах есаула...

С этими словами разведчик растянулся под деревом, решив передохнуть до восхода солнца.

— А Голубую Лисицу я все-таки высеку, — пробормотал он, уже засыпая.

Овод прилег рядом с Мишкой, а Ю-ю, как обычно, поджал под себя ноги и уселся у изголовья своих друзей с «карабаем» наготове. Он ни на минуту не смыкал глаз. Его взгляд подолгу останавливался на спокойном лице Дуняши. Острые глаза Ю-ю теплели, губы расплывались в счастливую улыбку. Он еще не отдавал себе отчета в том, как горячо и чисто любил эту девушку. Но если спросить его, что есть в мире самого дорогого и прекрасного, он назвал бы Дуняшу.

РАЗГРОМ

Под вечер следующего дня конный отряд красных партизан Цибули в полном вооружении с двумя батареями полевых пушек вышел из города и быстрым маршем направился к местечку вблизи продовольственной базы.

Наши разведчики давно уже были на месте предстоящего сражения и нетерпеливо ждали прибытия полка партизан.

Обычно спокойный и сдержанный, Следопыт на этот раз нервничал. Сегодня он надеялся встретиться с Голубой Лисицей лицом к лицу и рассчитаться с ним за отца и брата, за сожженную деревню, за грабежи и убийства. Он то и дело осматривал своего боевого коня, проверял маузер и небольшую, но острую, как бритва, шашку. Рядом с ним в полной боевой готовности крепко сидел в седле невозму-

тимый Ю-ю. Он держал наготове свой «карабай». Овода Мишка отослал в санитарный отряд полка.

Наконец долгожданный час настал.

В сумерки партизаны прибыли на место и расположились вдоль опушки леса, укрываясь в тени деревьев.

В эту ночь Махно решил неожиданным наскоком ударить на Н-скую базу, разгромить ее и взорвать ближайший мост через реку. Это нарушило бы связь тыла с действующими против Врангеля частями Красной Армии. Он хорошо знал, что крупных воинских соединений поблизости не было и, следовательно, подмоги база вовремя не получит. Хитрый бандит действовал наверняка, заранее торжествуя победу.

Предупредив базу о грозящей опасности, командир партизан Цибуля решил укрыть свой отряд в ближайшем перелеске и в конном строю ударить в тыл махновцам.

После полуночи взволнованный Следопыт донес Цибуле, что банда Махно численностью примерно в восемьсот сабель выступила из дубовой рощи. Она шла налегке, без пулеметов и пушек, не ожидая большого сопротивления.

Цибуля задумался:

— Так, та-ааак... У них восемьсот, у нас триста, да пулеметы, да пушечки, да удар в затылок... Как думаешь, Иван, побьем ворога?

— Побьем так, что пух и перья полетят! — отозвался могучий всадник, выдвигаясь вперед.

Следопыт оглянулся на знакомый голос и обмер на месте:

— Батька!

Иван рванулся к Следопыту, едва не опрокинув командира:

— Мишка! Сынок!..

И помощник командира, не сходя с седла, обнял знаменитого разведчика — Следопыта. Но радоваться свиданию было некогда.

— По ко-ооня-аам! — разнеслась команда.

Через минуту весь отряд стоял в напряженном ожидании, готовый по первому сигналу двинуться на врага.

Мимо опушки промчалась батарея, потом все стихло, словно вокруг было мертвое поле.

Отец и сын встали рядом.

— Ты, сынок, держись за мной с левой руки и не отставай, — предупредил Иван, в глубине души боявшийся за жизнь Мишки. Он понимал, что бой предстоит нешуточный.

Мишка задорно тряхнул головой:

— Не бойсь, батька, мы тоже не лыком шиты!.. А ты, друг Ю-ю, держись слева от меня да гляди, чтобы я тебя не зашиб ненароком...

— Слюхай, капитана! — живо отозвался Ю-ю, тотчас выполняя приказание Следопыта.

Тяжелый луч сотен лошадиных копыт и звериный рев бандитов разорвали тишину. Выскочив из леса, шайка ураганом неслась по широкому полю прямо на базу. Махновцы были уверены, что захваченная врасплох охрана базы будет смята одним ударом, а там — разгром и богатая пожива...

Но вскоре сгоравшие от нетерпения партизаны услышали дружный залп из винтовок, треск пулеметов и беглый огонь орудий, бивших навстречу банде прямой наводкой.

Встречный огневой удар оказался таким сокрушительным, что первые ряды нападающих — и кони и всадники — пали, как сраженные молнией, загородив путь задним. Грозный вой махновцев перешел в неистовые вопли, в стоны и проклятия.

Нетерпение Мишки и всех партизан, притаившихся в засаде, достигло высшего напряжения.

Вдруг над лесом с треском разорвалась красная ракета. Канонада сразу замолкла, будто кто-то незримый одним махом заткнул огненные глотки пушек, пулеметов и ружей.

— Карьером марш, ма-а-арш! — скомандовал Цибуля, подняв шашку над головой...

И во фланг отступающей орде махновцев, уже расстроенной метким огнем, ринулись партизаны.

Их удар был так внезапен и страшен, что шайка Махно мгновенно оказалась смятой и, завывая от ужаса, бросилась врассыпную.

В предрассветном сумраке, словно зарницы, сверкали сотни сабель, сыпались удары, падали сраженные люди, дико ржали, вздымаясь на дыбы, озверевшие кони, трещали выстрелы.

Впереди всех, рассыпая удары направо и налево, мчались трое — отец с сыном и Ю-ю. Они искали Махно.

В горячке боя Ю-ю в первые же минуты оторвался от своего «капитана» и дрался в одиночку, действуя своим «карабаем», как палицей.

— Вот он! — крикнул вдруг Иван и, пришпорив коня, помчался наперерез большой группе, скакавшей к лесу.

Мишка взвизгнул и врезался в самую гущу бандитов, сшибая их грудью своего скакуна. Кольцо бандитов дрогнуло, на мгновение расступилось и пропустило Ивана и Мишку.

— Вот где ты, собака! — крикнул Иван, взмахнув шашкой над головой скакавшего Махно. Но в то же мгновение сбоку налетел всадник, и рука Ивана вместе с шашкой покатилась на землю. Махно в страхе пригнулся и еще сильнее пришпорил коня.

Выстрелом Следопыт снял с седла бандита, изуродовавшего отца, и возобновил погоню за атаманом, но подходящий момент был уже упущен: бандиты окружили Махно и плотной толпой неслись к лесу.

Увлеченный погоней, Мишка не заметил, что он один скачет за добрым десятком махновцев, размахивая своей маленькой шашкой.

Это вскоре увидели бандиты. Внезапно повернув коней, они окружили Следопыта, и прежде чем Мишка успел сообразить, что случилось, его шашка со звоном отлетела прочь.

— Взять живьём! — раздался чей-то властный голос.

Стиснутый с обеих сторон конями и обезоруженный, Мишка помимо воли помчался вперед.

«Вот так штука! — думал он. — Хотел поймать Лисицу, и сам попал ей в зубы!»

Увлекая за собой Мишку, банда скрылась в глубине леса.

В ЛАПАХ МАХНО

В селе Яблонном сегодня было необычайно шумно и весело. Десятки пьяных с бутылками самогона в руках шатались по улицам, горланя песни. В кулацких хатах шел пир горой, тут и там закипали ругань и драки. Что за диво? Никакого праздника, даже самого маленького, в этот день не было, а кутили так, словно праздновали Николу зимнего. Странно было и то, что ворота бедняцких хат были закрыты, а их хозяева старались не попадаться на глаза гулякам.

Но самый богатый пир был у первого кулака на селе — Митро Забубенко, куда собралась вся местная знать: бывший урядник Нечипорук, церковный староста, трое самых богатых кулаков, старый мельник и поп Павсикакий. А вперемежку с ними на широких скамьях и креслах сидели пестро одетые гости. Хозяева усердно накачивали их самогоном.

В центре всеобщего внимания был щуплый мужичонка с хмурым, отекшим от пьянки лицом и острым взглядом маленьких черных глаз.

Развалившись в переднем углу, он задрал ноги на край дубового стола и пил водку стакан за стаканом, как воду. Хмель, видимо, его не брал. Через головы собутыльников он смотрел в потолок и зло ворчал:

— Будь я проклят, если когда-нибудь попадался так глупо в ловушку!.. Это опять его проделка!.. Семь шкур спущу!

Он хлестнул плеткой по столу, разрезав пополам жирную кулебяку и опрокинув графин с самогоном.

Рядом с переодетым Махно (а вы уже, конечно, догадались, что это был он) сидел на конце скамейки старый мельник. Он с хитрецой поглядывал на соседа и шептал ему на ухо:

— Да что вы сердитесь, атаман. Вы еще не раз порубаете красных... А теперь бы отдохнуть малость, к нам на мельницу заглянуть.

Махно встрепенулся:

— А что? Ждет Катюха?

— Да боже мой! Ночи не спит.

— А ты не брешешь, старый пес? Коли правда, озолочу!.. Если соврал, попробуешь, чем это пахнет. — Махно сунул плеть под самый нос мельнику. Тот в испуге отшатнулся.

Махно развеселился и заверещал на всю хату:

— Гей, Голопуз, где тот щенок, что скакал за нами, как бешеный?

— Вин туточки, батько! — живо отозвался Голопуз, с трудом поднимаясь из-за стола. — В чулане лежит до твоего приказу...

— Тащи его сюда, каналью!

— Слухаю, батько!

В глазах Махно забегали злые огоньки.

— Посмотрим, что он запоет здесь...

Гости расступились. Связанного Следопыта вывели на середину хаты и поставили перед атаманом.

Прекратив пирушку, все с интересом оглядывали его с головы до пят, как заморскую диковинку. Мишка был в потрепанном красноармейском обмундировании.

— Эй ты, сопляк, — начал атаман, не меняя позы, — кой черт тебя гнал за нами? На виселицу захотел?..

— Если я сопляк, то ты свинья, которую посадили за стол, а она и ноги на стол,— спокойно отрезал Мишка, с любопытством оглядывая странное сборище.

— Цыть, кутенок! Я — Махно! — гаркнул бандит, думая запугать пленника.

Мишка, только теперь узнавший Махно, побелел от гнева:

— Благодари бога, что мои руки связаны, а то бы я показал тебе, как села жечь, бандитская харя!

Зная бешеный нрав Махно, гости ждали расправы.

Но пьяный бандит неожиданно расхохотался:

— Вот так гусь! А ну-ка, развяжите ему руки...

Удивленного Мишку мигом освободили от веревок. Он не торопясь стал растирать затекшие руки и только теперь заметил, что окружившие его «мужики» были вооружены револьверами, шашками, кинжалами. «Переодетая банда», — сообразил Следопыт.

— Ну что ж ты не казнишь Махно? — усмехаясь, спросил бандит, кладя руку на эфес шашки. — Трусишь, каналья?

Мишка вспыхнул:

— Ты сам трус и разбойник, по которому давно виселица плачет!

Махно выхватил пистолет и, выстрелив через голову Мишки, зло усмехнулся:

— Вот это я понимаю, сам стоит перед виселицей и нам же угрожает. Что с ним делать, хлопцы?

— Повесить на первом суку, — отозвался чей-то голос.

— Зачем вешать, — возразил другой, — парубок дюжий, не робкого десятка. Нехай переходит к нам.

— Эй, малец, — крикнул третий бандит, — иди на службу к батьке Махно! Удалым ребятам у нас хорошо живется.

Мишка гордо выпрямился и ударил себя кулаком в грудь:

— Я буденновец и грабить с вами народ не желаю. А Махно я выпорю при первом удобном случае...

От такой дерзости даже видавший виды Махно на минуту опешил. А потом заорал:

— А ну, Битюк, всыпь ему полсотни горячих и повесь за ногу на ворота!.. И баста! Пусть знает, как разговаривать с атаманом.

Мишка побелел от ярости и очертя голову бросился на Махно, пытаясь схватить его за горло.

— Стой, тигра лютая! — бандит, названный Битюком, схватил Мишку за ворот и потащил к порогу.

— Вот змеиное отродье! — сердито проворчал Махно. Увеличить ему порцию вдвое!

— Слухаю, батько!

— Ну, берегись, мохнатый черт! — уже стоя на пороге, кричал Мишка. — Я тебя еще найду!

Битюк толкнул его в спину:

— Катись, шибеник!

Но Мишка дал ему такую «сдачу» кулаком в бок, что казак охнул, согнувшись пополам...

Махно опять расхохотался:

— А лихо дерется петушок! Он, пожалуй, побьет твоего дурня, Битюк?..

— Ни, не побьет, — ответил казак, с трудом разгибаясь и снова хватая Мишку. — Я ему сейчас шкуру сдеру.

— Стой! Шкуру потом, — приказал пьяный Махно, — зови сюда свое отродье!..

Битюк сердито толкнул Мишку обратно к столу, а сам выскочил из хаты.

Предвкушая какую-то веселую забаву, бандиты освободили место посредине хаты и взяли Мишку в кольцо.

— Поглядим, каков ты есть в кулаке!..

— Где ему, Битюк его в бараний рог скрутит!

— А може, и нет...

Мишка настороженно озирался. У ближайшего бандита за поясом он заметил пистолет и решил при случае воспользоваться им для обороны. Нет, теперь уж он живым в руки не дастся!

— А ну, дай дорогу! — раздался окрик с порога.

Бандиты расступились, и перед Мишкой очутился здоровенный верзила лет восемнадцати. На голове копна растрепанных волос, нос картошкой. Он встал посредине хаты, неуклюже переминаясь с ноги на ногу.

Атаман, видимо, решил повеселиться и потешить свою побитую банду.

— Ша, хлопцы! — он еще раз хлестнул по столу плетью.

Все притихли.

Махно обратился к верзиле:

— Видишь этого чижика, Битюк?

— Бачу, — ответил парень, поворачиваясь лицом к Мишке.

— А побить его можешь?

— Кого?.. Цего?..

— Ну да, на кулаки взять!

— А на що? — удивился верзила. — Вин же воробушек.

Банда разразилась хохотом.

Мишка вспыхнул от обиды:

— Но-но, ворона, не очень задирай! В другом месте я б тебе показал «воробушка»...

— Так бей его, Битюк! — взвизгнул Махно. — Это ж буденновец!

Бандиты дружно заулюлюкали:

— Дай ему трепку!

— Ату его!

— Ну што ж, могу, — согласился молодой Битюк, не торопясь снимая куртку и засучивая рукава рубахи.

Мишка заложил руки за спину:

— А я не желаю! Что я вам — цирк?!.

Махно вскочил:

— Дерись, звереныш! Если ты побьешь Битюка, катись на все четыре стороны!.. И баста!

— А ты не брешешь? — усомнился Мишка.

— Что-оо? — взбеленился Махно. — Слово атамана свято, как у господа бога. Начинай, Битюк!..

— Ладно, коли так, — отозвался Мишка, вставая в боевую позицию, — только как будем драться — по правилам бокса или куда попало?..

— Бокса? — верзила вытаращил глаза. — Яка бокса? Та я ж тебя и без боксы пришибу, як червя, — он сделал шаг вперед.

— А ну, давай, верблюд! — подзадоривал Мишка, спокойно стоя на месте. — Попробуй пришибить буденновца!

— Бей его, Битюк! — завыли бандиты, плотной стеной окружая бойцов. — Цель в ухо!..

Битюк сжал свой огромный кулачище и размахнулся изо всей силы... Мишка мгновенно пригнулся.

Кулак просвистел в воздухе, верзила пошатнулся и, получив крепкий удар в челюсть, отлетел в сторону.

— Получай задаток, кабан! — крикнул Мишка.

Бандиты ахнули:

— Вот так звезданул, петушок!

— Давай, давай, Битюк!

— Катай его!

Разъяренный Битюк в бешенстве бросился на Мишку, нанося беспорядочные удары куда попало. Ловко отражая нападение, Мишка с поразительной быстротой бил противника по рукам, заставляя его плясать вокруг себя, как медведя на цепочке.

Махно и бандиты хохотали от удовольствия, свистом и криками подбадривая Битюка.

Но тот, уже избитый в кровь, вторично отскочил от Мишки, задыхаясь от бессильной ярости.

— Ну, я ж тебя убью, собака! — прохрипел Битюк и, наклонив мохнатую голову, быком ринулся на Мишку, направляя удар в живот.

Но Мишка, как кошка, отпрыгнул в сторону и с такой силой трахнул Битюка кулаком по затылку, что тот всей тушей грохнулся на пол и забороздил носом.

Бандиты взвыли.

Не дав противнику опомниться, Мишка вскочил ему на спину и придавил коленом шею:

— Ну что, верблюд, сдаешься или еще наддать?..

— Та вже ж, щоб твои очи повылазилы! — прохрипел Битюк.

— То-то же, вперед буденновцев не трогай!

И, толкнув Битюка ногой в зад, Мишка направился к выходу.

— До скорого свидания, разбойники!

Но Битюк-отец загородил ему дорогу:

— Куда прешь?..

— Как — куда? Ваш батька обещал мне свободу, если я побью твоего дурня.

На лице Махно появилась злорадная усмешка:

— Верно, Битюк, дай ему сотню хороших плетей и пусть уходит, если сможет... И баста!

Смертельно оскорбленный, Мишка бросился на

казака с пистолетом и попытался выхватить у него оружие. Но Битюк-отец успел перехватить Следопыта и поволок его во двор.

Здесь Мишка увидел картину, достойную времен Тараса Бульбы.

Посредине двора красовалась поставленная на попа́ бочка с выбитым дном. Вдребезги пьяные бандиты, кто чем мог, черпали из нее самогон и, запрокинув головы, пили, пока не валились с ног. Трое уже спали, развалившись посредине двора. Один отчаянно отплясывал гопака под губную гармошку. Другие во всю силу легких горланили песни.

В конце двора стоял большой сарай, около которого весело фыркали две верховые лошади гнедой масти и одна черная, как вороново крыло. Прислонившись спиной к запертой двери сарая, тяжело дремал сторож, вероятно, тоже пьяный. Сюда-то и привел Битюк Следопыта.

— Эй, Петро, отчини дверь, — потребовал Битюк, толкнув ногой сторожа.

Сторож недовольно пробурчал что-то себе под нос, с трудом нашел карман и, вынув ключ, начал возиться у замка.

— Вот проклята дирка! — ругался сторож, тыкая ключом мимо замка. — Засорилась, чи що?

Пока пьяный сторож возился с замком, Мишка огляделся и заметил, что в десятке шагов от сарая в высоком заборе не хватает одной доски.

Сторож продолжал канителиться с замком, ругая на чем свет стоит неуловимую «дирку».

Битюк, крепко державший за руку Мишку, разозлился:

— Да ну, пьяная морда, дай сюда ключ!

Оттолкнув плечом сторожа, Битюк схватил правой рукой ключ, тем самым освободив одну руку Мишки. А через мгновение он уже опрокинулся на спину, получив страшный удар в челюсть.

Одним прыжком Мишка очутился около вороной лошади, которую давно уже держал на примете. Вскочить в седло и дать шпоры коню для него было делом одной секунды. И прежде чем Битюк очухался

и поднял крик, он уже мчался к забору, боясь только, как бы конь не задел ногами за доску. Но лошадь, словно птица, распласталась в воздухе и, чуть коснувшись земли по ту сторону забора, понеслась дальше.

Повернувшись на лету, Мишка крикнул бандитам:

— Гей, вороны, вспоминайте Следопыта!

Вслед беглецу раздались беспорядочные выстрелы и отчаянные вопли Битюка. Но пули свистели мимо.

Когда Махно узнал, что в его руках был знаменитый Следопыт, удравший на его собственном скакуне, бандит пришел в неописуемую ярость. Он тут же, на глазах пьяной толпы, пристрелил сторожа, приказал запороть насмерть злосчастного Битюка, а в заключение так стукнул по шее попавшего под руку попа, что Павсикакий отлетел на целую сажень, с треском ударившись в забор.

О погоне не могло быть и речи: все знали, что коней, равных по силе бега махновскому, не найти по всей Украине.

где следопыт?

Ю-ю и Овод не знали, чем объяснить исчезновение Следопыта. Вместе с сестрами и санитарами они обошли поле брани, осмотрели всех убитых и раненых, но Следопыта не нашли.

Куда он мог деваться?

Продолжая поиски, наши герои отошли далеко от центра боя и почти у самого леса увидели кучу человеческих тел и двух мертвых коней. Какой богатырь бился здесь, окруженный врагами?!. Еле уловимый стон донесся до их слуха. Они бросились на голос: не Мишка ли?

В центре кучи, придавленный мертвым конем, лежал партизан могучего сложения, с красной лентой на шапке. Он был весь залит кровью, только смертельно бледное бородатое лицо его казалось чистым,

словно умытым. В левой руке он держал длинную, почерневшую от крови шашку, а правая была отрублена по самое плечо. Вокруг партизана валялись трупы бандитов, рассеченные богатырской рукой.

Овод кинулся к партизану и встал на колени.

Партизан медленно открыл голубые глаза. Секунду смотрели они друг на друга, не узнавая...

— Дуняша? — прошептал вдруг партизан, дрогнувшим голосом. — Ты?

Дуняша вскрикнула:

— Отец! Что они с тобой сделали! — припала к отцу и заплакала.

Иван тяжело вздохнул:

— Ничего, дочка, я тоже порубал их довольно... Прощай, моя голубушка... Умираю... за власть нашу...

— Нет, нет, папаня, ты не умрешь! — воскликнула Дуняша, выхватывая из сумки бинты. — Я перевяжу тебя...

— Поздно, — еле слышно прошептал Иван, закрывая глаза. — Обними за меня мать и Мишку... Бейтесь и вы за лучшую долю... за Советы...

Дуняша осиротела.

С воинскими почестями похоронили Ивана Недолю в большой братской могиле, на зеленом холме, у самой кромки дубового леса.

А Следопыта все не было...

Получив отпуск из отряда и запасшись провизией, Ю-ю и Овод отправились на поиски своего вожака.

Но где его искать?

По словам Ю-ю, Мишка умчался вслед за Махно к опушке леса, а что было дальше, он не видел. Овод решил направиться в лес, хотя надежда на встречу была очень слабой. Он знал, что лес этот тянется далеко на восток, что именно в его темных дебрях бродили когда-то махновцы и что на его северной окраине раскинулось родное село Яблонное.

Взяв направление на север, ребята углубились в лес. Сначала они шли по следам банды, бежавшей с поля боя. След был хорошо виден: взбитая копыта-

ми коней земля, поломанные сучья и ветки деревьев, клочья разорванной одежды. Но вскоре следы разделились и пошли в разные стороны.

Куда же направиться?..

Был уже поздний вечер, когда ребята вышли на широкую поляну. Здесь Овод решил устроить привал до утра: утро вечера мудренее...

Расположившись под кустом, разведчики вытащили из сумок еду, но есть не могли. Потеря отца и брата тяжело поразила Овода, а Ю-ю страдал за пропавшего «капитана» и глубоко сочувствовал горю Дуняши. Все же он не терял бдительности и, зорко озираясь по сторонам, держал карабин наготове.

Вдруг из глубины леса, с противоположного края поляны вылетел растрепанный всадник без фуражки, в порванной куртке, с окровавленным лицом. Он мчался прямо на ребят.

Ю-ю мгновенно вскинул к плечу карабин.

— Стой, стреляй будет!..

— Стой! — повторил и Овод, поднимая маузер.

Всадник с такой силой осадил над кустом вороного коня, что тот взвился на дыбы. А через секунду незнакомец уже был на земле и с криком: «Здорово, орлы!» — кинулся в объятия Ю-ю и Овода. Это был Мишка.

— Ты весь в крови, брат Следопыт, — встревожился Овод. — Что случилось?

— Чепуха! Лицо поцарапал, когда скакал лесом. Эх, и конь лихой! Как ветер несется!

Печальная весть о гибели отца поразила Мишку в самое сердце. Но он не заплакал, нет. Он крепко обнял своих друзей и, как бы давая клятву, произнес:

— Жив не буду, а бандита поймаю!

охота за голубой лисицей

День был ясный, голубой. Солнце ласково припекало, но в воздухе веяло прохладой. В селе Яблонном было тихо и спокойно: от вчерашней гульбы не оста-

лось и следа. Крестьяне были заняты своим делом. Только два плохо одетых мужичка бесцельно бродили по улицам, мимоходом заглядывали во дворы, болтали с прохожими. Если бы кто-нибудь следил за ними, он бы заметил, что странные мужички с особой осторожностью и любопытством обошли вокруг дома, где прошлой ночью кутил Махно, потом осмотрели двор попа Павсикакия и, видимо, чем-то раздосадованные, медленно пошли в конец села. Здесь они наткнулись на сожженную хату, от которой остались только развалины печи да черная труба.

Мужички остановились, сняв шапки.

— Вот наша хата, — печально сказал один, тяжело вздохнув.

— Ничего, — ответил другой, — когда прикончим белых, построим новую. А подлую Лисицу мы все-таки найдем, не будь я Следопыт...

Да, это были наши герои. Оставив Ю-ю с вороным конем в гуще леса, они решили побывать в своем селе. Следопыт надеялся застать всю банду на месте, но Махно и след простыл.

Из разговоров с крестьянами ничего определенного выяснить тоже не удалось. Одни говорили, что «батько» ушел вербовать новое «войско» на Гуляй-Поле, другие уверяли, что он махнул под Херсон, третьи полагали, что Махно заболел и скрывается где-нибудь у своих, а большинство сердито отнекивалось:

— А на черта вин мини здався!

Словом, след Махно затерялся.

— Настоящая Лисица! — ворчал Мишка. — А все-таки мы его найдем!

До вечера они обошли еще одну соседнюю деревню, но и там не нашли конца ниточки, по которой можно было бы добраться до Махно.

Волей-неволей к ночи им пришлось вернуться в лес, к Ю-ю. Мишка был раздосадован неудачей, но поиски решил продолжать.

— А не сходить ли нам к Черной балке, где банда стояла лагерем? — предложил он. — Ведь Махно ушел не один...

— Нет, нет! — запротестовал Овод, содрогнувшись от ужаса. — Подальше от этих проклятых мест!

— Тиха, капитана! — прошептал вдруг Ю-ю, поднимая руку. — Там буль-буль есть... Зачем такое?..

Он указал в глубину леса. Все замолкли, напряженно прислушиваясь.

— Верно, — сказал Следопыт, — там что-то курлыкает, вроде как тетерев бурчит...

Овод усомнился:

— Нет, не похоже... Может, ветер шумит?

— Какой там ветер, — отмахнулся Мишка, — сейчас такая тишь, ни один лист не шелохнется. Во всяком случае, проверим. У меня здесь что-то наклевывается, — он покрутил пальцем вокруг лба. — За мной, ребята!

Мишка смело пошел вперед, за ним направился Овод, а Ю-ю, как всегда, замыкал шествие, ведя коня под уздцы. Местность постепенно понижалась, лес становился гуще, дохнуло холодком и сыростью. Вскоре Мишка остановился и, подождав своих соратников, сердито фыркнул:

— Ерунда! Зря мы сюда свернули — это речонка урчит по оврагу.

— Речонка?..

Овод прислушался и вдруг схватил за руку Следопыта:

— Ой, ребята, да ведь это же мельница шумит!

— Водяная мельница? — живо отозвался Следопыт. — Уж не та ли, в которой тебя мучили?

Овод побледнел:

— Может, и та...

Следопыт хлопнул себя по лбу.

— Ну и дурак я!

— Почему? — удивился встревоженный Овод.

— Ведь эту девушку Махно называл милой красавицей?

— Называл. Ну так что?

— И он по ее просьбе не отрубил тебе голову?

— Не отрубил.

— И сам поднял девушку с колен?

— Сам... Да что ж ты предлагаешь?

— Я-то? — Мишка в затруднении почесал затылок. — Пошли дальше! Только тихо, как мыши. А ты, Ю-ю, немножко отстань и веди коня... Да накрой ему морду курткой, чтобы не фыркал!..

— Есть, капитана! — охотно отозвался Ю-ю.

— Ты куда это? — шепотом спросил Овод.

— На мельницу...

— Зачем?

— Авось что-нибудь выйдет... Ты говоришь, девушка назвалась твоим другом?

— Да. Она так меня называла.

— Замечательно... Пошли, пока не стемнело.

Следопыт пригнулся, раздвинул ветки кустарника и бесшумно нырнул в чащу. Овод и Ю-ю последовали за ним в прежнем порядке.

Прислушиваясь к шуму воды, они шли довольно долго вдоль какой-то низины, заросшей дубовым кустарником и ивняком. Потом спустились в извилистый овражек, по дну которого бежал ручей. Вначале им казалось, что мельница должна быть где-то совсем близко, но рокот воды то резко усиливался, то неожиданно стихал и нарастал снова.

Мишка начинал сердиться. С каждой минутой ускорял шаг. Овод едва поспевал за ним, но даже и не подумал просить передышку. Он ни в чем не хотел отставать от брата. Что же касается Ю-ю, то о нем можно было не беспокоиться. Он мог с одинаковой скоростью шагать хоть целые сутки без передышки и никогда не терял своего неизменного спокойствия и выдержки.

— Тсс! Кажется, совсем близко,— прошептал Следопыт.

Гул водяной мельницы доносился совершенно отчетливо.

— Ждите меня здесь, а я пойду посмотрю, что там делается,— сказал Следопыт и исчез во тьме.

Мишка шел по узкой тропе, она вскоре вывела его из леса. Перед ним лежала обширная поляна, на склоне которой прилепилась маленькая деревушка.

Взяв маузер наизготовку, Следопыт направился в деревню. Но его предосторожность оказалась на-

прасной: деревня точно вымерла. Нигде ни единой души, ни одного огонька в хатах, ни одной собаки во дворах — ничего живого. Только ветерок печально посвистывал в разбитых окнах. Настороженно прислушиваясь и заглядывая во все дворы, Мишка беспрепятственно прошел деревню.

Где-то пропел петух...

«Странно, — подумал Мишка, — людей нет, а петух остался».

За околицей он остановился и осмотрелся по сторонам. Вдали из мрака ночи блеснул огонек.

— Ага, кто-то есть!..

Следопыт смело направился на огонек, который манил его в темную низину, где урчала речонка. Идти пришлось недолго. Внизу, у самой кромки берега, поросшего густым кустарником, показалось какое-то неуклюжее черное здание.

— Мельница!— обрадовался Следопыт.

Подойдя ближе, он заметил небольшое оконце, закрытое толстой ставней. Из щели струилась желтая полоска света. Следопыт ползком направился к окну. Миновав небольшую открытую площадку, он тихо поднялся на ноги и заглянул в щель.

Странное зрелище поразило Мишку: на широкой скамье понуро сидела молодая девушка. Бледное, худое лицо ее скупо освещал огонек лампочки, подчеркивая бездонную глубину карих глаз и густые соболиные брови. Длинная коса черной змеей сползала с плеч.

— Она!— прошептал Мишка, дрогнув от радости.

Девушка сидела неподвижно, в глубокой задумчивости.

Мишка невольно залюбовался ею и позабыл, зачем он сюда явился. На длинных ресницах девушки блеснула слезинка и медленно скатилась на руку.

О чем она плакала? Тоска ли одиночества грызла сердце, погиб где-нибудь ее милый, или кулак-отец измывается над нею?..

Мишка хотел было отойти от окна, но тут скрипнула дверь и в комнату вошел старик, запорошенный мучной пылью.

Девушка вздрогнула и подняла голову.

— Все хныкаешь?— сказал старик, останавливаясь перед нею.— Или не нравится добрый молодец?

— Оставь меня, отец!— резко ответила девушка.— Ты хочешь погубить меня.

Мельник захихикал:

— Кого ж тебе еще нужно? Может, принца ждешь или графа? Сюда и ворон-то редко залетает...

— Никого мне не нужно... Но идти на поругание этому зверю не хочу! — Девушка закрыла лицо руками и заплакала.

Маленькие выцветшие глаза мельника блеснули из-под нависших мохнатых бровей:

— Эй, не дури, Катюха! Не нам с тобой рассуждать об этом. Он теперь сила и богат.— Старик пошарил за пазухой, вынул кожаный кошель и высыпал на стол с десяток золотых монет. — Вот они! Самые настоящие, царские! А ты ревешь, дурища! В шелках ходить будешь.

— Не нужно мне его проклятого золота — оно в крови!— Девушка в гневе отшвырнула монеты и выскочила из комнаты.

Старик трясущимися руками собрал золотые, шамкая беззубым ртом, опять ссыпал их в кошель и сунул за пазуху.

Мишка отскочил от окна и двинулся в обратный путь. Он понял, что мельник против воли дочери хочет выдать ее замуж за какого-то богача. Хорошо бы помочь ей выпутаться из беды. Но как? Надо поговорить с Оводом. В таких мудреных делах он лучше разберется. Как-никак, а он тоже — девушка...

Размышляя таким образом, Следопыт возвратился в лес.

В МУЧНОМ МЕШКЕ

В то время, когда Следопыт спешил к лесу, на противоположном конце деревушки показался всадник. Он, видимо, тоже торопился и бешено нахлестывал плетью покрытого потом и пеной коня:

— Вперед, вперед, старая кляча!

Всадник рванул поводья и, едва не свалив покрытого пеной коня, спрыгнул на землю около мельницы. Подбежав к тяжелой двери, он постучал в нее три раза рукояткой пистолета.

В ответ раздался старческий кашель, и дверь тотчас отворилась.

Униженно кланяясь гостю, мельник повел его в ту комнату, где недавно сидела девушка, так поразившая Следопыта своей красотой.

— Минуточку обождите, одну минуточку, — залебезил старик, усаживая незнакомца, — она сейчас явится.

Гость хлопнул мельника по плечу:

— Ну как? Согласилась? Иль все еще упирается? Боится меня?

— Зачем же бояться, хе-хе, такого красавца и вдруг бояться!.. Ждет не дождется, даже во сне видела... Браги не хотите ли с дороги? Или винца хорошего?

— Можно, можно, — благосклонно согласился гость.

Старик живо принес бутылку вина и кувшин с брагой. Потом подошел к внутренней стене комнаты и тихонько стукнул корявым пальцем.

Гость насторожился...

После долгой паузы дверь снова скрипнула, и на пороге появилась дочь мельника. При виде гостя она в страхе отшатнулась и растерянно остановилась на месте.

— Что ж ты не здороваешься, Катюшенька? Или язык отнялся от радости? — ласково засюсюкал старик и, незаметно ущипнув дочь за руку, зло прошипел ей на ухо: — Смотри, дурища, изведу!..

Девушка вздрогнула и чуть слышно поздоровалась с гостем:

— Добрый вечер!

— Здравствуй, здравствуй, красавица! — Незнакомец взял девушку за руку и усадил рядом с собой на скамью.

— Я насчет закусочки побегу, а вы здесь поворкуйте...

Семеня ногами и продолжая хихикать, старик скрылся за дверью.

Гость и хозяйка с минуту молчали. Явная холодность красавицы смущала незнакомца; он не знал, с чего начать разговор, а она не поднимала головы.

Однако грубая натура взяла свое: он вдруг схватил девушку за плечи, с силой рванул к себе и поцеловал.

Задрожав от страха и отвращения, девушка отскочила в сторону:

— Не трогайте меня! Ради бога, пощадите!..

Гость на минуту смутился. Потом сердито спросил:

— Зачем же старик брал деньги? Разве я плохо наградил его? Вот получи и ты, красотка! — небрежным движением он бросил на стол кожаный кошелек, который тяжело звякнул.

— Нет! Нет! — в ужасе вскрикнула девушка. — Возьмите ваше нечистое золото, только сжальтесь надо мной и уходите.

Гость хитро прищурил маленькие колючие глазки и вынул из кармана бархатную коробочку:

— А как тебе эта штучка нравится? — В руках гостя сверкнуло богатое ожерелье.

Девушка отступила еще дальше:

— Не возьму ни за что на свете!

— Так что ж тебе нужно, черт возьми! — вспылил гость. — Или забыла, с кем разговариваешь? Да знаешь ли ты, что любая красавица Украины с радостью станет женой батьки Махно!

— Я все хорошо знаю, — предчувствуя беду и бледнея, возразила девушка, — но я не могу отдать свою руку... бандиту.

Махно позеленел от ярости:

— Молчать, подлая тварь! Да я тебя раздавлю, как змею, и баста! — И схватил ее за косу...

Девушка вскрикнула и без чувств повалилась наземь.

— Ладно! — зло прошипел он. — Не хотела покориться добровольно, возьмем силой...

С полумертвой девушкой на руках Махно вышел наружу и скорым шагом направился к лошади.

Чья-то легкая тень беззвучно отскочила от окна, притаившись в кустах.

Махно благополучно дошел до коня. Уложил девушку поперек седла и стал развязывать уздечку.

За спиной бандита внезапно появились две фигуры. В то же мгновение на его голову упал широкий мешок и сразу опустился до пят. Прежде чем Махно успел сообразить, что случилось, и выхватить шашку, он уже лежал на земле, крепко скрученный веревками, задыхаясь в мучном мешке.

— Вот это лихо! — воскликнул знакомый атаману голос. — Теперь уж ты не уйдешь, бандитская харя! Возьми его, Ю-ю!

— Есть, капитана!

Махно почувствовал, как чьи-то сильные руки схватили его за ноги и, как тушу барана, потащили вниз по мокрой траве.

Овод и Следопыт осторожно сняли девушку с седла и, опустив на землю, стали приводить в чувство.

Между тем Ю-ю дотянул мешок до вороного коня, стоявшего внизу у речонки, и швырнул под куст.

Махно слышал, как рядом с ним стукнул о землю приклад карабина и все смолкло. Хитрый бандит решил попробовать подкупить своего стража.

— Эй, парень! — глухо, сквозь мешок заговорил он. — Развяжи веревки и заработаешь пять золотых.

— Моя нет! — коротко отозвался Ю-ю.

— Бери десять!

— Моя нет...

— Пятьдесят!

— Пошла на черт! — отрезал страж.

— Хочешь тысячу, мошенник? — поторопился набавить Махно, полагая, что против такой суммы никто не устоит.

Ю-ю смачно плюнул:

— Тьфу на твой тыща!

— О, черта твоему батьку! — выругался Махно. — Чего ж ты хочешь, дурак?

— Дурак мешок сел!

Махно разъярился.

— Берегись, собака! Если ты меня не выпустишь, мои молодцы снимут с тебя семь шкур. И баста! Я — сам Махно!..

Ю-ю засмеялся:

— Мой знал, кого мешок тащил. А твой молчать, шайтан! — и Ю-ю так сунул бандита прикладом, что тот охнул и сразу смолк.

Вскоре пришли и остальные: Мишка, Овод и дочь мельника — Катюша.

— Я повезу Катюшу, а ты возьмешь в седло мешок с бандитом, — опять услышал странно знакомый голос Махно. — Ю-ю придется пешком пробежаться.

— Есть, капитана! — весело отозвался Ю-ю. — Мой не отстанет.

— Умоляю вас, бежим скорее! — в страхе просила дочь мельника.

— Нужно торопиться, друзья, — поддержал Овод, — скоро утро.

Жуткий холодок пробежал по спине бандита: ему почудилось, будто он слышит голос той самой девушки, которая была повешена на Черной балке по его приказанию. Нет, этого быть не может — мертвые не воскресают!

Разговор продолжался:

— Ты, Овод, поезжай пока шагом, а мы с Ю-ю останемся на минутку здесь, — приказал Мишка.

— А в чем дело? — спросил Овод, подсаживая на седло дочку мельника.

— Ничего особенного, надо старый должок отдать...

Овод с девушкой уехали вперед.

Следопыт взял плеть и, подойдя к мешку, слегка ткнул его носком сапога:

— Ну-ка, Ю-ю, поверни его тыквой кверху.

— Есть, капитана! — с удовольствием отозвался Ю-ю, выполняя приказание.

— А теперь считай до пятидесяти, да смотри не сбейся...

Вряд ли надо рассказывать, с каким удовольствием принимал надменный атаман порцию горячих. Мишка старался изо всех сил:

— Не грабь народ! Не трожь красных дьяволят! Не лезь к буденновцам!..

Бандит заскрипел зубами и разразился такой забористой бранью, что Ю-ю впервые расхохотался от всей души. А Мишка продолжал всыпать.

На тридцатом шлепке Мишка услышал крик Овода:

— Скорей по коням!..

С большим сожалением Мишка прекратил экзекуцию:

— Ладно. Двадцать штук досыплю на месте.

ПОДАРОК РЕСПУБЛИКЕ

В городе Е. было необыкновенно оживленно и шумно. К главной площади по всем улицам и переулкам двигались потоки людей. На площади стоял уже знакомый нам отряд красных партизан в полном боевом снаряжении. Сегодня он уходил на фронт бить Врангеля. Рабочие организации и граждане города провожали партизан с красными знаменами, песнями и музыкой.

Залитая потоками яркого солнца и красным заревом многочисленных знамен, площадь горела и бурлила. Людское море колыхалось вокруг высокой, наскоро сбитой трибуны.

Митинг был в разгаре.

Говорил рабочий рельсопрокатного завода:

— Советская власть, товарищи, в опасности! Черный барон — Врангель — все еще сидит в Крыму. Если мы не сбросим его в море, он опять полезет на Украину, а за ним, глядишь, и буржуй вернется, и помещик, и прочие белые гады. Не бывать тому, товарищи!

— Бей Врангеля! — кричала в ответ толпа.

— Вот и я то же говорю, — продолжал оратор. — Партия зовет нас под ружье! Сам Ленин зовет! Все за оружие, товарищи! Смерть буржуям! Урра-аа!..

— Урра-ааа! — загремело над площадью и могучим эхом разнеслось по всему городу.

Вслед за рабочим перепоясанный патронными лентами на трибуну поднялся командир партизанского отряда Цибуля.

В заключение своей горячей речи Цибуля дал клятву, что его полк не вернется назад до тех пор, пока ни одного беляка не останется на родной земле. Он упомянул также и о полном разгроме махновских банд и выразил сожаление, что сам Махно все еще не пойман...

Но вдруг Цибуля прервал свою речь на полуслове.

В облаках пыли к площади во весь опор мчался вороной конь с двумя всадниками. С развевающейся по ветру косой впереди сидела девушка, которую поддерживал сзади рыжий парень в изодранной одежде. Далеко позади скакал еще один всадник с большим мешком поперек седла, а на диво всем, придерживая одной рукой за стремя, рядом с конем стремительно бежал буденновец.

Партизаны на всякий случай приготовились к бою. Толпа затихла. А когда приблизился вороной конь, люди поспешно раздвинулись на две стороны, очищая дорогу.

Рыжий всадник осадил коня у самой трибуны и крикнул с седла:

— Здравствуйте, товарищи!

Цибуля и партизаны увидели отчаянного Следопыта живым и невредимым!

За ним подоспел и Овод с таинственным мешком поперек седла, с неутомимым Ю-ю у стремени.

Знаменитых разведчиков встретили криками «ура». Все трое оказались в могучих объятиях друзей и товарищей. Сам командир сбежал с трибуны и помог

неизвестной девушке сойти на землю. Мишка вытянулся в струнку и громко отрапортовал:

— Дозвольте доложить: поиск проведен успешно. Мы привезли подарок Советской республике!

Цибуля улыбнулся:

— Уж не эту ли красу-царевну вы считаете подарком?

— Никак нет! Наш подарок почище будет! — Следопыт подмигнул своим друзьям.

— Где ж он? — удивился Цибуля. — Я не вижу.

— В мешке сидит!

— В мешке?!

Все окружающие прыснули со смеху. Предвкушая что-то необыкновенное, народ тесным кольцом окружил разведчиков.

Командир приказал:

— В таком случае, тащите ваш подарок на трибуну!

— Есть, тащить на трибуну! — отозвался Следопыт. — А ну-ка, Ю-ю, отвяжи мешок!

Ю-ю мигом исполнил приказание, ловко взвалил странный мешок на плечи и понес на трибуну. За ним поднялись разведчики и командир Цибуля.

Следопыт скомандовал:

— Бросай подарок на середину!

— Есть, капитана! — Ю-ю весело улыбнулся и швырнул мешок на пол.

Мешок громко крякнул, потом зашевелился и вдруг сам собою стал подниматься.

От удивления все разинули рты. Старушка, стоявшая рядом с трибуной, шарахнулась в сторону:

— Мать пречиста, мешок встае!..

Глухо ворча, мешок действительно встал завязанным концом вверх.

Командир вспылил:

— Это еще что за шутки, медвежонка, что ли, приволокли?

— Зачем медвежонка, тут целый медведь, — невозмутимо ответил Следопыт, развязывая узел.

Любопытство толпы достигло высшего напряжения.

Передние ряды вплотную придвинулись к трибуне, а задние полезли на плечи соседей.

Наконец таинственный мешок раскрылся и медленно пополз вниз.

Следопыт отрапортовал Цибуле:

— Вот он — подарок! Получайте, товарищ командир!

И перед изумленными взорами народа, весь покрытый мучной пылью, растрепанный и жалкий, предстал какой-то немудрящий человечишка с поднятыми дыбом волосами.

— Это еще что за птица? — спросил командир, не узнавая злого врага Украины.

— Это изменник родины, бандит и грабитель — батько Махно!

Толпа ахнула.

— Махно! Махно! — как ветер, понеслось по рядам. — Смерть бандиту!..

Махно узнал не только Следопыта, но и Овода, недавно повешенного им в Черной балке...

— Что за наваждение такое? — прохрипел он, пятясь назад. — Опять эта проклятая девчонка!

— Да, да! Это — я! — ответил Овод, подходя ближе. — Иногда и мертвые воскресают, чтобы отомстить живым...

Бандит в ужасе озирался по сторонам. Ему казалось, что он сошел с ума и теперь бредит дикими нелепыми образами: воскресший Овод, партизаны, толпа народа, сотни знамен, шум и крики — настоящий кошмар!..

Командир первым пришел в себя и, крепко пожав руки всем разведчикам, обратился к народу:

— Товарищи! Наши славные разведчики и в самом деле привезли ценный подарок Советской России: они захватили в плен одного из самых гнусных бандитов — атамана кулацкой банды Махно. Хвала и честь юным героям!..

— Урра-ааа! — загремело над площадью.

Махно готов был растерзать всех на мелкие кусочки, но мог только скрежетать зубами в бессильной ярости и злобе. А тут еще стояла дочь мельника и

смотрела на его жалкую фигуру, насмешливо улыбаясь...

На трибуну взошел буденновец и передал Цибуле какие-то коробки.

— Все три здесь? — тихо спросил тот.

— Так точно, товарищ командир!

Цибуля поднял руку, призывая к порядку.

Сотни глаз впились в командира.

— Товарищи! — торжественным тоном начал он. — Я счастлив всенародно заявить здесь, что Коммунистическая партия и советская власть высоко оценили боевые заслуги и самоотверженность наших отважных разведчиков. Разрешите от имени республики вручить этим славным героям заслуженные награды...

Цибуля медленно вынул из коробки три блестящих ордена и поднял их над головой.

Долго сдерживаемое напряжение толпы прорвалось. Ураган рукоплесканий и криков «ура» рванулся к небу. Над головами замелькали платки, полетели вверх шапки, а ребятишки, словно стаи грачей, посыпались со всех столбов и заборов.

Каждый старался протолкнуться вперед, к трибуне, и хоть одним глазком посмотреть на отчаянных буденновцев, сумевших посадить в мешок самого батьку Махно.

Но, кажется, больше всех радовалась дочка мельника, которая давно уже стояла на трибуне, не сводя глаз со своего спасителя — Следопыта.

А когда командир собственноручно приколол к его широкой груди пылающий под солнцем орден Боевого Красного Знамени, Катюша не выдержала и на глазах толпы расцеловала смущенного Мишку.

Нет, Дуняша не решилась поцеловать Ю-ю, но девушка так крепко пожимала ему руки, так нежно поздравляла его с чудесной наградой, что на глазах их верного друга выступили слезы — слезы невыразимого счастья.

А. ТОЛСТОЙ

НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ВОЛЖСКОМ ПАРОХОДЕ



1

Теплая ночь на Волге. От пристани наверх уходят в темноту деревянные лестницы. Там на полугоре — одинокий фонарь, облепленный ночными бабочками, нежилые амбары, заколоченные лавки частников, часовня с вывеской Церабкоопа, подозрительная темнота грязных переулков. Тихо — ни шагов, ни стука колес в этот час. Пахнет рекой, селедочным рассолом и заборами, где останавливаются.

На реке тишина. Постукивает динамо на пароходе. Освещен только капитанский мостик и широкий проход на нижнюю палубу. На воде — красные огоньки бакенов. Редкие, скупые звезды перед восходом луны. На той стороне реки — зарево строящихся заводов.

Простукала моторная лодка, ленивая волна мягко плеснула о смоляной борт конторки, у мостков заскрипели лодки. В освещенном пролете парохода появился капитан в поношенной куртке — унылое лицо, серые усы, руки за спиной... Прошел в контору, хлопнул дверью

И вот вдали по городским улицам вниз покатились железом о булыжник колеса пролетки. Некому прислушаться, а то стоило бы: лошадь, извозчик и седок сошли с ума... Кому, не жалея шеи, взбредет на ум так нестись по пустынному съезду?

Из-за селедочных бочек вышли два грузчика: в припухших глазах — равнодушие, волосы нечесаны, лица — отдаленные от напрасной суеты, биографии сложны и маловероятны. Лапти, широкие, до щиколоток портки из сатина, воловьи мускулы на голом животе. Слушают, как в тишине гремят колеса.

— Этот с поезда, — говорит один.

— Пьяный.

— Шею хочет сломать.

— Пьяному-то не все одно?

Шум сумасшедшей пролетки затихает на песке набережной, и снова уже близко колеса грохотнули и остановились.

— Доехал.

— Пойдем, что ли...

Ленивой походкой грузчики пошли наверх. Навстречу им, вниз по лестницам замелькали круглые икры в пестрых чулках, покатился крепкий человечек в несоветской шляпе. Скороговоркой:

— Два чемодана — первый класс...

И, мать его знает как, не споткнувшись, долетел до свежевыкрашенной пристани и — прямо в дверь конторы. Касса еще не открыта. В дальнем помещении — яркий свет лампочки. У стола неприветливо сидят капитан и пароходный агент с бледными скулами, подстриженными бачками. Человечек ему — с напором, торопливо:

— Вы пароходный агент?

Тот, как будто лишенный рефлексов, помолчав, поднял бесчувственные глаза:

— Что нужно?

— Мне прокомпостировать билет.

— С половины второго.

— Но, — задравшись на конторские часы, — без трех минут половина... Что за формализм!

— Как вы сказали? — угрожающе переспросил агент.

— Я говорю — мне дорога минута... Чрезвычайно...— На бритом лице — горошины пота, лягушечий рот осклабился, блеснув золотом.— В конце концов можете мне оказать любезность...

Агент, глядевший на него со всем преимуществом власти этих трех минут — когда человек может бесноваться и даже треснуть и все-таки подождет, будь хоть сам нарком, — агент при слове «любезность» начал откидываться на стуле, словно предложили ему неимоверную гнусность.

— Любезность? — протянул он зловеще, как из могилы.

Человечек втянул шею.

— А что я сказал? Ну да, любезность, как принято между людьми...

— Принято между людьми... — Казалось, рука пароходного агента ползет к телефонной трубке.

Человек сошел с рельсов. Но ненадолго. Снова взорвался страстным нетерпением:

— Мне нужно две одноместные каюты... Я рисковал сломать шею на ваших проклятых мостовых... — Повернулся к раскрытому окошечку, где яснее шум колес. — Сейчас сюда нагрянут с поезда... Вы можете ответить, когда я спрашиваю? Язык у вас отвалится? Есть свободные каюты? Есть? Нет? — Вдруг — петушиным голосом: — Бюрократизм!

Часы бьют половину второго. Агент, с кривой усмешкой нехотя сдавшегося человека, закуривает и мертвым голосом:

— Что вам нужно, гражданин?

От неожиданности человечек выпучился, попятился. Снова подскочил:

— Две одноместные каюты первого класса рядом...

— Ваши билеты...

Началось внимательное рассматривание билетов. Человечек переступал заграничными башмаками. Шум пролеток приближался.

— Свободных кают нет, — жестом, в котором не было никакой надежды, агент вернул билеты. Пододвинул пачку телеграмм, лизнул плоский палец, начал их перелистывать, не замечая, что у человечка шея потянулась, вытянулась, зрачки забегали по текстам депеш.

— Билет могу прокомпостировать, — сказал агент, — но поедете в рубке первого класса до Саратова...

Морща лоб, как понтер, он читал вполголоса:

— «Безусловно забронировать две одноместные первого класса для иностранцев мистера Скайльса и мистера Смайльса».

Мгновенно пухлая рука человечка пронеслась мимо носа пароходного агента и упала на телеграмму:

— А это же что, черт вас возьми! — Схватил депешу. — «Безусловно забронировать...» Телеграмма наркоминдела! На каком же основании у вас нет кают? Головотяпство! Вредительство!

Агент мигнул, в глазах его появилось что-то человеческое.

— Я буду жаловаться. Где телеграф? Мистер Скайльс и мистер Смайльс — это же плановая поездка... Палки суете в колеса?

Под напором страшных слов агент торопливо мигал. Рефлексы его пришли в крайний беспорядок. Он ничего не спросил, ни фамилии человечка, ни того, почему именно он берет каюты Скайльса и Смайльса, — словом, в полнейшей путанице мыслей протянул ему два ключа:

— Извиняюсь, мистер... Товарищ... Две каюты первой категории... Значит, это ваша телеграмма? Вам бы надо сразу сказать, что...

Человечек побежал от стола. В дверях, прищурясь:

— На пароходе, надеюсь, — икра, стерлядь и тому подобное?

— Кухня на ять... Вот — капитан... Можете переговорить...

Но тот уже исчез за дверью. Агент сел, провел плоскими пальцами по увлажненному лбу:

— И с первого же слова вредительством сует в морду...

Капитан, сидевший уныло и равнодушно, вдруг усмехнулся желтым боковым зубом под запущенными усами:

— А мое мнение, что он взял тебя на пушку.

Агент затрясся, позеленел:

— Меня — на пушку? Что вы хотите этим выразить?

— А то, что каюты забронированы для американцев, а получил их он.

— Да он-то кто? — Агент застучал костяшками пальцев по телеграмме. — Он-то и есть американец, как их там — Скайльс или Смайльс...

— Да ведь ты его даже фамилии не спросил...

— Разговаривать с тобой! Шевиот, штиблеты-бокс, весь в экспорте... Эх ты, провинция! По одной шляпе можно понять, что американец, как их там — сволочей — Скайльс или Смайльс.

— Так ведь он же русский, — сказал капитан.

Агент весь перекривился, передразнивая:

— «Рускай»!..

— Он же по-русски говорил.

— «Па-русски»!.. Что же из того — по-русски? Может, он тыщу языков знает...

Капитан сдался. Крутанул унылой головой:

— С тобой разговаривать... А кормить я их чем буду?

— Иностранцев?

— Ведь нашего они жрать не станут... Ну, икра, стерлядь... И сразу — перловая похлебка с грибами на второе...

— Продовольственный сектор меня не касается.

Шумно в контору вошел широкий, ужасной природной силы человек в сером френче, галифе и тонких сапогах. Медное лицо его сияло — ястребиный нос, маленький рот, обритый череп, широко расставленные рыже-веселые глаза.

— Броня товарища Парфенова, каютку, — басовитый голос его наполнил контору. Агент молча взглянул в телеграмму, подал ключ. Парфенов сел рядом с капитаном, подтянул голенище:

— Голодать не будем, папаша?

— Глядя по аппетиту, — уклончиво ответил капитан.

— Повар-то у вас прошлогодний?

— И повар и заведующий хозяйством — те же...

— А то, смотри, не засыпся: американцев повезешь...

— Не в первый раз. Тяжело возить француза — в еде разборчив, от всего его пучит... Американца хоть тухлым корми — было бы выпить... В прошлый рейс четверых вез. В Астрахани едва из кают вытащили. Туристы!

— И Волги не видели?

— Ничего не видали — как дым... Для удобства

прямо внизу у буфетчика пили. День и ночь водку с мадерой.

Парфенов раскрыл маленький рот кружком и грохотнул. В контору ввалилось несколько человек с фибровыми чемоданами — москвичи, выражение лиц нахальное и прожженное до последней грани. Обступили стол, и у агента зазвенело в ушах от поминания, будто бы между прочим, знаменитых фамилий... Так, один с мокрой шеей, в расстегнутой белой блузе тряся отвислыми щеками, потными губами, собачьими веками:

— Послушайте, товарищ, была телеграмма моего дяди Калинина, дяди Миши?.. Не было? Значит, будет. Дайте ключ...

Другой, с носом, как будто вырезанным из толстого картона, и зловеще горящими глазами, ловко просунулся костлявым плечом:

— Для пасынка профессора Самойловича, броня «Известий ВЦИК»...

Чья-то в круглых очках напыщенная физиономия, готовая на скандал:

— Максим Горький... Я спрашиваю, товарищ, была от него телеграмма по поводу меня?.. Нет? Возмутительно!.. Я известный писатель Хиврин... Каюту мне нужно подальше от машины, я должен серьезно работать.

В то же время на пристани, куда ушел капитан, произошло следующее: человечек, которого в конторе приняли за важного американца, в крайнем возбуждении кинулся мимо бочек с сельдью на сходни. На набережной уже гремели подъезжавшие пролетки с пассажирами. Он остановился, всматриваясь в темноту, и — свистящим шепотом:

— Миссис Ребус... Миссис Ребус...

Мимо него, скрипя досками, прошел в контору веселый Парфенов. Наверху ссорилась с извозчиками группа бронированных москвичей. Человечек дрожал от возбуждения:

— Миссис Ребус, миссис Ребус...

Тогда из темноты у самой воды выдвинулась жен-

ская фигура в мохнатом пальто. Он кинулся к ней по мосткам:

— Достал две каюты.

— Очень хорошо, но вы могли сообщить это более спокойно, — несколько трудно произнося слова, с английским акцентом проговорила женщина. — Дайте руку. У меня узкая юбка.

Протянув к нему руку в дорожной перчатке, она вскочила на мостик. Поднятый воротник пальто закрывал низ ее лица, кожаная шапочка надвинута на глаза. Оправив кушак, она засунула руки в широкие карманы. Ее твердый носик казался кусочком заморского владычества на этом сыром и темном советском берегу.

— Каюты, которые вы получили, надеюсь, не заняты? — спросила она.

— Вы же сами знаете, что я не мог заказать кают... Все переполнено... Пришлось взять каюты мистера Скайльса и мистера Смайльса...

— Как же вы думаете поступить с этими джентльменами? Через минуту они будут здесь. Надеюсь, вы не предполагаете, что я буду спать вместе со Скайльсом или Смайльсом?

— Все понимаю... У меня трещит голова, миссис Ребус...

— Агентство Ребус не оплачивает трещание вашей головы, мистер Ливеровский. Дайте ключ. Я устала и хочу лечь.

— Предполагал, что вы могли бы как-нибудь сами переговорить с американцами... Вам-то они, конечно, уступят каюты...

— Я ни о чем не буду просить Скайльса и Смайльса, они не принадлежат к числу наших друзей...

— Тогда что же? Чтобы они совсем не поехали?

— Да. Их не мешало бы проучить — этих друзей советской власти.

— Я должен понять, что вы разрешаете не останавливаться ни перед какими мерами?..

— Да... Ключ! — сказала Ребус.

Опустив ключ в теплый карман, пошла к освещенному пароходу. Обернулась.

— Негр едет? Вы проверили?

— Едет. Каюта ему забронирована. Сам видел. — Схватился за нос в крайнем раздумье и — про себя: «Гм, что-то надо придумать!»

Ливеровский скрылся в толпе сезонных рабочих. Миссис Ребус, двигаясь как представительница высшей цивилизации, внезапно споткнулась. Медленно оборачиваясь, отодвинулась в сторону. По мосткам шли молодая женщина в атласном несвежем пальтеце с заячьим воротником и трое мужчин. Один из них был негр; улыбаясь широким оскалом, он глядел вокруг с доброжелательным любопытством.

— Это — Волга? Я много читал о Волге у ваших прекрасных писателей.

— Все восхищаются: Волга, Волга, но, безусловно, ничего особенного, — говорила дама с заячьим воротником, — я по ней третий раз езжу. После заграничной вам покажется гадко. Грязь и невежество.

Муж дамы с заячьим воротником, профессор Родионов — средних лет, средней наружности, весь, кроме глаз, усталый — внес шутливый оттенок в женины слова:

— Собака, ты все-таки не думай, что за границей повсюду одни кисельные берега...

— Какие кисельные? Когда я о киселе говорила? При них котируешь меня как-то странно...

— Ах, собака, ну опять...

— Может надоесть в самом деле — всю дорогу выставляешь какой-то дурой...

— Ну ладно...

Видимо, царапанье между дамой и профессором было затяжное. Негр сказал, глядя в бархатную темноту на огоньки бакенов, на мирные звезды:

— Я буду счастлив полюбить этот край...

Четвертый спутник лениво:

— За карманами присматривайте.

Один глаз у него был закрыт, другой — унылый, худощавое лицо как на фотографии для трамвайной книжки. Он пошел за ключами. Негр переспросил:

— Не понял — о чем товарищ Гусев?

Дама с раздражением:

— Знаете, мистер Хопкинсон, не то что здесь карманы береги, а каждый день — едет, скажем, пассажир, так его с извозчика даже стаскивают. Весь народ на этой Волге закоренелые бандиты...

Профессор с унылым отчаянием:

— Ну что это, Шурочка...

— И тут готов спорить?

— Никогда не поверю, миссис Шура, вы ужасная шутничка... — Хопкинсон не договорил: глаза его, как притянутые, встретились с пристальным взглядом миссис Ребус. Улыбка сползла с толстых губ.

Шура завертела любопытным носиком:

— На кого уставились? — Увидела, тоненько хихикнула. — Вот и правда, говорят, на негров особенно действуют наши блондинки...

— Шура, замолчи ради бога.

— Оставь меня, Валерьян.

— Эта дама не русская, — с тревогой проговорил негр, поставил к ногам профессора чемодан и, будто преодолевая какой-то постыдный для него страх, пошел к миссис Ребус. Приподнял шляпу.

— Боюсь быть навязчивым... Но мне показалось...

Эсфирь Ребус освободила подбородок из воротника пальто и улыбнулась влажным ртом, пленительно:

— Вы ошиблись, мы не знакомы.

— Простите, простите. — Он пятился, смущенный, низко поклонился ей, вернулся к своим. Лакированное лицо было взволнованно.

— Я ошибся, эта дама англичанка... Но мы не знакомы... — Снял шляпу, вытер лоб. — Я немножко испугался... Это нехорошее чувство — страх... Он передается нам с кровью черных матерей...

— Слушайте, испугались этой гражданки? Чего ради?

— Она мне напомнила... Ее взгляд мне напомнил то, что бы я хотел забыть здесь, именно здесь, в России...

— Расскажите. Что-нибудь эротическое?

— Собака, пойдем на пароход, в самом деле...

— Оставь меня...

— Женщинам не отказывают, миссис Шура... Но слушать на ночь рассказы негра...

— Именно, на ночь...

— Вы будете плохо спать.

— Наплевать, слушайте... Все равно у меня хроническая бессонница.

— Это у тебя-то? — сказал профессор.

— Мистер Хопкинсон, сознайтесь — у вас какая-то тайна...

Не ответив, негр опять повернул белки глаз в сторону миссис Ребус. Лицо ее до самых бровей ушло в широкий воротник, ножка потопывала. Притягивающие глаза не отрывались от Хопкинсона. Шура прошептала громко:

— Уставилась как щука...

Когда Гусев, вернувшись с ключами, заслонил спиною миссис Ребус, она оторвалась от стены и прошла мимо Хопкинсона так близко, что его ноздри втянули запах духов. Почти коснувшись его локтем и будто обезвреживая странный блеск глаз, она освободила из воротника подбородок, показала нежнейшую в свете улыбку:

— На пароходе будем болтать по-английски, я очень рада. Ожидается прекрасная погода. Покойной ночи.

Она ушла на пароход. Хопкинсон не смог ничего ответить. Родионов сказал раздумчиво:

— Странная штука — рот, губы, вообще. Глазами солгать нельзя. Женщины лгут улыбкой.

— Шикарная дамочка, — прошипела Шура, — туфли, чулки на ней видели? А сукно на пальто? Вся модная, тысяч на десять контрабанды.

— Чего хочет от меня эта дама? — с ужасным волнением спросил Хопкинсон. — Что ей от меня нужно?

Спутники не ответили. Только Гусев скучливо:

— Берегите карман, товарищи.

Двинулись к пароходным сходням. В это время на спине голого по пояс грузчика проплыли новенькие, с пестрыми наклейками чемоданы. Позади ша-

гали два иностранца — бритые, седые, румяные, серые шляпы, цвета крысиного живота, пальто — на руке, карманы коричнево-лиловых пиджаков оттопырены от журналов и газет.

Тот из них, кто был пониже, налитой как яблочко, говорил:

— Уверяю вас, они сели в экипаж вслед за нами.

Другой, тот, что повыше, с запавшими глазами:

— Я верю вам, мистер Лимм, но я своими глазами видел, как мистер Скайльс менял деньги в буфете, а мистер Смайльс пил нарзан.

— Выходит, что один из нас ошибается, мистер Педоти.

— Несомненно, мистер Лимм.

— Я готов держать пари, что Скайльс и Смайльс через три минуты будут здесь. Идет?

— Я не большой любитель держать пари, мистер Лимм. Но — идет.

— Десять шиллингов.

— Вам не гарантирована покойная старость, мистер Лимм. Отвечаю.

— Вынимайте ваши часы.

Лимм и Педоти полезли в жилетные карманы за часами. Ни у того, ни у другого часов не оказалось.

— Мои часы? — растерянно спросил Лимм.

— И мои тоже, — сказал Педоти.

— Куда бы они могли деваться?

— Я только что вынимал их.

Оба произнесли протяжно: «О-о-о»...

Около озадаченных иностранцев уже стоял Гусев. Оба глаза открыты. Сказал сурово:

— Сперли у обоих. Понятно вам?

— О, — проговорили Лимм и Педоти, — это непонятно.

— То есть как непонятно? Каждый сознательный гражданин сам должен смотреть за карманами, а не ходить разиня рот, затруднять госорганы искать ваши побрякушки. Работа уголовного розыска основана на классовом принципе, но в данном случае — ваше счастье. Вы наши гости, полезные буржуи, считайте — часы у вас в кармане.

Он пронзительно свистнул и с непостижимой расторопностью кинулся в толпу. Сейчас же оттуда выскочили два карманника, помчались по селедочным бочкам, через кучи колес, ящиков и лаптей. Гусев, казалось, появлялся сразу в нескольких местах, будто три, четыре, пять Гусевых выскакивало из-за тюков и бочек.

На румяных лицах Лимма и Педоти расплывались удовлетворенные улыбки.

— Оказывается, они умеют охранять собственность, мистер Педоти.

— Да, когда хотят, мистер Лимм.

Грузчики, привалившись к перилам, говорили:

— Проворный, дьявол.

— Не уйти ребятам.

— Засыпались ребята.

Хохотал меднолицый Парфенов, расставив ноги. В толпе ухали, гикали, свистели:

— Сыпь! Крой! Наддай! Вали! Вали!

И вот все кончилось: Гусев появился с обоими часами, лицо равнодушное, один глаз опять закрыт. Лимм и Педоти захлопали в ладоши:

— Браво! Поздравляем...

— Никаких знаков одобрения,— Гусев одернул кушак.— Работа показательная, для своих, а также для международных бандитов...

Внезапно что-то с треском обрушилось, покатилось, загрохотало на берегу. Крик. Тишина. Парфенов проговорил:

— Не иначе, как ящики с экспортными яйцами.

Из темноты появился капитан. Унылое лицо вытянуто, усы дрожали. Развел руками:

— Необыкновенное происшествие... Граждане, нет ли среди вас доктора?

Гусев, подскочив к нему:

— Ящики с экспортными яйцами?

— Да не с яйцами, с таранью... Черт их знает — обрушилось полсотни ящиков прямо на сходни... И уложены были в порядке... Впрочем, не я их укладывал, меня это не касается, я ни при чем...

— Сколько человек задавило?

— Да двух иностранцев,— говорю я вам.

— Мне это не нравится,— сказал Гусев.— До смерти?

— Ну, конечно, покалечило — шутка ли — ящиком-то... Да живые... А впрочем, мое дело вести пароход, за груз я отвечаю, а что на берегу...

— Господин капитан,— спросил Лимм,— мы поджидали здесь двух американских джентльменов...

— Ну да же, говорю вам — одному бок ободрало, другого вбило в песок головой, завалило рыбой, вытаскиваем...

— Это они, мистер Педоти,— сказал Лимм.

— Это Скайльс и Смайльс...

Педоти и Лимм поспешно пошли на берег. За ними — кое-кто из любопытствующих пассажиров, москвичи, капитан, Парфенов, Гусев. На конторке появился Ливеровский — шляпа помята, руки в карманах. Гусев, приостановившись, внимательно оглядывает его. Ливеровский, с кривой усмешкой:

— А еще хотите, чтоб к вам иностранцы ездили... Возмутительные порядки...

— У вас оторваны с мясом две пуговицы — заметили?

— А вам, собственно, какое дело? Убирайтесь-ка к чертям собачьим.

— Ладно, встретимся у чертей собачьих.— Гусев ушел. Ливеровский задрал голову к палубе, где, взявшись за столбик, стояла Эсфирь Ребус.

— Грубо работаете, Ливеровский,— сказала она.

— Плевать, зато чисто.

— Могу я, наконец, пойти спать?

— Спите, как птичка. Скайльс и Смайльс не поедут с этим пароходом...

— Очень хорошо. У Скайльса и Смайльса отобьет охоту иметь дело с этой грязной страной.

Эсфирь Ребус ушла в каюту. Ливеровский, захватив чемоданы,— на пароход. По палубе прогуливались Хопкинсон в отблескивающих пароходными лампочками черепаховых очках и профессор Родионов. Остановились, облокотились о перила, глядели, как из конторы вышел пароходный агент и за ним

молодая женщина в парусиновом пальто с откинутым капюшоном, за руку она держала хорошенькую сонную девочку. Рубя ладонью воздух, агент говорил со злостью:

— Гражданка, отвяжитесь от меня — билетов ни в первом, ни во втором, ни в третьем...

— Что же нам делать?

— Что хотите, то и делайте...

— Мы смертельно устали с моей девочкой — восемьдесят верст на лошадях...

— Пожалуйста, это меня не касается.

— Тогда уж дайте палубные места...

— То дайте, то не давайте... Сразу надо решать... Неорганизованные... Нате, два палубных...

Молодая женщина, не выпуская руки девочки, попробовала захватить чемодан, укладку, корзину с провизией, кукольную кроватку и картонку для шляпы. Но то либо другое падало — ничего не выходило. Тогда она сунула девочке кукольную кровать и с досадой:

— Можешь мне помочь, в самом деле. Не видишь, я мучаюсь...

— Не вижу,— сказала заспанная девочка.

— Держи кровать.

— Держу.

Но только мать подхватила кое-какие вещи, девочка стоя заснула, кроватка упала...

— Мука моя с тобой, Зинаида! Неужели у тебя нет воли, характера преодолеть сон? Возьми же себя в руки.

— Взяла.

— Держи кроватку... Идем, не спи...

И конечно, опять шаг — и девочка заснула, кроватка упала. У матери покатилась шляпная картонка, посыпалась провизия из корзиночки. Она села на укладку с подушками и всхлипнула. Зинаида проговорила:

— У самой нет характера, а на меня кричишь.

На девочку и на мать глядели с палубы Хопкинсон и Родионов. Когда рассыпались вещи, негр сбежал вниз, широко улыбаясь, сказал:

— Я вам немножко помогу.— И — девочке, присев перед ней: — Не бойтесь, литль беби, я не трубочист. Помуслите пальчик, проведите-ка мне по щеке. Я не пачкаюсь.

Девочка так и сделала — помуслила палец, провела ему по щеке.

— Нет, не пачкаетесь.

— Теперь ко мне на руки, дарлинг. Алле хоп! — Он поднял Зинаиду, подхватил чемодан и укладку, пошел на пароход. Женщина с остальными вещами, несколько замешкавшись, — за ним. На сходнях стоял профессор Родионов. Глаза изумленно расширены:

— Нина Николаевна...

Она приостановилась, посмотрела на профессора длинным взором. Казалось, ничуть не удивилась встрече. Подхватила удобнее картонку:

— Вы упорно не хотели меня узнавать, когда стояли там, на палубе, это понятно... Но не подойти к дочери!— Она слегка задышала.

— Нина, снова с упреков?

— Какой-то черный человек — и у того нашлось великодушие, взял на руки несчастную девчонку...

— Я не узнал, Нина, даю честное слово, ни тебя, ни Лялю... Не виделись два года. Ты так переменилась... Не к плохому... Ты откуда сейчас?

— Из Иваново-Вознесенска, где служу. Я в отпуску.

— Театр?

— Да.

— Позволь, донесу твои вещи. Как ты устроилась?

— Никак, на палубе.

— Нина, возьми же мою каюту.

— Ты один?— Это с искоркой радости.

— Нет, со мной Шура... В том-то и дело.

— Спасибо. Мы предпочитаем устроиться на палубе.

Она прошла на пароход. Родионов, раздумчиво глядя под ноги,— вслед за ней. На пристань возвращались пассажиры, бегавшие глядеть, как вытаскивают американцев из-под ящиков с таранью. Ка-

питан, все еще взъерошенный, сердито махал помощнику:

— Павел Иванович, давайте же гудок...

В стороне Гусев говорил Парфенову:

— Ящики с воблой сами не летают по воздуху.

— Не летают,— соглашался Парфенов.

— Ящики были сброшены.

— Так.

— Вопрос — кем и зачем?

— Не понимаю.— Широкое лицо Парфенова выражало простодушное удивление. Гусев — ему на ухо:

— Преступник едет на пароходе.

— Брось.

— Здесь подготовляется крупное преступление. Их целая шайка.

— Гады ползучие! — Парфенов рассердился, весь стал медный. — Да когда же они нас в покое оставят, проклятые?!

Хрипло, ревущим басом загудел пароход. По сходням мчался запоздалый пассажир. Ему кричали с парохода:

— Штаны потеряешь!

2

Седьмой час утра. В четвертом классе среди наваленных друг на друга сельскохозяйственных машин, ящиков с персидским экспортом, цементных бочек, связок лаптей спят женщины, дети, старые мужики — узлы, сундучки, пилы, топоры: это сезонные рабочие и хлебные мешочники. Под полом трясутся дизеля. Из люка несет селедочным рассолом.

Хмурый буфетчик уже открыл дверь в буфетную, где на винных полках — бутылки лимонада и бутафория, надпись — «папирос нет», и на отечном лице буфетчика (грязная блуза, беременный живот, в волосах — перхоть, в карманчике — чернильный карандаш), на лице его чудится надпись: «И вообще ничего нет и не будет, господа-товарищи»... Он отпускает чай.

Официант, тоже низенький, неопределенного возраста касимовский татарин, с подносами в руках ловко перешагивает через ноги, головы, детские грязные ручки с разжатыми во сне кулачками, уносится наверх.

В двери третьего класса видны сквозные койки в два этажа — рваные пятки спящих студентов, дамочкины свыше надобности оголенные ножки, взлохмаченные седые волосы уездного агронома, бледное лицо ленинградской студентки, тщетно разыскивающей пенсне под подушкой. Двое военных — в широчайших галифе и босиком — едва продрали глаза и уже закусывают. Кричит грудной, и от детонации пронзительно заливается где-то за койками другой ребенок. К умывальнику стоит очередь.

Профессор Родионов проснулся чуть свет от неопределенного чувства, будто накануне сделал какую-то гадость. За двенадцать лет революции он отвык от самоанализа — от занятия праздного, в некоторых случаях и антигосударственного. Два года тому назад он без намека на анализ разошелся с Ниной Николаевной. Жизнь с Шурочкой была сплошным накоплением фактов; он не пытался даже внести в них хотя бы какую-нибудь классификацию.

И вот на утренней заре проснулся он от неприятного сердцебиения. Сквозь жалюзи тянуло речной прохладой. За матовым стеклом двери горела в коридоре лампочка, слабый свет ложился на Шурочкино молодое лицо с открытым ртом.

Профессор глядел на нее, приподнявшись на локте, и еще определеннее почувствовал, что погряз в чем-то неподходящем. «Лицо очевидной дуры», — подумал — точно формула выскочила, и с застоявшейся силой в нем раскопошился самоанализ.

Он торопливо оделся и вышел на палубу, мокрую от росы. Разливалась оранжевая заря. На берегах — еще сумрак. Звезды маленькие. Тоска. Профессор чувствовал несчастье и заброшенность. Сел.

«Где-то здесь, рядом, отрезанные от меня, самая

близкая на свете душа Нина Николаевна и Зиночка... Бедные, гордые, независимые, невинные... А этот? Я-то? Обмусоленный Шурочкой... Пропахший «букетом моей бабушки»... Интенсивный петух! Бррр! Бррр!»

— Брр, брр, — довольно громко повторил профессор. Солнце поднялось над Заволжьем; на заливных лугах легли сизые полосы. — Бррр... Бесстыдник, интенсивный петух! Бррр...

За спиной его голая Шурочкина рука отодвинула жалюзи; заспанное лицо ее сощурилось от света. Зевнула:

— Чего ты бормочешь, Валька?

Он не повернулся, не ответил, только страшно расширил глаза. Она высунула из окна всю руку, дернула профессора за плечо.

— Чего спозаранку встал? Идем досыпать, — потянула его за щеку. — Ну, поцелуй меня, Валя...

Он вскочил. Встал у борта. Коротко, как топором:

— Нет!

— Живот, что ли, болит?

— Нет. Знай: я еще до рассвета убежал. С меня хватит...

— Чего! — Она удивилась. Но аппарат для думанья был у нее несовершенный. Зевнула. — А ну тебя... Неврастеник...

Шурочка вытянула нижнюю губку. Закрыла жалюзи. К профессору подходил Хопкинсон — выспавшийся, элегантный, в белоснежном воротничке. Высоко поднимая ноги в огромных башмаках, благосклонный ко всем проявлениям природы, протянул Родионову обе руки:

— Прекрасное утро. Я в восторге. А вы как спали, профессор?

— Так себе... Кстати, мистер Хопкинсон, вы не видели, где устроилась вчерашняя дама с дочкой?

— О, литль беби? Я как раз ходил и думал о них... Большое счастье быть отцом такой очаровательной девочки, дарлинг...

Родионов взял негра под руку, нажимая на нее, прошел четыре шага. С трудом:

— Друг мой... Так сложна жизнь... Словом, эта девочка — моя дочь.

Негр откинулся, у него заплясали руки и ноги. Но он был деликатным человеком:

— Простите, ради бога... Я очень глуп... Заговорить о такой деликатной истории... Простите меня, профессор...

Он закланялся, сгибаясь в пояснице. Профессору было мучительно стыдно.

— Вам, иностранцам, многое непонятно в нашей жизни... Впрочем, я и сам ничего не понимаю... Вы видите перед собой уставшего, истерзанного, раздавленного человека — если только это что-либо оправдывает... Я не желаю оправдываться! Я сам исковеркал свою жизнь... В сорок лет потянуло на молодое тело... Бррр! И то, что я сейчас с Шурой в каюте первого класса, пропахшей «букетом моей бабушки»... И то, что у Шуры на лице ни одной морщины... Понимаете, ни одной, как у поросенка... Гнусно... Два года напряженной половой жизни... Бррр. Бррр. Стыдно!.. Вы этого тоже никогда не поймете... Можете перестать подавать мне руку... — Отбежал, вернулся. — А эти две — Нина Николаевна и Ляля... Сама чистота... Бедные, гордые и невинные... И мне стыдно подойти к дочери... — Пальцем в грудь. — Сволочь... В конце концов ограничивайтесь со мной одними служебными отношениями.

Он убежал. Разумеется, негр ничего не понял — так, как будто его швырнули в соломотряс и перетряхнули все внутренности... Стоял выпучившись. Головастые чайки почти касались его крыльями, выпрашивая крошек.

Когда он, высоко поднимая ноги, все же двинулся по палубе, в двух соседних окошках отодвинулись жалюзи. Высунулись Ливеровский и Эсфирь Ребус, мечтательно положившая голые локти на подоконник.

— Это все упрощает дело, миссис Ребус...

— Оскорбительно, что наше доброе солнце также светит этой паршивой стране, — ответила она.

— Я говорю — профессор играет нам в руку.

— Какая связь у профессора с Хопкинсоном?..

— Ну как же: ведь это профессор Родионов вывез его из Америки.

— А-а...

— Профессор — агроном. Большой спец.

— А я думала, что это — выпущенный на свободу сумасшедший...

— Аа-а...

— Все русские такие...

— Аа-а...

— Мои сведения: у него большие знания, прекрасный работник, считается энтузиастом. Беспартийный. Его очень ценят. Но в личной жизни — окончательно запутался между двумя бабами. Эта его теперешняя, Шурка, — безработная девчонка с биржи труда... Бросил из-за нее жену с ребенком — вы их видели, они в четвертом классе. А теперь, кажется, не знает, как ему от этой Шурки отделаться...

— Какая грязь! По вашим сведениям — негр открыл ему секреты?

— Хопкинсон жил всю зиму на квартире Родионова, работал в его лаборатории... Все было очень засекречено.

— Нужно точно узнать, известны ли грязному профессору открытия Хопкинсона...

— Слушаюсь...

— Мы должны уничтожить все следы... Сюда идет человек с закрытым глазом. Он мне не нравится.

Действительно, лениво подходил Гусев. Руки в карманах галифе, верхняя часть туловища голая, на ногах — туфли. Эсфирь Ребус захлопнула жалюзи. Ливеровский закурил трубку. Гусев сел под его окном. Спросил, не повертывая головы:

— Задача была: угробить их совсем или только чтобы они не поехали с этим пароходом?

Ливеровский за его спиной, не выпуская трубки, ухмыльнулся двумя золотыми зубами.

— Вы один сбросили эти ящики или был сообщник?

Ливеровский молча вынул из пиджака бумажку и поднес к глазам Гусева. Тот взял, прочел:

— «Иосиф Ливеровский. Вице-консул республики Мигуэлла-де-ля-Перца»... Так... Это где это?

— Республика Мигуэлла-де-ля-Перца, коей я имею счастье состоять гражданином и вице-консулом, помещается в Южной Америке между Парагваем и Уругваем.

— Понятно, — сказал Гусев. — Сами-то русский?

— Конечно...

— У Деникина воевали?

— Разумеется.

— Теперь на шпионской работе?

— Это зависит от точки зрения.

— Угробить вас можно?

— Коротки руки.

— Ну, а две оторванные пуговицы от вашего пиджака. — Гусев внезапно повернулся. — Пуговочки от этого вашего пиджака, — показывает, — я нашел вчера между ящиками...

— Пуговицы? — удивленно проговорил Ливеровский, оглядывая себя. — Все целы... Терпеть не могу роговых пуговиц... Видите, из алобумина...

— Так... Когда переставили пуговички-то?

— Да вчера же вечером и переставил.

Разговор был полностью исчерпан. Гусев поднялся:

— Пойдем позавтракаем. — Швырнул пуговицы в Волгу, ушел.

Ливеровский рассмеялся и захлопнул жалюзи. Появились москвичи. Все в белых штанах, в морских картузах. Хиврин говорил:

— Я еду осматривать заводы, строительство... У меня задуман большой роман, даже есть название — «Темпы»... Три издательства ссорятся из-за этой вещи...

Пасынок профессора Самойловича, выставив с борта на солнце плоский, как из картона, нос, проговорил насморочно:

— В Сталинграде в заводских кооперативах мож-

но без карточек получить сколько угодно паюсной икры...

— А как с сахаром? — спросил Гольдберг.

— По командировочным можно урвать до пуда...

— Тогда, пожалуй, я слезу в Сталинграде, — сказал Хиврин. — Я хотел осмотреть издали наше строительство, чтобы получить более широкое — так сказать, синтетическое — впечатление.

Парфенов, еще более румяный и веселый, подошел к москвичам, указал рукой на берег:

— Видели? В прошлом году здесь было болото. А гляди, что наворотили! На версту — железо, бетон, стекло... Из-под земли выросло... Резиновый комбинат... А вон за буграми дымит гигантская, на все небо, вторая в Эсесер по мощности торфяная станция... И то же самое два года назад: болото, кулики комарье... Вот как...

Тем временем профессор Родионов пробирался по четвертому классу в поисках Нины Николаевны. Она умыла Зинаиду, вернулась на корму и заплетала девочке косу. Зинаида вертела головой, следя за чайками.

— Зинаида, стой смирно...

— Мама, птицы.

— Вижу, вижу... Не верти же головой, господи...

— Птицы, мама...

На корме под висящей лодкой, среди тряпья, медных тазов, кастрюль сидели цыгане, похожие на переодетых египтян. На покрышке трюма — русские: пятидесятилетний мужик со звериным длинным носом, утопшим в непрочесанных усах, без шапки, на босых ногах — головки от валенок. Рядом — дочь, мягкая девка в ситцевой кофте, линялая полушалка откинута на шею. Ей не то жарко, не то беспокойно: поминутно вынимает из соломенного цвета волос ярко-зеленую гребенку, чесанет и опять засунет. По другую сторону отца — человек в хороших сапогах, в сетке вместо рубахи, чисто выбритый, все лицо сощурено, локти на раздвинутых коленях — видимо, ему не доставляет удовольствия нетерпеливое движение берегов: едет по делу. Поодаль — четвертый му-

жик, с болезненно-голубоватым лицом и лишаями на лбу. Лениво надрезает ржавым ножиком заплесневелый хлеб, жует, с трудом проглатывая. Наверху, на палубе первого класса, стоят американцы — Лимм и Педоти, с биноклями и путеводителями.

— Я спрашиваю: для чего русским такие неизмеримые богатства? — говорит Педоти. — Кусок черного хлеба и глоток воды их, видимо, вполне удовлетворяют... Несправедливо, чтобы дикий, безнравственный и неприятный народ владел подобными запасами энергии...

— Вы правы, мистер Педоти: несправедливо и опасно...

— И у нас легкомысленно не хотят понять все размеры этой опасности...

Профессор Родионов появился на корме. Нина Николаевна оглянулась на него, чуть-чуть нахмурилась.

— Вот где ты, — сказал он.

— Да, как видишь... — Взяла дочь за плечи и решительно повернула к нему. — Зина, это — папа, ты не забыла его, надеюсь?

— Ляля, здравствуй. — Он присел перед дочерью; она насупилась, отодвинулась к матери в коленки. — Деточка милая, ты помнишь папу? — Заморгал. Нина Николаевна, отвернув голову, глядела на облако. Начала моргать и Зинаида, опустились углы губ. Тогда Нина Николаевна сказала:

— Зинаида, пойди с папой на палубу...

— Лялечка, пойдем кормить птичек, чаечек...

Нина Николаевна пододвинула девочку к отцу. Зинаида задышала. Он взял ее на руки, поцеловал и, оглянувшись на мать:

— А ты, Нина, не пройдешь наверх?

— Нет...

— По-моему, нам нужно очень, очень как-то поговорить...

Она отвернулась. Профессор ушел с Зинаидой на руках.

Заросший мужик со звериным носом, ни на кого не глядя, сказал натужным голосом:

— Пятьдесят лет работаю... Я не трудящийся? Это как это, по-вашему? — Человек в сетке и хороших сапогах, крутанув головой, усмехнулся. — По какой меня причине голоса лишают?

— А по той причине, что ты кулак.

— А это что? — показывает ему руки. — Мозоли, дружок...

— Креститься мне на твои мозоли?

— Перехрестишься, трудовые...

— Врешь, кулацкие...

— Тьфу! — плюнул заросший мужик. — Дятел-толкач... Разве такие кулаки-то?

— Вот то-то, что такие...

— Книжник ты, сукин ты сын!

Тогда дочь его, мягкая девка, сморщась, ущипнула отца за плечо:

— Да что ты, тятенька? Я тебе говорю — молчи...

— Нет, не такие кулаки-то... Я из навоза пятьдесят лет не вылезаю... Хлеб мой небось жрешь, не дависся...

— Это вопрос, — взглянув на него холодно, ответил человек в сетке. — Может, я и давлюсь твоим хлебом...

— Врешь!.. Дунька, врет... — И бородищей прямо в лицо колхознику: — Объясни мне эту политику...

— Голоса тебе сроду не дадим, потому что ты отсталое хозяйство и ты кулак, как класс... Батраков сколько держал?..

— Ну, держал... А тебе какое дело?.. Что ты мне в душу лезешь!

Дунька, сморщась, опять ущипнула отца за плечо.

— Да что ты, в самом деле? Я тебе говорю — молчи... — И человеку в сетке: — Чего ты с ним разговариваешь, он выпимши...

На верхней палубе появилась Шура. Навстречу ей вывернулся Ливеровский. Приподнял шляпу:

— Мы, кажется, ехали в одном вагоне.

— Чего? — Споткнулась, но вид Ливеровского был настолько предупредителен, что Шура приняла знакомство. — Я вас тоже видела...

— Знаете — отдыхает глаз глядеть на такую счастливую парочку.

— Чего?

— Я завистлив... Хожу все утро и завидую вашему мужу...

— Ах, вы про нас... Ну, многое вы знаете...

— Оставьте. Хотя удовлетворить хорошенькую женщину — не легкая задача... Правда.

— Чего? — Подавила смех. — Какая же я хорошенькая?

— Ну, ну... Отлично знаете себе цену.

— Вы кто — кинематографический артист?

Они прошли. Заросший мужик на корме опять заскрипел:

— Ты еще не работал. Ты на бумаге работал. Ты меня не переспоришь...

— Да тятенька же! — Дунька чеснулась зеленой гребенкой.

Человек в сетке ответил:

— Леший...

— Я — леший?

— Лешего социализму учить, так и тебя... Мы вас сломим...

— Антиресно!

— Да. — Дунька щипнула отца, да не выговорила, от волнения высморкалась в конец полушалки.

Заросший мужик:

— Хозяином был, хозяином и останусь. Свое добро не отдам, сожгу...

— Невежа, — с отвращением проговорил человек в сетке. — Колхоз по всей науке — высшая форма хозяйства. Упирайся, нет ли — все равно ты мужик мертвый...

— Так ты и скажи — силой меня в колхоз... Мы тебе поработаем — все дочиста переломаем, все передеремся... Уравняли!.. Я, знаешь, какой работник — за свое добро горло перегрызу... А другой — лодырь, пьяница, вор... Ему лень на себе блоху поймать... И ему даром мое добро отдай! Да я всех коров зарежу, лошадям ноги переломаю.

Дунька изо всей силы толкнула отца — и колхознику:

— Не видишь — он сумасшедший, не говори ты с ним...

Четвертый собеседник, болезненный мужик с лишаями на лбу, проговорил примирительно:

— Это правда: наука помогает...

— В чем она тебе помогает? — закричал заросший мужик.

— Она себя оправдывает.

— Наука?

— Мы все стали глубокомысленные. Взялись за работу сообща. По предписанию науки.

— Дурак сопатый...

— Это верно, за мной это утвердилось. С малолетства на хозяев работал, и работал плохо — с точки зрения, как у меня кила... Так и слыл — плохой человек... А наука меня от дела не гонит, я теперь у деда хлеб ем, езжу на тракторе... А без науки, по природе только кошка действует...

Заросший мужик плюнул. Опять замолчали. На верхней палубе проходит Родионов с Зинаидой.

— Папа, птицы! — говорит она.

— Чайки принадлежат к семейству пингвинов. Зиночка, они питаются рыбой и другими ингредиентами... Мясо их жестко...

— Папа, они голодные.

— Пойдем попросим хлебца, будем им кидать... Деточка моя, ты очень любишь маму? Мама — изумительная, цельная, редкая женщина...

Зинаида, насупясь:

— Мама не женщина...

— Разумеется, она прежде всего мама... Так вот, что я хотел вас спросить?.. В отношении ко мне сглажена несколько горечь? Постарайтесь вспомнить: в ее разговорах обо мне, быть может, проскальзывала родственность?

— Папа, не понимаю — чего ты? — протянула Зинаида.

— Боже мой, прости, моя крошка...

Снова, оживленные, появляются Шура и Ливеровский.

Они еще не дошли до кормы и не видят профессора. Шура говорит:

— Многие котируют меня как необразованную, но я далеко не то, что выгляжу... И ваша агитация про любовь меня смешит. Наука открыла, что так называемая любовь — только голый животный магнетизм...

— Так вот, ваш животный магнетизм и сводит меня с ума.

— Это мне многие говорят.

— Например, негр...

— Ну, вы просто, знаете, того-с... — покрутила пальцем у головы.

— Черт возьми, — прищурясь, говорит Ливеровский, — вот на такую женщину не пожалеть никаких средств.

— К сожалению, у нас в этом смысле не развернуться. Наше правительство просто нарочно раздражает публику... Пудру, например, продают — пахнег керосином.

— Что ж, он к вам каждый день шатается?

— Опять он про Хопкинсона! Слушайте, обыкновенно я принесу им чай в кабинет, и они там — бу-бу-бу... А сама либо звоню по телефону — у меня страсть разговаривать по телефону... Или я читаю иногда... Вы не поверите — я увлекаюсь марксизмом.

— Уверен, что негр втирает очки вашему профессору.

— И ошиблись. Они разбирают одну рукопись. Хопкинсон написал ее так, чтобы никто не понял, — шифром. Но слушайте — это государственный секрет! Обещайте — никому...

— Хорошо, — Ливеровский придвинулся, раздув ноздри. — При одном условии, — свинцово глядит ей в глаза.

Шура раскрыла рот.

— Чего?

— Приходите в мою каюту...

Шура слабо толкнула его ладонью:

— Что же это такое... Ой!

Споткнувшись, пошла на корму. Увидала профессора, опять открыла рот:

— Ой!

— Ты уже встала, собака? — Профессор слегка загородил собой Зинаиду. — Мы проезжаем довольно красивыми местами. — Заметив, что Шура уставилась на Зину, нахмурился. — Не присоединишься ли к нам?

— Это что за девочка? — уязвленно спросила Шура.

Профессор строго кашлянул:

— Гм... Эта девочка — дочь...

— Чья, интересно?

— Гм... Моя... — И строго глядя на головастую чайку: — Так вот, Зина, предложение...

У Шуры все личико стало, как у высунувшейся мыши:

— Ты с ума сошел, Валерьян! Где ты подобрал девчонку?

— ...предложение, — тверже повторил профессор, — пройти на носовую часть парохода...

Он повернулся. Ливеровский любезно приподнимал шляпу.

— Доброе утро, профессор, я уже имел счастье познакомиться с вашей супругой... Иосиф Ливеровский, вице-консул республики Мигуэлла-де-ля-Перца...

— Очень приятно, — сказал профессор, — вы попали в довольно неподходящую минуту... Вопросы агрикультуры, которые вас, несомненно, интересуют, несколько заслонены от меня беспорядком в личной жизни... Но я надеюсь быстро разобраться... — Поклонился. — До свиданья...

Обняв Зинаиду, строгий, научный, он пошел на носовую часть парохода. Ливеровский с кривой усмешкой:

— Девчонка едет в четвертом классе с матерью. Я ее видел — очень сохранившаяся женщина.

Шура проглотила нервный комочек. Самообладание вернулось к ней. Передернула плечиками:

— С чем вас и поздравляю: эту Нинку вся Москва знает — сплошная запудренная морщина. Сохранившаяся! Мне все теперь ясно — да, да, они заранее сговорились. Вот сволочь, устроили мне прогулку по Волге...

Ливеровский потянулся взять ее за спину:

— Красивая, гибкая, злая...

Шура вывернулась, как из трамвайной толкучки:

— Оставьте пошлости!

Но он настойчиво:

— Хотите — помогу?

Она дышала ноздрями.

— Все просто и мило: профессора от свежего воздуха целиком и полностью потянуло на лирику. Зрелище неопрятное, сочувствую вам. Профессора нужно вернуть с лирических высот на землю. Есть план.

— Какой?

— Эта самая рукопись, что вы рассказывали...

— Которая у Валерьяна в портфеле?..

— Принесете ее мне...

Шура молчит.

— Спрячем. — С неожиданным раздражением: — Ну, профессор будет метаться по пароходу в панике и — ему не до Зинки с Нинкой. Поняли?

Шурины глаза неожиданно раскрылись от восхищения:

— Поняла.

— Несите...

Тогда из окна обеденного салона медленно высунулась голова Гусева. Жуя осетрину, проговорил:

— Александра Алексеевна, увидите профессора — не забудьте сказать, что портфель его у меня... — Он показал портфель из кожи под крокодила: — И ключ от вашей каюты у меня...

Показал также и ключ. Шурка молча схватила его. Убежала. Ливеровский в это время закуривал. Бросил спичку за борт:

— Завтракаете?

— Завтракаю, — любезно ответил Гусев. — Присоединяйтесь.

— Ничего осетринка-то?

— Пованивает, но есть можно.
— Что еще скажете хорошенького? — спросил Ливеровский.
— А ведь в портфеле-то у него не рукопись, а копия.
— Да, я тоже так думаю. — Ливеровский равнодушно отвернулся.
На палубе появилась Эсфирь Ребус — свежая, улыбающаяся, в изящном платье из белого полотна. Она улыбалась не людям, даже не текущим мимо берегам, а чему-то неизмеримо высшему. Ливеровский сказал ей тихо:
— Влипли. Легавый настороже. Портфель у него.
— В таком случае и легавый отправится туда же...
Спокойствие ее было классическое. Она даже не остановилась. Ливеровский бормотал:
— Миссис Ребус, нам не справиться с троими...
— Если у нас не хватит сил, мы поднимем массы...
Глаза ее сияли навстречу Хопкинсону. Он двигался к ней, как щепка к водовороту. Его огромные башмаки отлетали от палубы, высоко подбрасывались коленки, в руках плясали бинокль и путеводитель. Белели воротничок, зубы и глазные яблоки. Что-то, видимо, было странное в улыбке миссис Ребус, в невероятно сдержанном волнении Хопкинсона. Иностранцы, стоявшие у борта, повернули головы:
— Мистер Лимм, мне сдается, что это тот самый негр, наделавший столько отвратительного шума в Америке...
— Бог с вами, мистер Педоти, его же линчевали, насколько мне помнится.
— Суд Линча был совершен над его братом...
— Вы правы, я совсем забыл эту грязную историю.
— Мне очень не нравится присутствие здесь Хопкинсона...
Миссис Ребус и Хопкинсон сошлись и стали у перил так, будто судьба их, наконец, свела. Эсфирь улыбалась чайкам. Хопкинсон поднес к глазам би-

нокль, рука его дрожала. Ливеровский перестал дышать, следя за этой встречей главных персонажей...

— Алле хоп, — хрустально-птичьим голоском произнесла миссис Ребус, бросая крошку хлеба чайкам.

Ливеровский заметил, что из окна салона по пояс высовывается Гусев, также весьма заинтересованный встречей. Ливеровский подскользнул к нему:

— Будьте столь любезны, передайте карточку завтрака.

— А я уже кончаю.

— По рюмочке пропустим?

— Уговор.

— Есть.

— Ничего не подсыпать в рюмку.

— Товарищ дорогой! — Ливеровский весь удивился. — Вы невозможно информированы об иностранцах. Мы же прежде всего культурны. Подсыпать яду в рюмки... Бульварщина!.. Где вы этого начитались?

Он заскочил в салон и сел у окна напротив Гусева.

— Алле хоп! — Эсфирь кидала крошки птицам. — Кроме этих птиц, вам что-нибудь нравится здесь? Что?

Негр перекатил к ней глаза, губы его сжались резиновыми складками.

— Вы говорите по-английски? — Она чуть сдвинула брови. — Что?

— Многого здесь я еще не понимаю, миссис, но я хочу любить эту страну. И я полюблю эту необыкновенную страну.

— Мне нравится ваш ответ, — она подняла брови и задумчиво: — Так должен ответить хороший человек... Алле хоп! — Бросила крошку птицам. — А я дурной человек. Я злая...

Негр положил руки на перила, шея его понемногу уходила в плечи. Не знал, что ответить. Это ей, видимо, понравилось.

— Странно, что привело вас в Советскую Россию? Мой вопрос несколько профессиональный: я журналистка. Вы можете называть меня Эсфирь.

Он торопливо, неловко поклонился.

— По собственному желанию сюда не приезжают. Сюда спасаются от беды. Это страна голодных мечтателей. Я приглядываюсь к лицам... — Жалобно: — О... Они свирепы, бесчеловечны, эти варварские лица безумцев... Здесь едят человеческое мясо и социализируют женщин...

— Неправда! — резко сказал негр.

Тогда она ответила так, будто коснулась его сострадательной рукой:

— Я бы хотела верить вместе с вами...

Он изумленно повернулся. Ее улыбка была нежна и невинна. Теплый ветер растрепал ее шелковистые волосы. Хопкинсон несколько подался назад:

— Миссис Эсфирь, я не понимаю — почему именно меня вы избрали собеседником? Мне это тяжело.

Казалось, после такой грубости разговор кончен, и навсегда. Хопкинсон закрыл глаза.

Но обольстительная американка придвинулась к нему и голосом нежным, как хрустальный колокольчик:

— Разве я намереваюсь оскорбить вас?

Тогда он сказал с ужасным волнением, даже пена проступила на углах губ:

— Я Абраам Хопкинсон.

— Я знаю.

— Мой брат, Элия, был линчеван в штате Южная Каролина из-за белой женщины... Она была похожа на вас...

— О боже... — И шепотом: — Алле хоп... Как это случилось?

Он подозрительно покосился, но ее глаза выражали только участие и печаль...

— Они оба служили в универсальном магазине... Мой брат не виноват в том, что у него под черной кожей человеческое сердце... Он любил эту девушку, не надеясь ни на что... Страшась себя, потому что страх передан нам черными матерями... Однажды он увидел ее в парке и сел на другой конец скамьи... Его ослепило счастье глядеть на эту обольстительную особу. Любовь нужно высказать, иначе она задушит... Было, должно быть, очень смешно, когда он

стал излагать девушке негрские чувства в парке, где полно гуляющих... Он поставил девушку в глупое положение — шокинг! Она очень рассердилась. Их окружила толпа. Несколько тысяч белых бешено закричали: «Линч!» Брат, весь истерзанный, но еще живой, был повешен на ветке дуба. В присутствии полисмена составлен акт о попытке насилия над белой женщиной и о законном возмездии...

Миссис Ребус молчала, носик ее обострился, губы — полоской...

— Теперь вы понимаете, почему я такой плохой собеседник для вас, миссис Эсфирь...

— Нет, не понимаю... Не вся Америка принимала участие...

— Нет, вся! Прокурор и сенат отклонили мою жалобу: суд Линча — законный суд! Мои письма не поместила ни одна газета... Тогда я сам выступил с обвинением американского народа. За пять тысяч долларов статья была напечатана... На меня кинулась американская пресса, как стая шакалов... Я был лишен кафедры, выгнан из всех научных учреждений... Ку-клукс-клан приговорил меня к смерти. Несколько сот негров в разных городах жестоко поплатились за мои слова о справедливости... Я поклялся отомстить... Миссис Эсфирь, сюда я приехал для мщения... Но здесь мои маленькие чувства стали казаться не заслуживающими большого почтения... Здесь мои знания я решил употребить на более полезное дело... Пусть американцы спят спокойно — я перестал о них думать...

Он засмеялся. Миссис Ребус молчала, опустив глаза.

— Пройдемся, — вдруг сказала она, — мне стало тяжело от вашего рассказа...

— Я немножко удивился, — проговорил он, совсем сбитый с толку. — Я был уверен, что вы не захотите даже дослушать...

— Женщины — странные существа, это правда...

И они медленно пошли по палубе. В окне салона Гусев говорил Ливеровскому:

— Шаг за шагом влипнете, безусловно.

— Ни одного неосторожного шага, ни одного доказательства, товарищ Гусев.

— Случай с портфелем?

— Отрекусь. О портфеле первый раз слышу.

— Свидетельница.

— Грош цена: допросите Александру Алексеевну, она понесет такую бурду — с ума сойдете...

— Все-таки придется вам перейти к уголовщине.

— Придется...

— И закопаетесь.

— Никак нет. Вам неизвестно главное — наша цель.

— Узнаю.

— Не успеете.

— Сегодня ночью? — перегнувшись через стол к его лицу, спросил Гусев.

— Скажу «да» — не поверите; скажу «нет» — тоже не поверите...

— Правильно. Так как же, стоит посадить на пароход наряд милиции?

— Искренне говоря — нет: тогда мы отложим дело, свернемся.

— Выпьем! — Чокается.

Мистер Лимм, стоя спиной к перилам, кивнул на окно салона и сказал Педоти:

— Любопытно, что они пьют?

— Что-то белое и едкое.

— И ведь с аппетитом, мистер Педоти.

Педоти вздохнул. Из другого окна салона, где за столом завтракали москвичи, высунулся писатель Хиврин и помахал рукой иностранцам:

— Водка, водка... Присаживайтесь к нам, мистеры...

— Ну их к черту! — Гольдберг схватил руку Хиврина. — Честное слово, опасно, товарищи...

— Со мной не бойся... Я должен изучать европейцев: часть моего романа происходит в Европе... — Другой рукой схватил за спину пасынка профессора Самойловича. — Казалупов, скажи им по-английски...

— Алле, тринкен, тринкен, — опять зовет Хиврин. — Водка!

Лимм и Педоти переглянулись:

— Мне кажется — неудобно, нужно пойти, мистер Педоти.

— Сегодня воскресенье, я бы не хотел начинать мою поездку с безнравственного поступка.

— Но у них пятидневка, воскресенье отменено.

— А... Гм...

На палубе появилась Нина Николаевна. Видимо, она пришла за Зинаидой. Педоти и Лимм, приподняв шляпы, дали ей дорогу и пошли в салон. Нина Николаевна позвала:

— Зина...

Сейчас же в окне отодвинулись жалюзи, и выглянула Шура. Женщины некоторое время глядели друг на друга...

— Здравствуйте, Александра Алексеевна...

— Здрасте, Нина Николаевна...

— Ищу Зинаиду...

— С отцом прохаживается... Вы скоро слезаете?

— Мы едем до Астрахани...

— Интересно! — Шура сразу чем-то отдаленным стала похожа на козу.

Нина Николаевна спокойно:

— Александра Алексеевна, я не покушаюсь на ваше счастье. Мне больше, чем вам, тяжела эта встреча...

— Чего?

Нина Николаевна ушла. Снова, обогнув пароход, появились миссис Ребус и Хопкинсон, строго поблескивающий очками.

Он говорил:

— Почему только человек с белой кожей должен считать себя хозяином мира? Желтых, красных, черных численно больше. В нас точно такой же процесс пищеварения, нам так же повинуются машины... Белые — хозяева, мы — рабы. Белые овладели энергией, изобрели машины, построили семнадцатидюймовые пушки и завладели рынками... Мы говорим спасибо и берем свою часть...

— Мистер Хопкинсон, вы — ребенок, которого учат разбойничать.

— Учат справедливости...

— За эти две недели в ушах трещит от неразрешимых вопросов... Вон те,— указывает на корму,— едят черный хлеб с луком и решают мировые проблемы; у самих нет сапог и не заштопаны лохмотья... Разве возможна жизнь без комфорта? Зачем тогда жить? И высший комфорт, который мы позволяем себе, — это наши предрассудки. Они охраняют нас от грязи и злословия, как зонт от дождя... А вы вздумали посягнуть на наши предрассудки. Зачем?.. Если бы стали утверждать, что по воскресеньям не нужно ходить к обедне и петь гимнов или что Дарвин прав, ведя род человека от орангутанга, на вас бы обрушились с такой же энергией... Вы мечтаете о мщении, а у нас горько сожалеют о вашем отъезде... Уверяю вас, Америка слишком высоко ценит ваш гений, чтобы не загладить какой угодно ценой эту размолвку...

— Я немножко не понимаю, — сказал Хопкинсон, — менее всего понимаю вас...

— О, вы плохо знаете американских женщин. Мы старимся, сожалея о неиспользованных минутах счастья, этой ценой мы покупаем комфорт. Тысяча демонов закована в нас, но все же не так крепко, как это принято думать. Под надменной маской мы медленно сгораем от желания сбросить тесную одежду — предрассудки... Хотя бы на час в жизни... Хотя бы одного из тысячи бесенков выпустить на свободу...

Она сказала это просто и замедленно, как женщина, без стыда раздевающаяся перед мужчиной. Хопкинсон мучительно подавлял в себе то, что неминуемо должно было возникнуть в нем от слов и близости этой женщины. Затылок его налился кровью:

— Вы так же откровенны со своей собакой, мне представляется, миссис Эсфирь...

— Нет, мистер Хопкинсон, этих мыслей я не поверяю даже моей собаке...

Он откинулся как от удара.

— Самое соблазнительное в вас то, что вы взрослый ребенок... — Засмеялась. — Вы поняли: настал мой час в жизни... Я захотела быть голой перед един-

ственным человеком... Не стоит думать почему. Желание...

Хопкинсон поднес руку к лицу, очки его упали за борт.

— Так будет свободнее, без очков... В тумане...

— Или вы...

— Нет, не лгу, я не слишком развратна. Возьмите мои руки.

Он схватил ее руки.

— Ледышки? Вот что значит — раздеваться перед мужчиной...

— Миссис Эсфирь... — У него стучали зубы. — Хотя бы для того, чтобы не быть сейчас смешным... я уйду.

— Конечно... Я хочу вас видеть владеющим собой. Мы встретимся после заката. Это час покоя...

Хопкинсон нагнул голову и пошел, близоруко натыкаясь на стулья. Миссис Ребус не спеша закурила папиросу. От носа по палубе шли профессор, Зинаида и Нина Николаевна. Профессор громко говорил:

— Нам было очень радостно и хорошо. Представь себе, Нина, я, оказывается, превосходный отец, то есть любящий отец... Это меня удивило...

— Я думаю, нас не выгонят из салона. Зинаида хочет есть...

Поморгав, профессор спросил робко:

— А мне можно с вами пообедать?

— Нет, — спокойно ответила Нина Николаевна. — Это может быть понятно превратно...

— Мне несколько тяжело от твоей слишком... рассудительности, Нина.

— Я не могу разговаривать как любовница.

— Понимаешь...

Они уже входили в дверь салона.

— Какой-то нужно сломать лед...

Низким басом заревел пароход и начал поворачивать к берегу... В окна салона стали высовываться пассажиры. Хиврин, отмахивая со лба мокрые волосы:

— Что это такое? Какая остановка?

Мистер Лимм, лоснясь улыбкой:

— Русский водка, хорошо... Будем покупать водка...

Казалупов:

— Мне сообщили, на этой остановке яйца — рубль восемь гривен...

Хиврин:

— Вылезаем... Мистер Педоти, яйца, яйца покупаем.

Мистер Педоти:

— Мы все покупаем...

Мистер Лимм:

— Ура, русский Волга!

Стоявший у борта Парфенов указал на приближающийся берег:

— Бумажная фабрика, махинища... Два года назад: болото, комары... Понюхайте — воняет кислотой на всю Волгу. Красота! Двести тонн целлюлозы в день... Это не жук чихнул...

3

Плыли теплые берега. Плыли тихие облака, бросали тени на безветренный простор воды, всегда прегражденный лазурной полосой. Нешевелящиеся крылья чаек отсвечивали зеленью; то одна, то другая падала за кормой в пенный след парохода.

Влажный ветер трепал скатерти, облеплял ноги у женщин, разглаживая морщины, вентилировал городскую гарь. Солнечные зайчики играли на пивных бутылках. Дрожали жалюзи. Босой матрос мыл шваброй палубу.

Волга ширилась. Берег за берегом уходили в мглистую даль. На воде, такой же бледной, как небо, лежали плоты. От волн парохода они скрипели и колыхались, покачивая бревенчатый домик с флагом, где у порога в безветренный час кто-то в линялой рубашке играл на балалайке.

Шлепал колесами желтый буксир, волоча из последних сил караван судов, высоко груженных досками, бревнами, серыми дровами. Близко проходила

наливная баржа с нефтью, погруженная до крашенной суриком палубы. В лесистом ущелье дымила железная труба лесопилки, по склону лепились домики, и на горе за березами белела церковь с отпиленными крестами.

Странным после городской торопливости казалось неторопливое движение берегов, облачных куч над затуманенной далью, коров, помахивающих хвостами на отмели, мужика в телеге над обрывом... Хотелось быстрее, быстрее завертеть эту необъятную панораму... Но ветер ласкал отвыкших от ласки горожан, распадались набитые на мозг обручи черных забот, и откуда-то — что уж совсем дико — появлялось забытое давным-давно ленивое добродушие... Появлялся неестественный аппетит. На остановках скупалось все, что приносили бабы из съестного, — пироги с творогом и картошкой, яйца, топленое молоко, ягоды, тощие куриные остовы...

Переполненная впечатлениями была лишь верхняя палуба. Нижней — четвертому классу — было не до того: она опоражнивалась на каждой остановке — вываливалось по нескольку сот мужчин и женщин, и столько же впихивалось, в лаптях, с узлами, сундуками и инструментами, в тесноту и селедочную вонь.

Капитан уныло посматривал с мостика на эти потоки строителей. На сходнях крутились головы в линялых платках, рваные картузы, непричесанные космы, трещали корзины, сундучки, ребра. Два помощника капитана сбоку сходней надрывались хрипом:

— Предъявляйте билеты, граждане! Куда прете без очереди!

Грузились и выгружались партии рабочих на лесозаготовках, на торфяных разработках, на строительстве городов и фабрик. Одни уходили на сельские работы, другие — из деревень на заводы...

Солнце садилось. Лимонный закат медленно разливался над Заволжьем, над лугами и монастырскими рощами, над деревнями и дымами строительства.

— Как в котле народ кипит... Строители, добром

их помянут через тысячи лет, — говорит Парфенов, облокотясь о перила.

Стоящий рядом капитан ответил мрачно:

— Полагается триста человек палубных, а мы сажаем до тысячи. Вонища такая, что даже удивительно. Ни кипятку напастись, ни уборных почистить, прут, как плотва...

— А ты раньше-то, чай, все богатых купцов возил, шампанским тебя угощали...

— Да, возил... В восемнадцатом году. Сам стою на штурвале и два комиссара справа, слева от меня, и у них, дьяволов, вот такие наганы. Подходишь к перекату, и комиссары начинают на тебя глядеть... А за перекатом — батарея белых... И так я возил... Всяко возил...

Капитан отошел было, Парфенов со смехом поймал его за рукав:

— Постой... Да ведь это с тобой я никак тогда и стоял... На пароходе, как его, «Марат». Не «Марат»?..

— «Царевич Алексей» по-прежнему, на нем и сейчас идем...

— Чудак! Вспомнил! — Смеется. — Я еще думаю: морда у него самая белогвардейская, посадит на перекат... Да не обижайся... А ведь я чуть тебя тогда не хлопнул, папаша...

Капитан, отойдя, крикнул сердито:

— Давай третий!

Пароход заревел. На палубу поднимались нагруженные продуктами москвичи и иностранцы. Лимм, потрясая воблой:

— Риба, риба...

Хиврин одушевленно:

— Под пиво, мистер, — национальная закуска.

Педоти:

— Закажем колоссальную яичницу...

Казалупов:

— Шикарно все-таки, скупили весь базар.

Гольдберг:

— Но цены, цены, товарищи...

Вдоль борта озабоченно бежала Шура.

— Валерьян! Купил? — звала она, перегибаясь. — Малины? Это же невозможно... Колбаса, колбаса, три двадцать четыреста грамм... Вот люди же купили! И совершенно не лошадиная...

— Ну и пусть его покупает малину, — говорит Ливеровский, подходя. — Стоит отравлять себе дивный вечер...

У Шуры пылали щеки:

— Не в малине дело, он прямо-таки липнет к этой Нинке...

— Нам лучше...

— Слушайте, чего вы добиваетесь цельный день?— Поднимает ладонь к его лицу. — Да уж смотрите, прямо неприлично... — Шепотом: — Капитан глядит на нас...

— Едем со мной в Америку.

— Чего? Ну, вы нарочно...

— Ух, зверь пушистый, — говорит Ливеровский выразительно.

— А в самом деле, в качестве чего я могла бы поехать в Америку?

— Секретаря и моей любовницы...

— Временно?

— Ну, конечно.

— А то все-таки бросить Вальку — такого желания у меня нет, я его обожаю... Но я еще, знаете, страшно молодая и любопытная...— Внезапно с тоской: — Обманете меня, гражданин вице-консул?

— Возьмите это... — Он всовывает ей в руку листочек бумаги. — Крепче — большим и указательным...

Шура растерянно берет листочек.

— А его это? Зачем?

— Здесь немножко сажи с воском. Готово. — Берет назад у нее листочек. — Вы поедете в Америку и будете вести роскошную жизнь — гавайские гитары и коктейли... Но сейчас должны...

— Сердце очень бьется у меня.

— Сейчас возьмите у Гусева портфель и принесите мне. Поняли: портфель украсть — и тайно мне в каюту?..

Шура шепотом:

— Гражданин вице-консул, как же это вы меня котируете?

— Как соучастницу...

— Вы бандит?

Ливеровский, оглянувшись, и ей на ухо:

— Я шпион, агент международного империализма.

Шура молча затряслась, заморгала, начала пятиться.

— Случайно встретила, и ничего общего, сами привязались...

— Поздно, душка. — Он осклабился и, помахивая записочкой перед Шуриным лицом: — Не донесете...

— Ей-богу, ей-богу, донесу...

— Знаете, что здесь? — Показывает записочку. — Здесь — ваша смерть. — Читает: — «Добровольно вступаю в международную организацию Ребус, клянусь подчиняться всем директивам и строжайше хранить тайну, в чем прилагаю отпечаток своего большого пальца...» Вот он!

— Ай, — тихо визгнула Шура, взглянув на палец, измазанный в саже, — сунула его в рот. Ливеровский спрятал записочку в бумажник.

— Успокойтесь, поплачьте, для утешения — флакон Коти... — Вынув из жилетного кармана, сует ей в руки флакончик духов. — Хоть слово кому-нибудь — смерть...

Он отходит, посвистывая. Шура дрожащими пальцами раскупоривает бутылочку, всхлипывает. Хлопотливо проходит профессор с пакетом малины:

— Ищу Зину... Представь — малина чрезвычайно дешева, купил одиннадцать кило...

Шура всхлипывает...

— Что у тебя за бутылочка?

— Не спрашивай...

— Прости, прости... В тайны личной жизни не вмешиваюсь... Но все же... — запнулся, просыпал часть малины, покашливая, оглядел Шуру. Она припухшими губами:

— Ничего не скажу, ничего... Пусть я погибла, ни слова не скажу...

— ...Гм... Как ты погибла? Гм... Физически или пока только морально? Не настаиваю... Но, по-моему, несколько быстро погибла... В то время, когда я... Гм... Никак не могу решиться проверить самого себя — вернее: количество обязанностей перед одной женщиной и количество обязанностей перед другой... Ты очень быстро решилась... Это несколько меняет отношения слагаемых... Гм... Собака, прости — для уточнения факта... — Сразу потеряв голос: — Ты отдалась мужчине, насколько я понял?

— Иди к своей Нинке, иди, иди...

Она убежала. Профессор просыпал еще несколько малины. С мячиком подбежала Зина.

— Папа, малина...

— Да, малина... Замечательно, что, несмотря на видимую закономерность и порядок, жизнь как таковая есть глубочайший беспорядок... Никакой системы нельзя подвести в отношения между людьми, то есть я никогда не могу быть уверен, что А плюс В плюс С дадут нужную сумму, и если ввести даже некоторый коэффициент неопределенности — К, то и тогда все полетит к черту...

— С пола можно есть?

— Можно... Но не подавись — в малине много костей... Зина, пойдем сейчас к маме... Я решил...

Профессор потащил Зинаиду к трапу — на нижнюю палубу. Оттуда навстречу поднимался негр. Схватив Родионова за локоть (профессор крепче прижал к груди пакет с малиной), Хопкинсон сказал негромко и раздражительно:

— Я должен немедленно покинуть пароход... Я хотел сойти на этой остановке, но здесь — ни железной дороги, ни лошадей...

— Ближайшая остановка — завтра утром...

— Тогда я погиб!

— Очень странно... — Профессор подхватил пакет. — Здесь многие испытывают то, что они будто бы должны погибнуть... И некоторые уже погибли... В особенности удивляет торопливость, с которой... —

Он задрал бородку и глядел из-под низа очков. — Очевидно, излишек кислорода, а?..

— Ночь! Впереди — ночь! — выкатив глаза, повторил Хопкинсон.

— Я могу быть полезным?..

— Мне нельзя помочь... — Он улыбался, но длинные руки дрожали. — Меня нужно сжечь живым! Убить во мне черную кровь!.. Дорогой профессор... — Он увлек Родионова к перилам...

Профессор от волнения уронил пакет, Зинаида всплеснула руками:

— Папа, ты с ума сошел...

— Сейчас, сейчас, детка, к твоим услугам...

— Дорогой профессор, возьмите от меня известную вам рукопись, ту, что мы расшифровывали, — твердо проговорил Хопкинсон.

— Такая ответственность! Нет, нет!

— Я не имею права держать здесь, — рванул себя за карман пиджака, — счастье целого народа... Я боюсь... Я буду бороться... А если не хватит сил? Я буду преступником!..

Тогда Родионов наклонился к его уху:

— Ничего не понимаю...

Негр сунул ему в карман клеенчатую тетрадь.

— Берите... А я постараюсь сделать сто кругов по палубе энергичным шагом...

Пока Родионов засовывал рукопись, негр уже отбежал: на тускнеющем свете заката пронеслась его худая тень — руки в карманах, плечи подняты, рот оскален до ушей —и скрылась на носу за поворотом. Профессор поднял палец:

— Зинаида, на пароходе происходит что-то неладное.

Он и Зинаида спустились на корму. Наверху шел Гусев с папироской. Из освещенного салона выкатились Ливеровский, Лимм, Педоти и Хиврин, говоривший возбужденно:

— Обычное русское хамство... Вдруг больше не подают водки.

— Мы не пьяны, нет, мы не пьяны! — кричал Лимм.

И Педоти, схватившись за Хиврина:

— Я требую коньяк, они должны подавать. Это паршивые порядки у вас в России!

— Идем вниз к буфетчику, там все достанем, — напористо-громко сказал Ливеровский.

И Лимм:

— Вниз, к буфетчику! Хорошо!

Педоти:

— Потребуем водку с мадерой!

Хиврин с энтузиазмом:

— Люблю иностранцев, расстреливайте меня!

Все четверо устремляются вниз, к буфетчику, лишь Ливеровский, покосившись на Гусева, задерживается, закуривает, Гусев вполголоса:

— А это зачем понадобилось?

— Тащить иностранцев в буфет?

— Иностранцев ли?

— Подготовка за пятнадцать ходов, даю шах и мат.

— Мне?

— Вам.

— Ливеровский, я вас решил арестовать.

— Когда? — спросил он поспешно.

— В Самаре, завтра...

— Вам же влетит за это.

— Знаю. Наплевать! Не могу иначе.

— Ай, ай, ай! Так, значит, запутались окончательно? Струсили? Не ожидал, не ожидал...

— Мне неясен один ваш ход.

— Именно?

— Пойдете ли вы на мокрое дело?

— Догадывайтесь сами...

— Хорошо. Я тоже иду вниз.

— Не боитесь?

Гусев шагнул было к трапу, но остановился, медленно повернув голову — так неожиданно был странен этот вопрос. Нахмурился:

— Ах, вот как вы...

— Я сейчас за папиросами — и вниз.

Ливеровский хихикнул, отошел. Гусев медлен-

но стал спускаться. В окне отодвинулись жалюзи. Эсфирь Ребус спросила:

— Алло, Ливеровский?

Он на секунду присел под ее окном:

— Только что сели на этой остановке двое, наши агенты.

— Надежны?

— Как на самого себя... Бывший помощник пристава Бахвалов и второй — корниловец Хренов, мой сослуживец. Инструкции им уже даны.

— Нужно торопиться.

— Я бегал вниз. Настроение подходящее. Мы еще подогреем.

— Нужно сделать все, чтобы негра взять живым.

Ливеровский развел руками:

— Постараемся. Это самое трудное, миссис Эсфирь...

— Это настолько важно... В крайнем случае я решила пожертвовать собой...

Ливеровский живо обернулся к ней.

— Если отбросить кое-какие предрассудки, не трудно вообразить, что мистер Хопкинсон может даже взволновать женщину...

Говоря это, медленно затянулась папиросой. Он молча встал, отошел к борту и плюнул в Волгу. По палубе неслась тень негра — белые зубы, белый воротничок.

— Уйдите... Совсем уйдите, — сказала Эсфирь.

Ливеровский нырнул вниз по трапу. Под окном миссис Ребус негр споткнулся, как будто влетел в сферу магнитных волн, останавливающих магнето. Он сделал неудачное движение к борту. На секунду вцепился в поручни — рот раскрыт, глаза как у быка. Бедный человек хотел сделать вид, что спокойно любуется природой. Но сейчас же уже нечеловеческой походкой, подпрыгивая, помчался дальше... Эсфирь продолжала курить, глядела на закат, и, если бы не струйка дыма между пальцами ее узкой руки, могло показаться, что эта красивая женщина в окне парохода, это неподвижное лицо с красноватым отсветом в глазах лишь приснилось черному человеку... Не до-

бежав до кормы, он сделал поворот, схватился за голову и начал возвращаться, руки полезли в карманы штанов, походка бездельника-волокиты... Только в пояснице какая-то собачья перешибленность. Должно быть, нелегко ему доставалась борьба с дикими чувствами, кипевшими в его артериях... Так же медленно навстречу ему Эсфирь поворачивала голову. О, если бы заговорила. Нет, продолжала спокойно молчать.

— Душный вечер на Волге, — с трудом проговорил он, осклабился, встал на каблуки, закачался. — Вы, кажется, скучаете? — Короткое движение, как будто хватаясь за курчавые волосы. — Отчего вы так странно молчите... Миссис Эсфирь...

— Я сказала все, что может сказать женщина... Дело за вами...

Тогда с кашляющим стоном он кинулся на скамью под окном, схватил руку миссис Эсфирь, прижал к губам:

— Я хотел бежать... Я хотел кинуться в воду... Я искусал себе руки... Молчу, молчу... Вы все понимаете... Маленький человечек вздумал бороться с Нулу-Нулу... Он миллионы веков напитывал нашу кровь яростью... Нулу-Нулу в полдень встает над лесом, над нашей жизнью. Ствол баобаба, глаз взбешенного тигра — Нулу-Нулу... Он сжег мой разум... Мою совесть... Мою человеческую гордость... Все, все в жертву ему...

Бормоча всю эту чушь, Хопкинсон встал на скамье на колено и глядел миссис Ребус в лицо с полуопущенными веками.

— Еще! — сказала она.

— Поверните ключ в двери... Я приду...

— Еще о Нулу-Нулу...

— Он стоит над миром... Все горит — травы, леса, земля... Все в дыму, в мареве. Нулу-Нулу нюхает дым... Мужчина приближается к женщине... «Хорошо», — говорит Нулу-Нулу... И он жжет их... Огонь вылетает у них изо рта, из глаз, из животов...

Жалюзи вдруг захлопнулись. Хопкинсон оборвал на полуслове, схватился за лицо и, раскачиваясь:

— Слепой идиот, старый аллигатор, глухая птица Кви-Кви... Трех линчей мало тебе, мало...

Эсфирь сейчас же появилась на палубе. На плечах — испанская шаль.

— Вот ключ от моей двери... Вы получите его в свое время, — оглянулась направо, налево — и шепотом: — Сейчас ко мне нельзя, позднее... Абраам, поговорим серьезно... — С улыбкой провела ладонью по его щеке. — Нулу-Нулу, вы мне нравитесь... Будьте все время таким... Абраам, я решила... Я связываю мою жизнь с вашей. Вы гениальный человек... А ведь рука женщины, как лапа хищной птицы... Я хватаю добычу — это мое, вы весь мой! Таковы женщины... Абраам, расскажите о вашем замечательном открытии... Какой сладкий ночной ветер, подставьте лицо, он освежает... Что главное в вашем открытии? Из-за чего в Америке такой переполох?

Складывая руки, как насекомое богомол, Хопкинсон беззвучно смеялся:

— Я не способен, я не способен, все благоразумное выскочило из моей головы...

— Когда женщина отдает себя всю, она хочет быть гордой, — сурово сказала Эсфирь. — Предположите, что я честолюбива.

— Хорошо... — Он сжал руки, будто пожимая их страстно. — Ничего гениального нет... Я напал на это случайно... Если семена растений подвергнуть действию азота при пяти атмосферах и температуре в тридцать градусов Цельсия, то энергия, заключенная внутри семени, увеличится в десять раз...

— Азот, тридцать градусов и пять атмосфер, — повторила Эсфирь.

— Еще и фосфорный ангидрид и окись углерода, легко отдающая частицу «С»... Все это в малых примесях... Принцип: предварительное обогащение не почвы, а самих семян...

— А? — Эсфирь даже вскрикнула тихо. — Поняла...

— Растительная сила так невероятно увеличивается — в лето вы собираете три урожая...

— Чудовищно...

— Для Америки... Для всего капиталистического хозяйства. Они борются за цены на пшеницу, они погибают от урожаев. Американские фермы молят бога послать саранчу на поля. В Африке оставляют картофель гнить в земле. Хлопок больше невыгодно сеять. Парадокс! Гибель от изобилия... А я предлагаю увеличить урожай в десять раз... Поэтому они и пытались меня убить и обокрасть...

— Друг мой... — Эсфирь схватила его руку. — У вас больное воображение... Большевики лгут, лгут... Ваш приезд в Америку будет национальным праздником...

Грудь миссис Ребус прижалась к его плечу. Он замолчал, откинув голову, вдохнул влажный ветер, летящий с берегов над звездами, опрокинутыми в темной воде.

— Мне не хочется просыпаться, — сказал он тихо. — Вы — одна из этих звезд, упавшая на черную землю...

Она с воркованьем:

— Абраам, я хочу спасти вас...

— Зачем? Я спасен... Глядите... — Он указывает на отражения звезд. — Мы летим на другую планету, звезды вверху и внизу... Приветствуем новую землю, этот девственный мир... Здесь сурово и скудно... Труд священен... Слабых не прощают, за ошибки карают жестоко, но над всем — возвышенные замыслы... Единственное место в мире, где трудятся во имя великих замыслов... Здесь строят новое жилище человечеству... Это очень трудно и тяжело, но я тоже хочу быть пионером на этой земле... Я вас могу любить особенно, с глубокой нежностью, мы сделаем много хороших дел... Мы насыплем элеваторы доверху превосходным зерном, освободим от забот о хлебе усталого человека. Это большое дело... И покажем им, — ткнул пальцем в звезды, — что правда здесь... Миссис Эсфирь, с вами вдвоем...

— Это ваше открытие напечатано где-нибудь? — тоненьким голосом спросила Эсфирь.

— Конечно, нет... Весь процесс обработки зерна

записан шифром. — Испуганно схватился за карман, вспомнил. — Да, в надежном месте...

— У профессора?

Он взглянул удивленно:

— А почему вы спросили?

— Мне близко и дорого все, что касается вас...— Взяла его под руку, прижалась.

И снова у него голова пошла кругом...

— Мы еще погуляем немного? Я отдам вам ключ с одним условием.

— Я бы мог сейчас... — Наклонился к ней. — Мог бы плясать с копьем в руке...

Она засмеялась, и они молча пошли к носу, где ветер затрепал юбку Эсфири, взвил концы ее шали, и Хопкинсону пришлось обнять ее плечи, чтобы помочь преодолеть ветер...

— Какие же ваши условия, миссис Эсфирь?

— Вы возвращаетесь в Америку.

Он задохнулся. Поднял руки над головой...

В помещении буфетчика тем временем шло веселье. Иностранцы потребовали льду и, наколотив его в большие фужеры, пили водку с мадерой. Хиврин сверх меры восторгался заграничным обществом — должно быть, представлялось, что сидит в Чикаго, в подземном баре у спиртовых контрабандистов...

— Гениально! — кричал он. — Лед, водка и мадера! Коктейль! — И буфетчику: — Алло, Джек, анкор еще... Хау ду ю-ду!

— Не надо кричать, — говорил Педоти, — пить нужно тихо.

— Русскую душу не знаешь... Тройка! Цыгане! Хулиганы!

Лимм, которого научили по-русски:

— Ах ты, зукин зын комарински мужик...

— Урра! — вопил Хиврин.— Гениально, мистер. Я тебя еще научу... — Шепчет на ухо ему. — Понял? Повтори...

Лимм болтает руками и ногами, визгливо хохочет. На хмурой морде буфетчика выдавливается отсвет старорежимной улыбочки... Неподалеку от буфета, в углу, образованном тюками с шерстью и ящиками

с московской мануфактурой, разговаривает небольшая группа. Здесь и давешний колхозник в сетке и хороших сапогах, и заросший мужик, но уже без дочери (она устроилась на ночь под зубьями конных граблей), и батрак — болезненный мужик, и худощавый человек со светлыми усами полумесяцем, в синих штанах от прозодежды, и губастый парень в драном ватном пиджаке, и две неопределенные личности в худой одежонке, в рваных штиблетишках — эти сидят на ящиках...

Указывая на них, рабочий со светлыми усами полумесяцем говорит, ни к кому, в частности, не обращаясь:

— Вот эти двое — самый вредный элемент... Я давно прислушиваюсь, чего они шепчут, чего им надо. Там пошепчут, здесь пошепчут... От таких паразитов вся наша беда...

— А что ж им рот-то затыкать? — вступается заросший мужик. — Ты, друг фабричный, всем бы приказал молчать... Губернатор, портфель тебе под мышку...

Губастый парень засмеялся, будто у него лопнули губы. Рабочий строго на него:

— Дурака-то и насмешил: вот и агитация...

— Агитаторы не мы: ты, друг фабричный, — говорит заросший мужик.

Губастый качнулся к рабочему, закричал со злобой:

— Ты скажи, сколько мне надо работать? Я еще молодой...

Заросший мужик:

— Ответь по своей науке-то...

Рабочий оглянул парня, мужика, ответил тихо, но важно:

— Всю жизнь...

— Сто лет работать, — пробасила одна из личностей, сидящих на ящиках, — плотный мужчина, лет пятидесяти, в рыбацкой соломенной шляпе.

— Правильный ответ, — обрадовался заросший мужик. — И за сто лет у них лаптей не наживешь...

— Кулачище! — закричал на него колхозник. —

Зверь матерый! Одна идеология — работать, нажить! Ты работай для общего...

— Постой, я ему объясню, — перебил рабочий. — Весь вопрос — в культурной революции... Сейчас работаем восемь часов... В будущем станут работать, может быть, два часа...

Заросший мужик ударил себя по бедрам:

— Врет, ребята, ей-богу, врет... Два часа работать — лодырями все изделаются... Водки не хватит... Окончательно пропала Расея...

Рабочий повысил голос:

— К тому времени люди будут перевоспитаны. Мы добиваемся увеличения потребностей человека, хотим, чтобы он стремился к высшей культуре и не жалел для этого сил... У тебя, папаша, дальше четверти водки фантазия не распространяется... А мы хотим, чтобы вот он, — указал на губастого парня, — имел чистое жилище с ванной, одевался бы не хуже американцев, которые в буфете морду намазывают, посещал театр, библиотеку — так его переплавить, чтобы жил мозговым интересом, а не звериным.

Парень вдруг заржал радостно:

— Мозговым...

— Жеребец! — проскрипел заросший мужик с отвращением.

Личность в соломенной шляпе:

— Дешевая агитация...

— Вот тогда, — рабочий отрубил ладонью воздух, — труд ему в радость, и хоть два часа работать — не сопьется... Лодырей, пьяниц к тому времени будут в музеях показывать, да и тебя, папаша...

— Истинно так, товарищ, — до крайности взволнованный, встрел в разговор болезненный мужик. — Кабы мы в это не верили... Нам бы тяжело было... У меня — кила, лишай, я, вероятно, не доживу до этого... Но хлеб есть слаще, раз я около науки...

Незаметно во время разговора к двум личностям на ящиках подошел Ливеровский. Ухмыляясь, копая спичкой в зубах, слушал. Рука его за спиной протянула записку; ее осторожно взяла вторая личность,

сидящая на ящике... Прочел, разорвал, сунул обрывки в рот.

Обе личности встали и отошли в тень. Ливеровский, обращаясь к рабочему:

— Питаетесь мечтами, товарищ? Дешево и сердито...

Рабочий нахмурился... Колхозник ответил с горячностью:

— В первом классе лопаете чибрики на масле, а мы сознательно черный хлеб жрем... А мы не беднее вашего... Вон, посмотри, чибрики-то наши как перевертываются...

Он указывает на пролет нижней палубы — пароход плыл недалеко от берега, там видны электрические огни, дымы, очертания кирпичных построек в лесах...

Появились капитан, Парфенов и Гусев. Парфенов — Ливеровскому:

— Цементный завод, продукция полмиллиона тонн. А полтора года назад на этом месте — болото, комары...

Пароход короткими свистками вызывает лодку. Капитан кричит в мегафон:

— Эй, лодка!.. Лодка!..

С воды доносится: «Здесь лодка».

— Принять телеграмму. — Опускает мегафон — и Гусеву: — Давайте телеграмму...

— Срочная, — говорит Гусев и, обернувшись к Ливеровскому, странно усмехается...

Все, на минуту бросив спор, смотрят, как под бортом парохода из темноты выныривает лодка с фонарем и двумя голыми парнями в одних трусиках.

Зинаида давно уже была вручена матери и спала на подушке. Нина Николаевна подстелила себе старое пальтецо около свертков канатов, но еще не ложилась. На корме — два-три спящих человека. Внизу кипит вода. Высоко вздернутая на кормовой мачте лодка летит перед звездами.

Профессор Родионов появился на корме с чайником кипятку:

— Принес чаю... Зина спит? — Он поставил чай-

ник и сел на сверток канатов. — Я тебе мешаю? Ведь подумать: на воде и не сыро, удивительно... Нина... Я очень несчастен...

— Ты сам хотел этого.

— Не говори со мной жестоко.

— Да, ты прав... — Концы ее бровей поднялись. Глядела в темноту, где плыли огоньки. Руки сложила на коленях. Сидела тихо, будто все струны хорошо настроены и в покое. — Не нужно — жестоко...

— Во сне бывает — бежишь, бежишь и никак не добежишь... Так и я к вам с Зиной — не могу... Ты суха, замкнута, настороже... А я помню — ты, как прекрасно настроенный инструмент: коснись — и музыка...

— Говори тише, разбудишь Зину.

— Ты вся новая, я тебя не знаю.

— Знать человека — значит любить, это так по-нашему, женскому, — сказала она, наклоняя голову при каждом слове, — а по-мужскому знать — значит надоела... Ты пытаешься меня наградить какими-то даже струнами... Не выдумывай: я — прежняя, та, которая надоела тебе хуже горькой редьки... Покойной ночи, хочу спать...

Он кашлянул, пошел к выходу с кормы. Остановился, не оборачиваясь, развел руками:

— Ничего не понимаю...

Нина Николаевна смотрела ему вслед. Когда он, бормоча, опять развел руки, позвала:

— Валерьян... У тебя что — нелады с Шурой?

— Удивляет только ее торопливость: понимаешь — ночью сели на пароход, а утром у нее неизвестный любовник...

Он торопливо вернулся, ища сочувствия, но брезгливая усмешка Нины Николаевны не предвещала утешения. Сказала:

— Представляю, что тебе должно быть хлопотливо с молодой женщиной...

— Нина, противно... Но развязывает меня морально... И втайне я даже рад...

— Что ж, еще какая-нибудь новенькая на примете?

— Жестоко, Нина! Так не понимать! Во всем мире ты одна родная... Ты одна разделяла мои радости, огорчения, усталость... Теперь я измучен, и не к кому прислонить голову...

— Фу! — вырвалось у Нины Николаевны.

— Нина, прости меня за все... Я прошу у тебя жалости... Только...

Тогда она встала в крайнем волнении, ногой задела подушку со спящей Зинаидой. Потемневшим взором глядела на мужа:

— Жалости! Этого, милый друг мой, теперь больше не носят... Поживи без жалости... Знаменитый ученый, работы — сверх головы и столько же ответственности... Перестань над собой хныкать, жалеть, забудь о себе. Поел, попил, пожил со свеженькими мордашками — довольно... Работай, черт тебя возьми, работай... А устал — протягивай ноги, только и всего... Другой встанет на твое место...

Она хрустнула пальцами. Профессор громко прошипел:

— Остается — в воду головой...

— Лучше выпей водки... Успокоишься... Уйди...

Он взялся за волосы и ушел. Зинаида, не поднимая головы с подушки, проговорила:

— Мама, чего-то папу жалко...

— Зинаида, спи, пожалуйста.

— Он добрый...

— Понимаешь, мне тяжело, так тяжело, как никогда не бывало. Скажи — могла я иначе ответить?

Зинаида вздохнула, поворочалась. Нина Николаевна села на сверток канатов и глядела на темную воду.

Профессор шел по четвертому классу, спотыкаясь о спящих. Губы у него дрожали, глаза побелели. Приступ неподдельного отчаяния охватил его мозг свинцовым обручем.

Ему преградили дорогу четыре человека, стоящие у тюков с шерстью, — два грузчика (те, что в начале этого рассказа слушали грохот бешеной пролетки Ливеровского); один—рослый, со спутанными волосами и бородой, похожий на дьякона, другой — кривой,

с покатыми плечами и длинной шеей, и две неопределенные личности. Тот, кто был в соломенной шляпе, угощал грузчиков водкой, товарищ его (проглотивший записку Ливеровского) говорил, зло поглядывая из-под козырька рваной кепки:

— ...Жить нельзя стало. Всю Россию распродали... Раньше белые калачи ели... Студень — пятак, поросенок — полтинник... А чибрики на масле!..

Кривой грузчик, икнув:

— Чибриков бы я покушал...

— А глядите — кто сейчас у буфетчика осетрину жрет... Вы за это боролись?

— Вообще не принимаю коммунистического устройства мира сего, — пробасил рослый грузчик. — Я бывший дьякон, в девятнадцатом году командовал дивизией у Махно. Жили очень свободно, пили много...

— Пейте, не стесняйтесь, у меня еще припасено.

Бывший дьякон спросил:

— Кто же вы такие?

Личность в шляпе с душевной простотой:

— Мы — бандиты.

— Отлично.

— Помогите нам, товарищи.

— Отлично. Грабить сами не будем, не той квалификации, но помощь возможна.

Злой в кепке:

— Мы работаем идейно. Вы, как борцы за анархию, обязаны нам помочь...

Подошел профессор. Сразу замолчав, они расступились, нехотя пропустили его. Под их взглядами он приостановился, обернулся:

— В чем... дело?

В то же время в буфете шум продолжался. Хиврин кричал буфетчику:

— Не смеешь закрываться! Джек, хам!

Педоти вяло помахивал рукой:

— Тише, надо тише...

— Не уйдем! Зови милицию. Джек, хам!

Лимм вопил:

— Хочу лапти, лапти, лапти.

— Джек, хам! — кричал Хиврин. — Достань американца лаптей.

Ливеровский хохотал, сидя на прилавке. Когда появился профессор — голова опущена, руки в карманах,— Ливеровский преградил ему дорогу:

— Профессор, присоединяйтесь... Мы раздобыли цыганок... Вина — море...

— Профессор,— звал Хиврин,— иди к нам, ты же хулиган...

Лимм, приподнявшись со стаканом:

— Скоуль... Ваше здоровье, профессор...

Ливеровский, хохоча:

— Все равно живым вас отсюда не выпустим...

— Живым? Хорошо... Я буду пить водку... Вот что...

У профессора вспыхнули глаза злым светом: он решительно повернул в буфетную. Ливеровский схватил его за плечи и, незаметно ощупывая карман пиджака, на ухо:

— Как друг, хочу предупредить: будьте осторожны... Если у вас с собой какие-нибудь важные документы...

— Да, да, да, — закивал профессор, — благодарю вас, я заколол карман английской булавкой...

— Коктейль,— кинулся к нему Хиврин с фужером. Из тени, из-за ящиков выдвинулся Гусев. Ливеровский мигнул, усмехнулся ему. Подошли две цыганки, худые, стройные, в пестрых ситцевых юбках с оборками, волосы — в косицах, медные браслеты на смуглых руках, резко очерченные лица.

— Споем, граждане, гитара будет...

Профессор, оторвавшись от фужера:

— Чрезвычайно кстати...

Покачивая бедрами, грудью, оборками, звеня монетами, цыганки вошли в буфетную. Профессор за ними. Гусев сказал Ливеровскому:

— Даете шах?

— Нет еще, рановато...

— Что вы нащупали у профессора в кармане?

— Боже сохрани! — изумился Ливеровский.— Да чтоб я лазил по карманам!

Гусев наклонился к его уху:

— «Живым вас отсюда не выпустим...»

Ливеровский прищурился, секунду раздумывая. Рассмеялся:

— Для вас же и было сказано, чтобы вас подманить. Боитесь — уходите наверх...

— Вы опасный негодяй, Ливеровский.

Ливеровский яростно усмехнулся.

— Хотите, отменю приказ об аресте?

Ливеровский укусил ноготь. Гусев сказал:

— Не ошибетесь в ответе.

— Отменяйте...

— Правильно. И все-таки вы попались...

— Посмотрим.— Ливеровский указал на буфет.— Будем веселиться.

В буфетную прошел молодой низенький цыган с кудрявой бородой, будто приклеенной на пухлых щеках. На нем были слишком большие по росту офицерские штаны с корсетным поясом поверх рубашки, видимо, попавшие к нему еще во время гражданской войны; сейчас он их надел для парада. Улыбаясь, заиграл на гитаре, цыганка запела низким голосом. Хиврин молча начал подмахивать ладонью. Профессор закинул голову, зажмурился. Подходили пассажиры четвертого класса, из тех, кто давеча спорил. Косо поглядывали на сидящих в буфете, хмуро слушали. Цыганка пела.

Внезапно Гусев схватил Ливеровского за руку и крикнул в темноту между ящиками:

— Там раздают водку!

Ливеровский вырвал руку, кинулся к цыганкам.

— Плясовую!

4

Ночь. Над тусклыми заливными лугами тоскливая половинка луны в черноватом небе. Мягкий ветер пахнет болотными цветами. Мир спит.

Парфенов облокотился о перила, слушает — на бе-

регу кричат коростели. Палуба пустынна, только быстрые-быстрые, спотыкающиеся от торопливости шаги. Парфенов медленно повернулся спиной к борту. Из темноты выскочила Шура, под оренбургским белым платком у нее портфель. Остановилась, испуганно всмотрелась. Парфенов сказал негромко, по-ночному:

— Нашему брату полагается смотреть на эту самую природу исключительно с точки зрения практической... Но, черт ее возьми, коростели кричат на берегу — никакого нет терпения... Меня ничем не прошибить... Весь простреленный, смерти и женских истерик не боюсь, Пушкина не читал, а коростель прошибает... В детстве я их ловил... Соловьев ловил... Курьезная штука — человек...

— Куда это все делись?— спросила Шура.

— А внизу безобразничают. А вы кого ищете?

— Это что — допрос?— Шура задышала носом.— Довольно странно...

Повернулась, торопливо ушла. Снизу поднимался капитан. Парфенов проговорил в раздумье вслед Шуре:

— Да, дура на все сто...

— Товарищ Парфенов,— у капитана дрожал голос,— что же это такое? Ведь мне же отвечать! Внизу шум, пение романсов, мистер Лимм, американец, пьяный, как дым, с цыганкой пляшет... В четвертом классе волнение, люди хотят спать... И непонятно — откуда масса пьяных... А кого к ответу? Меня... Вредительство припаяют... Я уж товарища Гусева со слезами просил, он меня прогнал...

— Иди спать,— Парфенов похлопал капитана по плечу. — Раз Гусев прогнал — не суйся, там не твое дело...

— Да ведь за порядок же на пароходе я же...

— Иди спать, папаша...

— Если еще такой беспокойный рейс... Опять мне американцев будут навязывать... В отставку... Поездил в вашей республике...

Капитан ушел в каюту, где сердито загородил раскрытую на палубе дверь сеткой от ночных бабочек и комаров.

К Парфенову подошел Хопкинсон — волосы взъерошены, галстук на боку.

— Вы русский?— спросил он, приблизя к нему вытаращенные глаза.— Вы коммунист?

— Ну?

— Вы — железные люди... Вы заставили возвышенные идеи обрасти кирпичом, задымить трубами, заскрежетать сталью... О, каким маленьким негодяем я себя чувствую...

— Постой, не плюйся... Чего расстроился-то?

— Моего дедушку белые поймали в Конго, набили на шею колодку с цепью, он умер рабом...

Парфенов сочувственно пощелкал языком, не понимая еще, в чем дело.

— Мой отец всю жизнь улыбался своим хозяевам, обманывал, что ему очень весело и легко работать... Он умер рабом...

Парфенов и на это пощелкал языком.

— Я ненавижу белых эксплуататоров,— выворотив губы, сказал Хопкинсон.

— Правильный классовый подход, братишка...

Тогда негр схватил его руки, затряс их изо всей силы:

— Спасибо, спасибо... Я буду тверд!

Отбежал. Парфенов вслед ему, в раздумье:

— И этот сбесился! Ну, Волга!!

Но Хопкинсон, весь пляшущий от волнения, подскочил опять, белые манжеты его описывали петли в темноте перед носом Парфенова...

— Лучше я вырву себе глаза и сердце... Но предателем — нет, нет... Пусть меня соблазняют самые красивые женщины!.. Пусть я страдаю как черт... Это расплата за то, что мои отцы и деды вовремя не вырезали всех белых в Африке.

— Правильно, братишечка...

— Моя жизнь — вам, русские,— с каким-то, почти театральным, порывом сказал Хопкинсон.— Я плачу, потому что мое сердце очень много страдает, оно очень чувствительное... Черные люди очень похожи на детей, это плохо...

В темноте не было видно, действительно ли у него текут слезы. Парфенов, похлопывая его по плечам, шел с ним к корме:

— Мы, русские, люди со всячинкой, нас еще в трех щелочах надо вываривать — ой, ой, ой, сколько в нас дряни, но такая наша полоса, что отдаем все, что есть у нас, вплоть до жизни, — рубашку с себя снимаем за униженных и порабощенных...

Облокотясь, оба повисли на перилах, на корме...

— Баба, что ли, к тебе привязалась?

Негр сейчас же отскочил...

— Так пошли ее к кузькиной бабушке,— это же все половые рефлексы... Хотя бабы страсть ядовитые бывают: подходишь к ней как к товарищу, а она вертит боками... И у тебя в голове бурда. На Волге в смысле рефлексов тревожно...

— Решено! — громко прошипел Хопкинсон и побежал к задвинутому жалюзи окну миссис Ребус.

Парфенов закурил и медленно пошел по другой стороне палубы.

Хопкинсон стукнул согнутым пальцем в жалюзи:

— Миссис Эсфирь... Я спокойно обдумал ваши условия... Благодарю за роскошный дар, за вашу любовь... Я отказываюсь. Я не вернусь в Америку ни один, ни с вами.

Он отскочил и шибко потер ладонь о ладонь. Все как будто было кончено с миссис Эсфирь. Но за окном ее темно, никакого движения. И его решимость заколебалась. Его, как кусочек мягкого железа к чудовищному электромагниту, потянуло к этим черным щелям в жалюзи, за которыми, казалось, притаилось чудовищное сладострастие... Дрогнувшим голосом:

— Миссис Эсфирь, вы слышите меня? Я вас не оскорбил... Это окно мне будет сниться... Никогда больше я не полюблю женщины, в каждой буду ненасытно целовать ваш призрак... Зачем нужно, чтобы я уехал? Вы знаете, с каким великим делом я связан здесь. Я не предам этой страны. Вы искушаете меня? Забавляетесь?.. Зажали рот и смеетесь в темноте... Смейтесь, страсть моя, безумие мое, смертно желан-

ная женщина...— Он распластался руками по белой стенке, словно желая обхватить недосягаемый призрак, и несколько раз поцеловал край оконной дубовой обшивки.— Прощайте...— Отошел, опять повернулся. — Эсфирь, откройте окно, я требую... Я бы мог насладиться вами и обмануть, так бы сделал каждый белый у вас в Америке... Но я негр... Сын раба... Мне священно то, что в вас давно умерло. Именно таким вы будете меня любить... Дайте ключ и глупости вытряхните из головы...

Вспыхнул свет в каюте, жалюзи отодвинулись, появилась Эсфирь, одетая по-ночному — в пижаме. Взяв Хопкинсона за отвороты, притянула к себе и, высунувшись поудобнее, залепила ему несколько пощечин... Он не пошевелился, окаменел... Она отпустила его и спокойно:

— Ну вот... Это за все... Возьмите ключ...

На корму долетали шум и пение из четвертого класса. Нина Николаевна не спала. Поправила волосы, села на сверток канатов, закурила папиросу. Появилась Шура, все так же пряча портфель под оренбургским платком... Пошарила близорукими глазами:

— В буфете — чистое безобразие, пройти нельзя... Слушайте, это под вашим, что ли, влиянием Валерьян надрызгался, как свинья?.. При мне, безусловно, это в первый раз...

Нина Николаевна пожала плечами, отвернулась.

— Хочу с вами поговорить о Вальке...

— У меня никакого желания...

— Да уж вижу: ревнуете прямо бешено...

— Послушайте...

— Спорить, ругаться со мной не связывайтесь: я — образованная... Скоро еду за границу на год. На кого Вальку оставить? Интересный, влюбчивый, с громадным темпераментом — во всех отношениях это мужчина для масс... Немедленно баба прилипнет... Так чем идти на риск, я его лучше вам оставлю...

Нина Николаевна сказала даже почти с любопытством:

— Я многое видела, но такое...

— Знаю, что дальше: наглая, мол, и дура, и так далее, визг на весь пароход... Наслышалась, не обижаюсь, в себе уверенная, я не мелочная... Так вот, можете Валькой располагать как супругом на год... Для женщины в ваших годах с ребенком эта перспектива не дурна... За дальнейшее я не волнуюсь... Только не давайте ему сильной нагрузки и пить не давайте...

Нина Николаевна даже всплеснула руками, начала смеяться. Тогда Шура обиделась.

— Чего?— спросила.— Чего раскурятились?

— Боже мой, вы — душка, Шурочка...

— Боже мой?! С вами разговаривают не как самка с самкой, а как товарищ с товарищем. То, что я беспартийная, не значит, чтоб вам ржать при каждом моем слове... Тоже отвечает продолговатым голосом: «Вы душка, Шурочка...»

— Честное слово, без насмешки, вы очаровательная, — Нина Николаевна удерживалась, чтобы не смеяться.— Я бы с удовольствием оказала вам эту маленькую услугу... Тем более, что Валерьян сам меня просил о том же...

— Врете!— Шура хлопнула себя по бедрам.— Ну, уж врете.

— Нет, нет... Но я пристроилась в жизни без мужа — чище, свободнее, никакой помехи для работы... Дело люблю, в провинции меня любят... Счастлива... Вы, Шурочка, найдите ему какую-нибудь невзрачную особу с маленькими требованиями, как-нибудь с ней перебьется год-то.

— Ох, что-то...—Шура всматривалась пронзительно.— Ох, что-то вы мало мне нравитесь... Двуручная...

Зинаида давно не спала. Подняла голову с подушки и Шуре страстно:

— Вы — гадкая женщина... Мама, она гадкая женщина...

— Не твое дело, Зинаида, спи...

— Старорежимные истерички обе. — Шура с удовлетворением нашла это слово. — Разговаривать с вами, знаете, политически даже опасно...— Крепче подхватила портфель, ушла.

В четвертом классе гладкая Дунька, кулачья дочь, вылезла из-под зубьев конных граблей: девке не спалось — со стороны буфета долетали пьяные вскрики и цыганское пение... Дунька причесалась зеленой гребенкой, поправила сбитую набок ситцевую юбку. Подняла с пола соломинку, стала ее грызть. Причина, почему она грызла соломинку, заключалась в том, что рядом на ящике сидел давешний колхозник — в сетке, в хороших сапогах — и задумчиво поглядывал на аппетитную девку. На шум, цыганское пение он не обращал внимания.

— Поют гамом, гнусаво, нехорошо,— сказала Дунька. Колхозник, наклонив голову к плечу, прицелился глазом:

— На такой жениться — и начнет тащить тебя в кулацкий омут.

— Это про кого эта?

— Про вас... И зачем такое добро пропадает...

— Нисколечко не пропадает... Папаша — одно, я — другое.

— Класс один... В бога верите?

— Нет, святой дух улетел от нас, покинул нас...

— А раньше верила?..

— Раньше верила, теперь — как люди, так и я...

— Оппортунистка на сто процентов...

— Чего эта? Мы давно уже не верим. Бабонька у нас старенькая, та обижается: отчего, говорит, у магометан, у евреев есть бог, у одних русских нет его, у цыган и у тех боженька.

— Хитра, ох, — говорит колхозник, — какую агитацию развела. — Он встал, поддернул штаны. — Нет, лучше на тебя не глядеть...

Дунька выпятила губу, вздрала нос:

— В коллективе таких девушек поищите! — Мотнула юбкой, пошла туда, где звенела гитара, пела цыганка...

Там, близ буфета, собралась довольно значительная и угрожающая толпа. Бахвалов — плотная личность в соломенной шляпе — и Хренов — злой человек в рваной кепке,— видимо, успели разогреть настроение. Оба грузчика, заросший мужик — Дунь-

кин отец, губастый парень и еще человек десять были пьяны. Давешний рабочий со светлыми усами полумесяцем пытался сдерживать назревающий скандал, хотя и сам, видимо, был не менее возмущен тем, что творилось в буфете.

— Американцы бузят — это не значит, что и нам надо бузить, — кричал он осипшим голосом. — У них эта буза — цель жизни... Во что они верят? В один доллар... В буфете мы наглядно видим идеалы буржуазии. Мы плюнули да отошли... А доллар их у нас остался, каждый их доллар — на наше строительство, на нашу победу...

Заросший мужик ему свирепо:

— А сожрут-то они сколько нашего на один доллар? Мясо из моей груди выедают...

Бывший дьякон:

— Без закуски пьем... Кирпичом, что ли, закусывать? Ребята, закуски хотим...

— Закуски! — заорал губастый парень.

И заросший мужик опять:

— Мы за свои права с кольями пойдем, погодите...

Рабочий, весь багровый от напряжения, с раздутой шеей:

— Какие твои права? Кулацкие, дремучие... Товарищи, мы не даем человеку жить в свинстве, правильно... Мы его силой вытаскиваем...

— Сила-ай? — выл заросший мужик.

— Кулак вас на дно тянет, в рабство, в свинство... Что ж вы — социализм за пол-литра водки хотите продать?..

— Ребята, — крикнул Бахвалов, держась на периферии тревожно гудевшей толпы, — в буфете не одни американцы... Наши, русские, с ними жрут, пьют...

Раздались гневные восклицания. Губастый парень чуть не плача:

— Русские... сволочи...

Дьяконов бас:

— Предательство...

Хренов с другой стороны толпы:

— Едят наше мясо, пьют наше вино... Россию пропивают...

— Бей русских в буфете! — завопил губастый парень.

— Провокация! — надсаживался рабочий. — Товарищи, здесь нашептывают...

Огромная ручища бывшего дьякона взяла его за горло:

— Ты за кого — за них али за нас? Ну-ка, скажи...

— Бей его в первую голову! — заорал заросший мужик.

Толпа надвинулась. Голоса:

— Коммунар!

— Часы с цепочкой на нем!

— Цепной кобель!

В это время, оттолкнув одного, другого, около рабочего оказался колхозник в сетке, лицо весьма решительное.

— Ну-ка, — сказал, — кому жить надоело?

Произошло некоторое замешательство, крикуны попятились. Рабочий вскочил на ящик:

— Товарищи, вам водку раздают, вам нашептывают, здесь готовится кошмарное преступление... Вас хотят использовать как слепое оружие...

...Из трапа на верхней палубе появился Ливеровский, оглянулся, топнул ногой:

— Да где же вы? Черт!

— Я здесь, — плаксиво отозвалась Шура. Стояла на корме, прижавшись к наружной стене рубки. — Трясусь, трясусь, господи...

— Портфель?

— Тише вы, господи. Нате...

Ливеровский выхватил у нее портфель.

— Не открывали? — Ломая ногти, отомкнул замочек, засунул руку внутрь. Пошарил. Вытащил лист бумаги. — Что такое? — Подскочил к электрической лампочке, где крутилась ночная мошкара. — Чистый лист бумаги? — Перевернул. — Ага... Так и думал... Подписано: «Гусев». — Торопливо читает: — «Этот

портфель был положен в моей каюте около раскрытого окна и через ручку привязан ниткой к кровати; концы нитки запечатаны в присутствии двух свидетелей. Таким образом, господин вице-консул, кража этого портфеля — ваша первая очень серьезная улика. Портфель, как видите, пуст. Шах королю. Гусев».

Прочтя это, Ливеровский протянул портфель Шуре:

— Вы — дура: нельзя было рвать нитку; положите портфель на место.

Шура поняла одно — обругали. Вытаращилась, обиделась:

— Я извиняюсь, между нами ничего еще не было, и вы уже ругаетесь...

— Портфель — на место, сама — в каюту, и молчать как рыба!

Он кинулся к окну миссис Ребус. Шура схватила его за рукав:

— Насчет заграницы... Как же, слушайте?

— Задушу и выкину за борт... Спасайся... Бегом...

Жест его настолько был выразителен, что Шура молча замахала рукой, пустилась бежать... Ливеровский стукнул в окно миссис Ребус:

— Алло... Что с негром?

Жалюзи сейчас же отодвинулись. Каюта была освещена. Негр неловко сидел на стуле, голова запрокинута, лицо закрыто ватой.

— Ликвидировали? — прошептал Ливеровский.

Эсфирь высунулась, жадно вдыхая ночной ветер. Ладонями потерла виски, провела по глазам, приводя лицо в порядок.

— Что — убит?

— Нет, — сказала Эсфирь хриповато. — Хлороформ...

— Напрасно было... Оригинал рукописи он передал профессору, а копия у Гусева.

— Скоро вы кончите с ними?

— Жду, через несколько минут будет перекат — мелкое место... Нужно, чтобы Хренов и Бахвалов могли все-таки спастись вплавь... Значит, негра брать живым не хотите?

— Он этого не хочет.

— Та-ак...

Эсфирь с мрачной яростью:

— Повторилась забавная история с прекрасным Иосифом! — Она покосилась на завалившееся на стуле тело Хопкинсона. — О глупец... О мерзавец... Я сделала все, что в женских силах... — Почти нежно: — Нулу-Нулу должен умереть...

— Пока держите его под наркозом... Когда начнется суматоха, выкинем его в воду, не так тяжел.

— А если нам помешают?

— Тогда вы его разбудите... Вас-то он не выдаст... Влюблен же со всеми африканскими страстями...

Как от пощечины, Эсфирь вытянулась, носик — все вытянулось у нее:

— Кто вам дал смелость так разговаривать со мной?!

Короткими свистками пароход стал вызывать на нос матроса — промерять глубину. Долетел голос:

— Есть наметка...

— Это перекат. — Ливеровский отскочил от окна. — Готовьтесь, миссис Эсфирь... Бегу вниз...

В буфете цыганки пили вино и гладили по щекам профессора Родионова. Цыган с профессионально-загадочной улыбкой, склонясь над гитарой, перебирал струны. Педоти спал за столом. Мистер Лимм, тараща глаза, слушал Хиврина:

— Понимаешь, мистер, у меня странный психоз: одновременно люблю пять женщин, куда там — больше. Так, я пошел к доктору...

Лимм, едва ворочая языком:

— Что же тебе сказал доктор?

— Доктор сказал: валяйте... Чудак какой-то... А ты знаешь, как меня любят в Эсесер? Как-то за ужином один нэпман в экстазе вынул вставной глаз и подарил мне: больше, говорит, у меня ничего не осталось...

— Я с ума сойду в этой стране, — с большим трудом выговорил Лимм.

Профессор вдруг вскочил, потянув за собой одну из цыганок, глядя не на нее, а куда-то в неопределенность расширенными глазами:

— Понял! Я понял Нину, я понял себя! Человека нужно заслужить! Чем заслужить, ты спросишь, цыганка... Интенсивным половым влечением, ответили вы... Бррр... Нет... Неутомимым желанием стать вместе с этим человеком более совершенным, более совершенным орудием творчества... Любить ее трудовые руки, любить ее светлый ум... Пусти, я должен ей сказать это. Впрочем, я ничего не скажу... Пой, пой мне, степная красавица... Под твои песни плакали великие поэты... Я нашел путь к человеку!

Цыган перебрал струны, махнул грифом гитары, цыганка повела плечами, запела низким диким голосом... В буфет вбежал Гусев.

— Все наверх! — крикнул он резко. — Тащите американцев, не медлите ни минуты!.. Кончай бузу!..

Раздались короткие свистки парохода, вызывающие матроса с наметкой на нос. И сейчас же послышалось приближение толпы. Гусев оторвал профессора от цыганки и, толкая к выходу:

— Спасай рукопись, спасай жизнь!..

Первым в буфет ворвались взлохмаченный мужик, бывший дьякон, губастый парень и двое-трое пьяных... В глубине мелькнули настороженные лица Хренова и Бахвалова... Нападавшие бросились молча... Зазвенело стекло... Командный голос Хренова:

— Этих двоих... Бей!

На плечах Гусева повисло двое. Он пошатнулся. Профессор исчез в свалке. Слышались грузные удары кулаков, сопение. Полетели бутылки со столов, Хиврин в панике полез на стойку:

— Я же враг, враг... В бога верю!

Враз завизжали цыганки так страшно, будто обеим всадили по сапожному ножу в живот. Через прилавок перемахнул Ливеровский и заслонил собой американцев; на лице, напряженном и страшном, застыла улыбка игрока, поставившего на карту все... Захрипел голос заросшего мужика:

— Дай вдарю, дай вдарю...

Клубок тел, машущих кулаков выкатился из буфета, и с двух сторон в свалку кинулись с ножами Хренов и Бахвалов. Грохнул выстрел, другой. Вся куча тел исчезла в темноте за ящиками.

Лимм и Педоти, готовые сдаться, помахивали носовыми платками. Лицо Ливеровского при каждом выстреле искажалось мучительной гримасой... Сквозь зубы:

— Сволочь! — и, нагнув голову, кинулся из буфетной туда, где все громче раздавались удары, вскрики.

— Неужели началось? — вопил Хиврин...

Куча дерущихся прокатилась по узкому переходу четвертого класса; повсюду мелькали испуганные лица пассажиров. Набатно звонил колокол. Пароход давал тревожные свистки. Из-за ящиков метнулось со взъерошенными усами лицо капитана; оно кричало:

— Воду, воду! Давай!

Рабочий и колхозник подтаскивали пожарный шланг. Защелкала струя воды. Из клубка дерущихся, как пробка, выскочил Гусев, вскарабкался на кучу ящиков, за ним — со вспухшими лицами — Хренов и Бахвалов... В секунду все трое исчезли по ту сторону ящиков. Ливеровский с поднятыми руками закричал:

— Уйдет!

...В широкий пролет нижней палубы виднелась ночная синева, на воде с далекой сумеречной полоской берега лежала, будто вдавливая воду, чешуйчатая полоса лунного света. От прибрежной тени быстро двигались два огонька; черный силуэт какого-то суденышка пересек лунную дорогу.

В пролете сумасшедшим прыжком появился профессор; он был без пиджака, кое-что осталось от рубашки и брюк. Видимо, он лишь на долю секунды опередил преследователей. Шарахнулся, приник к откидным перилам, пролепетал что-то вроде:

— Пиджак... Рукопись... Кошмар... Расстрел... — Затем, увидев выдвинувшихся из-за обоих углов пролета Хренова и Бахвалова — в странном лунном освещении они, казалось, замерли перед прыжком, — по-заячьи крикнул: — Нина! — и, агонийно болтнув

штиблетами, перекинулся через перила. Плеснула вода. Хренов и Бахвалов подскочили к перилам, перегнулись:

— Готов.

— Раков кормить.

— Как же с Гусевым?

— Какое там, беги!

Оба торопливо стали сбрасывать опорки, лишнюю одежду.

...Трещали ступеньки. На верхнюю палубу, залитую лунным светом, выскочил Ливеровский и, схватившись за столбик палубного перекрытия, круто повернул в противоположную сторону. Присел за спинку кресла. Тотчас же вихрем вылетел снизу по трапу Гусев, так же придерживаясь за столбик, повернул и увидел Ливеровского:

— Сдавайся... Мат!

Ливеровский из-за кресла глядел на его руки — Гусев был без оружия, — он поднялся и, учитывая малейшее движение, кивком указал на столик сбоку окна миссис Ребус:

— Сядем.

Оба, не сводя глаз друг с друга, сели, положили локти на стол. Ливеровский:

— Никаких улик.

— Первая, — медленно проскрипел Гусев, — кража портфеля.

— Ворую в припадке клептомании, у меня свидетельство от врача.

— Вторая: похищение шифрованной рукописи из пиджака у профессора во время свалки.

— Рукопись в Волге.

— Врешь, вице-консул.

— Обыщите.

— Третья: похищение у меня из кармана штанов копии этой рукописи.

— В Волге.

— Четвертая: ваши сообщники — Хренов и Бахвалов.

— Липа: у них другие фамилии.

— Они раздавали водку, агитировали, подняли бунт и пытались запороть ножами меня и профессора.

— И так далее, — нетерпеливо перебил Ливеровский, — но они уже на берегу в надежном месте или утонули.

— Посмотрим, — Гусев усмехнулся..

Ливеровский чуть сдвинул брови.

— Что-нибудь, чего я не знаю?

— Да... Кстати, я угадал и час и место — именно этот перекат, где вы перейдете в наступление...

Ливеровский нахмурился.

— Улика пятая: убийство негра.

У Ливеровского отвалилась челюсть, с трудом подобрал ее, покашлял.

— Извиняюсь... вы что-нибудь путаете...

— Правда, нам удалось предупредить преступление в последнюю минуту.

— Негр жив? И вы осмеливаетесь обвинять меня...

— Обвиняю вас и миссис Эсфирь Ребус, сестру известного Ребуса, главы шпионского агентства Ребус, которому североамериканские, канадские и аргентинские аграрии поручили добыть Хопкинсона живым или мертвым вместе с его замечательным открытием...

— Хотя бы и так! — Ливеровский выдернул из кармана револьвер, но и у Гусева тотчас же оказался в руке автоматический пистолет. Направив дуло в дуло, они глядели друг другу в глаза.

— Стрелять будете? — спросил Ливеровский.

— Обязательно.

— Ответом на это последует запрещение ввоза в Мигуэлла-де-ля-Перца вашего проклятого демпинга.

— Ваша республика не откажется от наших папирос из-за такой мелочи... Вы идеалист... Но, чтобы не создавать лишнего конфликта, считайте себя живым. Убирайте пушку.

Оба медленно опустили оружие, сунули в карманы. Ливеровский повысил голос:

— Покушение на негра — чистейшая провокация... Вы можете убедиться — он премило проводит время с миссис Ребус... — Постучал в жалюзи. — Миссис Ребус, вы оба еще не спите? Алло?

Жалюзи отодвинулись, и в окно высунулся по пояс, облокотился о подоконник Парфенов. Вместо парусиновой блузы на нем был военный френч со снаряжением.

— Ай-ай-ай, — сказал он Ливеровскому, — ну, и заграничные гости... Ай-ай-ай... Когда перестанете гадить?

— Кто он такой? — закричал Ливеровский. Гусев сказал:

— Начальник речной охраны Средневолжского края и мой начальник.

— Ай-ай-ай. — Парфенов качал головой. — Напрасно только людей подводить, господин вице-консул... Все равно мы ваши карты раскроем, воровать вам не дадим... Зря деньги кидаете, получаете конфуз. Торговали бы честно...

— Где миссис Ребус?

— Временно в моей каюте. Уворованные вами рукопись и копия оказались у дамочки под подушкой. Неудобно. А Хопкинсона вы, сукины дети, чуть не угробили. Так нанюхался хлороформу: слышите, мычит в капитанской каюте.

Рысью мимо пробежал капитан. К пароходу подчаливал катер речной охраны. Парфенов исчез в окошке. Палуба осветилась.

— Сдались? — спросил Гусев.

Ливеровский бешено топнул желтым башмаком. Парфенов вышел на палубу, нагнулся вниз к катеру:

— Ну что? Выловили всех троих? А? Давайте их наверх.

Зыбкой походочкой появилась Шура, прижимала руки к груди, хрустела пальцами... Робко ныряла головой то в сторону Гусева, то Парфенова.

Парфенов ей:

— Ай-ай-ай... Вот и верно, что глупость хуже воровства.

— Знаете, уж чего-чего, — Шура сразу осмелела, — а я до того за советскую власть... И надо же...— На Ливеровского: — Этот серый альфонс меня попутал...

По трапу поднялись Хренов, Бахвалов и профессор. С них ручьями текла вода. Сзади — охрана, Шура всплеснула руками, кинулась к профессору:

— Валька, на кого ты похож!

Профессор поднял палец:

— Я вас не знаю, гражданка Шура... — И Парфенову: — Я потерял данное мне на хранение счастье целого народа. Судите меня...

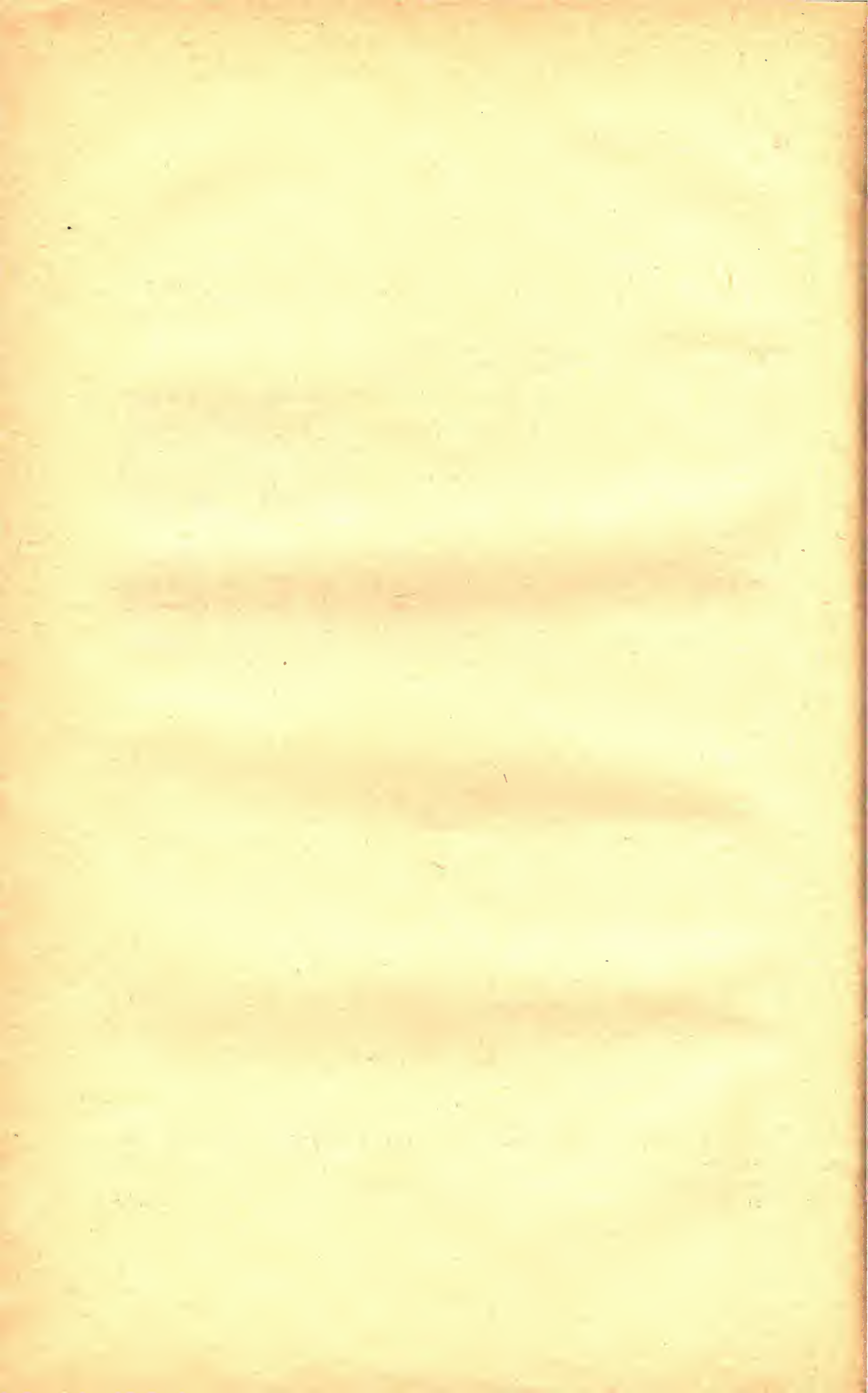
— Нашли, успокойся, товарищ, — сказал Парфенов.

В эту минуту, как зверь из клетки, от стола к борту пролетел Ливеровский и в упор стал стрелять в Хренова и Бахвалова. Но курок револьвера только щелкал осечками. Гусев спокойно:

— Брось, вице-консул, патроны же я вынул из твоей пушки.

М. МАКСИМОВ

ЛИЧНО ИЗВЕСТЕН



В ТИФЛИС

Человек в тулупе вздрогнул и вскочил на колени.

Олени, с непонятной легкостью неся свои чугунные с виду рога, вырвали нарты из леса, и на открытом пригорке замаячил постоялый двор.

Только что в финском городе Таммерфорсе закончилась Первая конференция большевиков. Конференцией руководил Ленин, и теперь товарищи возвращались по домам. Они очень спешили — нужно было поскорее передать ленинские указания революционным рабочим России. А ехать приходилось далекими обходными путями, чтобы не попасть в руки жандармов.

Человек в тулупе был одним из тех, кто пробирался из Финляндии. Путь его лежал далеко на Кавказ.

Он устал и при виде постоялого двора улыбнулся. Тревожная морщинка между его заиндевелыми бровями разгладилась. Он потянулся в предвкушении отдыха и хлопнул проводника по плечу.

— Приехали. Хорошо!

— О-вэ-эй! — взмахнул хореем* проводник и ответил:— Карашо приехала, карашо плати!

Но когда проводник уже хотел подвернуть к постоялому двору, оттуда вылетели сани-«голубки», запряженные тройкой вороных. Возница с квадратной бородой шведского помора привстал в санях. Держа вожжи в левой руке, правой он призывно замахал человеку в тулупе.

— Эй, ти-и, лось лаплански!

Черные кони потонули в трех белых смерчах взбитого ими снега.

— Догнать можешь?— встревоженно спросил человек в тулупе.

---

* Хорей — длинный шест для управления оленьей упряжкой.

Проводник обиделся за своих оленей, гикнул, и вскоре головы лошадей и оленей поравнялись. Животные, раздувая ноздри, удивленно закосили друг на друга и в страхе прибавили ходу.

— Тафай пригай, ти, лось лапландски! — грозно крикнул швед.

Человек в тулупе сунул деньги проводнику и ловко прыгнул с нарт в «голубки». От толчка он повалился в обнимку со шведом. Тот первый обрел равновесие и спросил совсем неожиданно:

— Котори час твои ходики?

Но человек в тулупе не удивился, вытащил часы с монограммой, открыл крышку и поднес их к самым глазам шведа. Швед удивленно кивнул.

— Ну, здравствуй, товариш Васили!

— А если я не Василий?

— Тогда ты эти часы не имей и не знай пароль: «лось лапландски». Я — Ванханкаупунгинлахти, — и швед протянул руку. — Что в Таммерфорсе? Как Ленин?

Но Василий не подал руки, сунул ее в карман тулупа и, нащупав рукоятку нагана, спросил резко:

— Почему не подождал на постоялом?

Швед вместо ответа обернулся и указал назад рукой. На пригорке возле постоялого двора, неестественно широко расставив ноги, резко выделялась на белом снегу синяя фигурка жандарма. Оленья упряжка, которую только что оставил Василий, приближалась к ней.

— С я ти не пропадай!— спокойно заметил швед и подозрительно — не за револьвером ли? — полез в карман.

— Не дурить!— приказал Василий, наставляя на шведа наган, и процедил сквозь зубы, косясь на синюю фигурку.— На моих же оленях догонит!.. Ты кто?

— С я ти не пропадай!— повторил швед, невозмутимо доставая из кармана трубку и тыча ею в сторону жандарма: — Смотрей!

Фигурка сделала два-три явно нетрезвых шага и, смешно взмахнув руками, плюхнулась в снег.

— Мой работа,— серьезно сказал швед, раскуривая трубку. Он быстро потер средний и указательный пальцы о большой, как будто катал между ними шарик. — Тысяча одна ночь! Я — Ванханкаупунгинлахти. — И он снова протянул руку Василию.

Василий пожал эту руку и еще раз оглянулся. Пьяный жандарм все еще барахтался в сугробе. Василий рассмеялся.

— Напоил, значит! Из тебя у нас на Кавказе неплохой тамада вышел бы!

— С я ти не пропадай. — Швед натянул рукавицу. — С я ти ехать в Петербург. Из Петербурга наш тифлисский товарищ Камо динамит везти будет. Ти садись воскресенье первый класс. С товарищ Камо ти тоже не пропадай. Ти Камо знать?

Подул ветер, поземка на миг скрыла их лица.

— Нет, товарищ... м-м...

— Ванханкаупунгинлахти,— бодро помог швед.— Кавказ живи и Камо не знать?

Василий с любопытством взглянул на него и обнял за плечи:

— Бакинец я. В Тифлисе недавно.

— Пф, пф!— укоризненно покачал головой швед.— Баку! Тифлис!— Он вдруг натянул вожжи.— Смотрей!

«Голубки» остановились у верстового столба, торчащего в снежном вихре разгулявшейся поземки. И на этом единственном столбе, стоящем среди широкого поля, Василий увидел объявление: три тысячи рублей обещалось тому, кто поможет поймать государственного преступника по кличке «Камо». Василий разглядел фотографию молодого человека с усами. Он попробовал сорвать объявление. Бумага не поддалась. Тогда Василий крест-накрест провел по ней рукояткой нагана.

— Видаль!— торжествующе захохотал швед.— Баку! Тифлис!

Тройка рванулась с места. В лесу поземки не было, и за санями бежал, все удаляясь, ровный след полозьев...

А через два дня Василий уже смотрел из окна вагона, как рядом с поездом бегут на юг рельсы. Сталь сверкала на солнце. Василий вслушивался в железный гомон колес и вспоминал мягкий топот копыт по снегу.

Это был скорый поезд «Петербург — Тифлис», с виду обыкновенный поезд. Он старательно отчеканивал свою скороговорку, лязгал, пыхтел, словом, делал все, что полагается делать любому идущему поезду.

Но все же поезд этот был необыкновенный. Это был поезд 1905 года, и в его грохочущем составе, разделенном на вагоны первого, второго и третьего классов, тамбурные площадки как бы отделяли одну от другой разные группы людей. И в каждой из них по-своему превозносили, осуждали или оплакивали события, потрясавшие Россию в те дни. Шли вагоны — желтые, синие, зеленые, те самые, о которых через несколько лет Александр Блок писал:

Молчали желтые и синие,
В зеленых плакали и пели.

Впрочем, в те дни и вагоны первого класса молчаливыми казались только снаружи.

Если бы снять с этого поезда все крыши и сверху заглянуть в его утробу, вот что мы увидели бы в нем.

В первом за багажным вагоне жандармский унтер с начищенными пуговицами и выбритым до синевы лицом прикреплял к стене объявление о государственном преступнике Камо, точь-в-точь такое, какое Василий содрал наганом со столба. Унтер поранил кнопкой палец и обозлился:

— Вот змий семиглавый! В чичирнадцатом, что ли, поезде ищем его?

— Никак нет. В шестнадцатом, — уточнил жандарм с бакенбардами.

Это был зеленый вагон третьего класса, и в нем действительно плакали и пели.

Пела шарманка, которую крутил усатый солдат на деревяшке. Истошным, скрипучим голосом она выводила: «Герои на сопках Маньчжурии спят...»

И, слушая ее, тихо плакала и сморкалась в кончик головного платка молодая крестьянка, наверное, солдатская вдова.

Товарищ горького музыканта, тоже усатый солдат в отрепьях шинели с пустыми рукавами и с привешенной к шее консервной банкой, перекрывая шарманку, тянул, особенно нажимая на «р» и на «ж».

— Дар-рагие братья и сестры, двор-рянство и купечество, священнослуж-жители и граж-жьдане, низшие чины и уваж-жяемая ж-жандармерия, обратите, Христа ради, внимание: остался под Мукденом без обеих р-рук...

Текст у просителя был, очевидно, один для всех вагонов: зеленых, желтых и синих. И когда здесь, в этом зеленом вагоне, он взывал к «дворянству» и «купечеству», взгляд его падал то на высокого чабана, в порванной бурке, то на детишек в лохмотьях, то на укутанных с головой мусульманок, почти таких же нищих, как он сам.

Зато «ж-жандармерия» была в наличии, и верткий матросик, бросая в банку медяк, посоветовал:

— Жандармерию, братишка, не трожь. Посадят!

Нищий подмигнул:

— Меня?.. Вот!— и высунул из «пустого» рукава совершенно здоровый кукиш.

— Ты что, дезертир? — сочувственным шепотом осведомился матросик.

— Нет, другой руки правда нету. Отдал за батюшку, будь он... — И, наклонившись к уху матросика, братишка смачно выругался.

Матросик кивнул, порылся в кармане и бросил в банку второй медяк.

— Собирай на поминки. Кончать его, кровопивцу, будем.

Жандарм с бакенбардами и бритый унтер пошли по вагону. Они внимательно всматривались в лица. Остановились возле чабана в дырявой бурке.

— Документы есть?

Чабан полез в карман. Но унтер передумал:

— Ладно, пойдем с нами, там разберемся.—

И вдруг повернулся на каблуках. — Вот что, все, кто с усами, пойдем! Ну, вставать, живее!

А кто в Грузии в то время не носил усов?

— И вы! — крикнул унтер обоим нищим.

— Да разве же этот, которого вы ищете, тоже безрукий, безногий?

— Он такой сучий сын, все может, если захочет... змий он семиглавый, вот он кто. Третий раз из-под расстрела бежал. Ну, пошли!

Жандармы увели задержанных. Какой-то студент сплюнул, обернулся к попику, испуганно забившемуся со своими узелками в угол скамьи.

— Побрейтесь, батюшка, не то и вас заберут. Похоже, наш Николашка решил всех обрить, как Петр Первый бояр.

— Свят, свят, — истово закрестился попик, и дружно повторили его жест две одинаковые монахини.

Теперь у объявления собралась кучка пассажиров.

Подошла красивая молодая грузинка с длинными косами. Взглянула, закусила губу и вернулась на место:

— Дедушка, они ищут его.

Слепой старик погладил ее по волосам:

— Кого, Медико?

— Его, Камо! Но разве его можно поймать. Он самый сильный, самый ловкий, он самый... самый! — И девушка зарделась и выронила из рук чехол для рога-бокала, уже наполовину расшитый бисером.

— Похоже, барышня влюблена,— вслух подумал студент.

У ног старика, в большой плетеной корзине, лежали рога-бокалы. Студент достал один из них, полюбовался:

— Великолепная работа. Продавать везете, отец?

— Продавать, — вздохнул старик. — Разве теперь продам? Разве теперь пьют?

Но в одном из соседних вагонов пили. Это был синий вагон второго класса. Длинноволосый молодой человек покачивался с бокалом в руке.

— Либертэ, эгалитэ, фратернитэ! * Какие высокие слова, господа. Вот вы, очаровательная шатенка, едете играть Офелию. Так выпьем за все это и еще за свободу искусства! Либертэ, эгалитэ, фратернитэ!

— Браво, браво!

И вдруг господин в черном костюме ухватил Длинноволосого за локоть.

— Не смейте, господа!

— Вы что, из черной сотни?— повернулся к нему Длинноволосый.— Смотрите-ка, очаровательная шатенка,— и он начал засучивать рукав,— сейчас я вам покажу, что такое красный интеллигент в черном гневе!

— Ну что вы, господа! Я адвокат. Я возвращаюсь с нашего съезда. — Он принял величественную позу. — Всероссийский съезд присяжных поверенных постановил нанести сокрушительный удар самодержавию.

— Так какого же черта вы не позволяете нам пить за свободу?

— В том-то и дело, господа. Это и есть удар, сокрушительнейший!

Длинноволосый пожал плечами:

— Что за вздор?

— Съезд постановил, — торжественно заявил оратор, — не пить казенного вина! — Он многозначительно поднял палец.— Вы понимаете, какие убытки понесет правительство, если мы перестанем покупать казенное вино. Не пить монопольки! Шесть тысяч петербургских рабочих... — Но договорить адвокату не удалось. Вокруг взорвался смех.

— Держи бокал, кацо! Держи, господин сокрушитель. Какая это монополька? Это же из виноградников моего дедушки. Пей, не волнуйся.

Адвокат растерянно взял бокал. Но жандармы уже вошли в этот синий вагон. Унтер направился к Длинноволосому.

— Прошу прощения, господа. Вам придется проследовать за нами для выяснения личности.

---

* Свобода, равенство, братство *(франц.)*.

Длинноволосый закричал:

— На каком основании? Мою личность незачем выяснять! Моя личность самая свободная личность в России. Да что вы нашли во мне подозрительного? — И он закрутил усы.

— Пойдемте, пойдемте, господин артист.

— Безобразие! — произнесла очаровательная шатенка и добавила с видом Жанны д'Арк: — Хорошо же, я иду с вами! И да здравствует свобода!

— Поосторожней, барышня! Вы и в самом деле пойдете с нами.

В вагоне-лазарете лежали люди, прошедшие через царскую костедробилку русско-японской войны. У одних ноги в шинах и бинтах были подвешены к вагонным крючкам для пальто. У других забинтованы руки. У третьих — головы. Хрипел раненный в грудь. Другой, совсем молоденький, стонал:

— Сестрица, пить!

А в купе желтого вагона первого класса пировали два бородача. Рыжебородый русский купчина легким ударом под донышко выбил пробку из бутылки. На столике позвякивали два стакана и тарелка с кетовой икрой.

— За веру, царя и отечество! — поднял стакан купчина, опрокинул его единым махом и закусил полной ложкой икры.

Его сосед по купе и собрат по торговому делу, человек восточного типа, погладил черную бороду и, хихикнув, добавил:

— А также продолжим тост, уважаемый, за наши военные поставки, чтобы всем хорошо было, потому что недаром говорят — рука руку моет.

Рыжебородый купчина лукаво погрозил ему толстым пальцем и сказал жеманно, как девушка:

— Ах, вы, кавказцы, любите длинные тосты!

Вот какой это был поезд. И в этом вагоне первого класса, в соседнем с купцами купе, ехал тот самый

человек, который недавно мчался на оленях и тройке по кипящему снегу, кутаясь в добротный тулуп. Теперь Василий был одет в форму инженера путей сообщения. Он вышел покурить в коридор и прохаживался, как бы невзначай заглядывая в двери купе. Похоже, не только жандармы, но и он от самого Петербурга искал Камо.

Чернобородый купец, только что провозгласивший тост за военные поставки, обратился к нему:

— Скажи, дорогой, который час?

Инженер открыл крышку своих часов с монограммой.

— Красивые часы, — заметил купец.

Инженер бросил на него пристальный взгляд и отвернулся к окну. За его спиной открылась дверь купе, покачиваясь, с бокалами в руках, на пороге появились жандармский полковник и подвыпивший грузинский князек.

Они чокнулись, и князек хлопнул полковника по плечу:

— За твое дорогое здоровье, Вадим Аркадьевич! Хорошо, что к нам из самого Петербурга такой большой человек едет! Теперь в Тифлисе будем спать спокойно.

Полковник снисходительно улыбнулся. Выпили. Князек опрокинул пустой бокал.

— Пусть у тебя будет столько врагов, сколько капель осталось в этом бокале... А теперь пойду искать партнеров для преферанса.

— Нет уж, дорогой князь, вы и так оказали мне тысячу услуг. Партнеров буду искать я.

— Брудершафт пили? Какое может быть «вы»? Ты Вадик, а я Вано — тезки! — Князь ловко выскользнул из объятий полковника в коридор и ткнул бокалом в сторону инженера. — Преферанс играем, дорогой?

Инженер отрицательно покачал головой. Князь обратился к купцам:

— Кто преферанс играет, господа?

— Слушай, не видишь, люди кушают, — не глядя на него, ответил чернобородый купец.

Князь обозлился:

— Мы с вами брудершафт пили?!

Купец захлопнул перед его носом дверь. Князь снова распахнул ее, картинно скрестил руки на груди и произнес, угрожающе сверкая глазами:

— Выбирай, как извиняться будем! Можно на кинжалах, можно на пистолетах! Ну?

Василий решил прекратить ссору и оттащил князька в сторону:

— Ну стоит ли, князь? Вы и какой-то купчик!

Князь взглянул на жандармского полковника. Тот кивком согласился с Василием, и князь сразу остыл.

— Я большой человек. Правильно. — И он взял инженера за пуговицу. — Брудершафт?

— Почту за честь, — улыбнулся инженер.

Они выпили и поцеловались.

Инженер нежно похлопал князя по плечу.

Но тут жандармы, завершающие свой обход, ввели в этот вагон очаровательную шатенку, Длинноволосого и еще одного задержанного человека с острым и быстрым взглядом. Человек тащил два огромных чемодана. Длинноволосый явно трусил, и барышня бросила ему:

— Выше голову, вы, герой!

Чернобородый купец вдруг высунулся из купе:

— Ва! Какая барышня! Пальма!

Он взял шатенку за подбородок и тут же получил пощечину. Купец ринулся на нее. Князь немедленно встал между ними, схватил купца под мышки, швырнул его в купе и захлопнул дверь.

— Кинжала не хотел, пощечину получил! Спасибо, барышня.

Инженер, наблюдавший за этой сценой, рассмеялся.

— Вам спасибо, — улыбнулась шатенка.

— Зачем спасибо, пить будем, кутить будем, встречаться будем. Потом спасибо скажешь!

Барышня окинула его холодным взглядом:

— Кажется, вы с этим купчиком одного поля ягоды.

Князь сразу стал серьезным. Он не ожидал такого отпора.

— Как знать, барышня...

Жандармский унтер хихикнул. Полковник повернулся к нему:

— Опять вы здесь?

— Так точно, вашбродь. Выполняю приказание.

Полковник наклонился к князю и сказал с улыбкой:

— Вот видите. Идиотский переполох из-за какого-то мальчишки. В сыщики-разбойники изволят играть!

— Слушай, какие это революционеры? — презрительно окинув взглядом Длинноволосого и того, другого с чемоданами, подхватил князь. — Господа, кто из вас играет в преферанс?

— Я, ваше сиятельство, — радостно ответил человек с чемоданами. — Я страховой агент, еду себе и вдруг... вот видите.

— Ну вот и прекрасно, — заключил полковник, — оставьте ваши чемоданы в коридоре и заходите.

Страховой агент посмотрел на свои чемоданы. Похоже, что ему не хотелось оставлять их в коридоре.

— А барышня при чем? — осведомился князь. — Подозреваете, она тоже этот самый... Камо? — И шепнул, наклонившись к полковнику: — Хороша!

— Никак нет, вашество! — загремел унтер. — Она только провозглашала свободу.

— Глупости, начиталась, — буркнул полковник. — Не разделите ли вы наше общество, мадемуазель?

Барышня еще раз окинула презрительным взглядом Длинноволосого:

— Охотно.

— А господина артиста разрешите проверить, вашбродь? — не без обиды спросил унтер.

Полковник пренебрежительно махнул рукой. Мужчины представились:

— Князь... хотя зовите меня просто Вано.

— Полковник Марципанов, Вадим Аркадьевич.

— Очень приятно. Розоастрова-Хризантемова, еду в Тифлис играть Офелию.

— Страховой агент Мирский. — И страховой

агент вдруг решительно взял свои чемоданы и внес их в купе. — Ничего, — сказал он полковнику, — мы на них и расположимся. — И обратился к разглядывающему его инженеру: — Который у вас час?..

А в хвосте поезда, в арестантском вагоне, люди в кандалах пели «Варшавянку».

Машинист выглянул из будки паровоза. Темнело.

Шли вагоны — желтые, синие, зеленые, и позади — красный с решетками. Шел этот поезд с полицейскими чинами и арестантами, со страховыми агентами и монашками, с крестьянами и жандармами, с артистами и купцами, с сотнями разных человеческих судеб, в каждую из которых по-своему вмешалась революция.

В купе у князя преферанс был в разгаре. Актриса ела конфеты.

— Шесть козырей и фунт прованского масла. Ложитесь, — говорил страховой агент.

— У него осталось три козыря, а у нас четыре, — заметил князь.

— Действительно, ни одной взятки нет, — сказал Марципанов.

Страховой агент улыбнулся и неосторожно бросил:

— В полиции это бывает редко.

Марципанов был не лишен чувства юмора. Он рассмеялся.

— Вы все же немного прикусите язык, дорогой! — сказал князь и начал сдавать карты. — Кидаю валета, кидаю даму, кидаю короля!

— А вот его величество мы и убьем, — заявил страховой агент.

Подслушивающие возле открытых дверей жандармы переглянулись. Унтер торжествующе прошептал:

— Что я говорил! Гляди, гляди, чемоданы-то ногами держит.

Марципанов услышал его шепот, не вставая, выглянул в дверь, поманил унтера пальцем и тихо сказал, косясь на страхового агента:

— Проверьте все-таки.

— Кажется, я сел, — сказал страховой агент, разглядывая свои карты.

Перрон тифлисского вокзала был оцеплен полицейскими. Типичный филер юлил возле шефа тифлисских жандармов Барабанова.

— Не извольте сомневаться, вашество! Сведения тютелька в тютельку. Камо! Камо! И в вагоне у самого господина Марципанова! А чемоданы, конечно, с бомбами.

Барабанов рассмеялся: хорошо, мол, будет выглядеть этот гусь столичный Марципанов, когда узнает, что привез с собой два чемодана бомб.

Поезд подошел к перрону. Из вагона третьего класса выпрыгнула знакомая нам девушка-грузинка, помогла сойти слепому старику, торопясь, подвела его к фонарному столбу.

— Постой здесь, дедушка, я сейчас.

— Куда ты, Медико?

Но Медея уже смешалась с высыпавшей из вагонов толпой.

У вагона первого класса здоровались Барабанов и Марципанов. Князь целовал на прощание ручку очаровательной шатенке. Чуть поодаль стоял инженер. Он, скрывая тревогу, вглядывался в происходящее на перроне. Жандармы выносили чемоданы Марципанова и князя. Мимо вели группу задержанных. Среди них были инвалид с шарманкой, чабан в бурке, Длинноволосый. Все с усами. Шествие замыкал страховой агент с двумя чемоданами. Он бросил на своих недавних партнеров по преферансу взгляд, полный нескрываемой ненависти.

— Кажется, штук двадцать Камо поймали, — рассмеялся князь.

Барабанов хитро посмотрел на Марципанова.

— Пожалуй, есть среди них и настоящий.

Марципанов понял иронию, отрезал с улыбкой:

— Возможно. Одного приказал задержать я... Ну, поехали, господа.

Филер обежал вокруг инженера, подозрительно оглядывая его с ног до головы.

— Спасибо за компанию, господа, — сказал Василий и решительно двинулся по перрону.

Но князь преградил ему дорогу:

— Куда, дорогой? Нет, нет. И слушать не хочу. Брудершафт пили? Гостем будешь, другом будешь. — И он поволок инженера вслед за идущими по перрону Барабановым и Марципановым.

К подъезду вокзала подкатили извозчики-лихачи. На горячих конях гарцевали вооруженные короткими винтовками и сверкающими саблями гайдуки. Сняв папахи, они приветствовали князя. Кортеж двинулся от вокзала. В одном фаэтоне Марципанов с Барабановым, в другом князь с Василием, в третьем чемоданы. По бокам казаки и гайдуки.

А на краю перрона, у входа в жандармское отделение, Медея, прижавшись к фонарному столбу, вглядывалась в лица задержанных, которых вели мимо. Вот последний из них — страховой агент с двумя чемоданами. Она, обессиленная от напряжения, закрыла глаза, спрятав в них то ли ужас, то ли облегчение. Потом выпрямилась, повернулась к столбу и сорвала с него все то же объявление о награде «за поимку государственного преступника Камо»...

Кортеж подъехал к гостинице. Князь подбежал к фаэтону Марципанова, они троекратно облобызались.

— Вадик! Тезка! Хороший тезка! — приговаривал между поцелуями князь. — Встречаться будем, опять кутить будем! — Он вынул визитную карточку, что-то написал на ее обороте, протянул Марципанову: — Кому не скажешь, все знают. Приезжай, пожалуйста.

Марципанов крикнул казакам:

— Провожать князя до заставы! Головой отвечаете!

— Зачем беспокоиться? — застеснялся князь. — У меня гайдуки есть.

— Провожать, провожать! — замахал рукой Марципанов, довольный, что хоть чем-нибудь может отблагодарить любезного князя.

Княжеский кортеж с эскортом казаков и гайдуков мчался по вечернему безлюдному Тифлису. Василий с тревогой оглядывался по сторонам: на каждом углу торчали полицейские посты. Навстречу кортежу то и дело попадались казачьи разъезды.

Город был на военном положении.

И вдруг Василий подумал о том, как занятно это его путешествие в княжеском фаэтоне под надежной охраной, окинул князя ироническим взглядом и отвернулся, спрятав улыбку.

В номере гостиницы изысканный официант сервировал стол. Полковник Марципанов расстегнул китель и, всунув босые ноги в тапочки, прошел в ванную. Предвкушая удовольствие, он открыл кран, ткнул пальцем в струю воды, одобрительно крякнул, возвратился в комнату, достал из кармана кителя визитную карточку князя, бережно, чтобы не прикоснуться мокрым пальцем, поднес ее к глазам, взглянул на непонятный грузинский текст и, блаженно зевая, спросил у официанта:

— Послушай, ты, украшение рода человеческого, по-грузински читаешь?

Официант нахмурился, но решил пропустить оскорбление мимо ушей и поклонился.

— Завтра отправишь по этому адресу ящик шампанского «экстра мум дрэй». Лучшей марки.

Официант взглянул на карточку, потом на Марципанова, спрятал смех, брызнувший было из глаз. Швырнул карточку на пол и, схватившись за голову, завопил, будто его ужалила змея:

— Ва-а-а-а!

— Ты что?

— Ва, ва-а-а! — продолжал тянуть официант. Он, раскачиваясь и изображая ужас, пятился подальше от карточки. Наконец, упершись спиной в стенку, он пальцем поманил к себе озадаченного Марципанова и, плохо скрывая злорадство, шепотом сообщил:

— Там адреса нет, душа любезный. Там... спасибо, голубчик, есть... и подпись есть... Камо!..

Эскорт, приближаясь к заставе, мчался по вечернему Тифлису. Князь подозвал есаула и сунул ему ассигнацию.

— Молодец! Правильно служишь царю. Возвращайся и выпей за его императорское здоровье.

И, когда конвой скрылся за поворотом, он поправил аксельбанты, взглянул на инженера и с трудом подавил смех.

Камо был очень доволен собой: задание выполнил, Марципанова провел. А сейчас откроет, наконец, этому опытному, прибывшему от Ленина подпольщику, какой он, Камо, замечательный конспиратор. Положив руку инженеру на колено, он произнес совершенно трезвым и нарочито безразличным голосом:

— А вы неплохо свою роль сыграли... товарищ Василий. — Камо замер в ожидании эффекта.

Но Василий не вздрогнул, не полез в карман за револьвером, даже не повернулся в сторону Камо. Только чуть заметно улыбнулся:

— Важно не переиграть. Конспирация — не игра. А в общем вы молодец... товарищ Камо. — И он тихо, заразительно рассмеялся.

Камо сконфуженно отвернулся, но в следующую минуту подхватил смех Василия.

— Ай вы, какой хитрый, товарищ Василий, тысяча и одна ночь. — И он спросил с откровенной ехидцей: — А между прочим, давно вы меня узнали? — И точно, как это делал швед в санях, он потер указательный и средний пальцы о большой, будто катал между ними шарик, и повторил: — Тысяча и одна ночь.

— Если между прочим, то я вас тогда в санях чуть не застрелил, дорогой мой... — и Василий неожиданно легко произнес: — дорогой мой Ванханкаупунгинлахти. А знаете почему? Да потому, что это ваше мудреное шведское имя на самом деле финское географическое название. Есть такой нетронутый природный заповедник возле Гельсингфорса. А акцент-то у вас был скорее кавказский. — Он снова рассмеялся и спросил, наклонившись к самому уху Камо: — Читаете что-нибудь?

Камо нахмурился.

Василий взглянул на него, подумал: «Вот какой ершистый». Покачал головой.

— Ну, не сердитесь. Ну же, вы... — И он, ткнув Камо плечом, снова рассмеялся, подражая его «шведскому» акценту: — «Лось лапландски, котори час ваши ходики?..» А этот-то, Марципанов!

Камо не удержался, снова поддался смеху, и они засмеялись оба миролюбиво и дружно.

Смех этот все нарастал, и, когда один из них пытался остановиться, еще заразительнее хохотал другой. Прохожие принимали их за подвыпивших гуляк, а они по очереди пытались что-то сказать, вспоминая ту или иную деталь своего путешествия, и не могли. Слезы уже струились по их щекам, и от этого им было еще смешнее смотреть друг на друга. Они хохотали все безудержнее, как могут смеяться только здоровые и честные люди, хохотали, понимая всю комичность недавних событий, хохотали, сознавая, как хорошо, что они могут вот так, с полной безопасностью смеяться посреди улицы, хохотали, не сознавая, что этот смех — разрядка после нечеловеческого напряжения последних дней.

А Марципанову тем временем было не до смеха. В его номере вода уже шла через край ванны, а сам он неистово кричал в телефонную трубку. И в полицейских участках, передавая друг другу его сообщение, кричали в телефоны ошалелые жандармы.

Не до смеха было и злополучному страховому агенту. В кругу других задержанных он стоял в набитом битком жандармском управлении и ждал решения своей участи. Впрочем, исследовав чемоданы, его выпустили.

А Камо и Василий все смеялись.

Тем временем из ворот дома наместника вылетела группа всадников. Одна... другая. Вот они уже мчатся по той самой дороге, по которой только что проехали Камо и Василий.

Погоня!

А те все еще хохотали. Теперь к ним присоединился и «возница».

Это уже походило на беспричинный хохот школьников, которые, прыснув во время серьезного урока, зажимают рты, но уже не могут сдержаться, и остановить их в состоянии только окрик учителя.

Но тут Камо с трудом выдавил сквозь смех:

— Ах, этот болван! Ах, представьте себе... Ах... Как будет выглядеть этот болван... прочтя... ах... записку... подписанную самим Камо!

До Василия не сразу дошел смысл этих слов. Но вот он вскочил:

— Вы с ума сошли.

Камо ликовал:

— Нет, это он с ума сойдет! Вадик! — И, снова расхохотавшись, ударил Василия по колену и очень громко повторил: — Он, товарищ Василий!

При слове «товарищ», произнесенном так громко, Василий глазами показал Камо на гайдуков и процедил сквозь зубы:

— Да тише вы!

Камо не без удовольствия зевнул и как бы невзначай обронил:

— Ничего, гайдуки мои.

Василий бросил на него оценивающий и восторженный взгляд, но сразу отвернулся и, беспокойно оглядываясь, впервые повысил голос:

— Да кто вам дал право рисковать важнейшим поручением партии?!

Впереди, у магазина, стояла арба, крытая брезентовым навесом и запряженная двумя буйволами. Покуривая, к ней прислонились седой аробщик и какой-то молодой человек.

Камо ответил Василию так же беспечно, как о гайдуках:

— Ничего, уже приехали.

Он спрыгнул с фаэтона, подбежал к арбе, пожал руку молодому человеку, обернулся в сторону «гайдуков» и, заложив колечком большой и указательный пальцы в рот, пронзительно свистнул.

— Пересадка. Поклажу сюда! Сами — направо, налево — и нет!

Молодой человек, это был один из друзей Камо, нанявший по его поручению арбу, взял под уздцы лошадей, запряженных в фаэтон, и повел их в подворотню. Аробщик безучастно покуривал трубку...

И вот по опустевшей улице медленно движется крытая арба. В глубине Камо и Василий. Они то и дело подсовывают ладони под бока — у чемоданов острые углы.

— Начали на тройке, кончили на волах, — усмехается Василий. — Эх, вы!

И вдруг навстречу арбе вылетают всадники.

— Эй, вы там,— крикнул ехавший впереди,— не проезжали тут два фаэтона?

Камо ткнул аробщика револьвером в спину и что-то прошептал.

— Проезжали, бала-джан, — крикнул аробщик, — туда, туда.

Казаки ускакали.

Аробщик обиженно заворчал:

— Зачем учишь? Полиция ищет, значит, хороший человек, выручать надо.

— Прости, отец... — смутился Камо и повернулся к Василию: — Ну, вот и все в порядке.

Василий снисходительно сказал:

— Переигрываете... Сколько вам лет?

— Двадцать один, а что?

Василий не ответил.

Как тягостно скрипели в тишине колеса арбы!..

Наконец Василий нарушил молчание.

— С годами это пройдет... Погоди, старик, — обратился он к вознице, — здесь мне близко. — Василий перешел на шепот. — О доставке груза сегодня же сообщите комитету. — И он легко спрыгнул с арбы.

Камо высунулся из-под навеса.

— А все-таки революция — дело веселое! — задорно крикнул он.

И, словно для того, чтобы опровергнуть эти слова, в глубине двора раздался испуганный детский крик.

— Дядя Вася, дядя Вася! — Через двор к Василию с криком бежала девчушка. Она вцепилась в его рукав и сказала так звонко, что слышал и Камо в отдаляющейся арбе: — Дядя Вася! Вашу тетю Катю казаки растоптали!

С лица Камо сошла улыбка.

резни не будет

И вот Василий сидит у постели жены. Голова ее забинтована. Худенькие обнаженные руки лежат поверх одеяла.

— Плохо тебе, Катя?

— Всем теперь плохо, Вася... Никита у соседки?

— Да, Катенька.

— Ты гляди, родной, если что... береги его...

Василий погладил ее руку и сказал с нежным укором:

— И зачем тебе надо было туда с бабами идти?

— А что? — слабо улыбнулась она. — Другим надо, а твоей жене не надо? Так, товарищ комитетчик?

— Никому не надо было. Просители!.. В Питере девятого января тоже просили...

Он встал, нервно достал папироску, вспомнил, что курить нельзя, и захлопнул портсигар. Щелчок получился громкий. Катя поморщилась от боли.

— Прости, родная!.. — Он снова присел на краешек кровати. — Сейчас в России есть один путь: кровь за кровь!

— Кровь, кровь... Я от Маши из Баку письмо получила...

— Катенька, тебе, наверное, не надо разговаривать...

— Молчи. Помнишь соседку нашу, азербайджанку, певунью такую, Машидат?

Василий обрадовался, что она отвлеклась от черных дум, заговорила о легком, второстепенном. Он спросил с наигранной веселостью:

— У которой Никита рахат-лукумом объелся?

Она на секунду прикрыла ресницами глаза. Это теперь на ограниченном языке ее жестов означало «да».

— А Гаянэ-молочницу помнишь?

— Еще бы! Румяная такая, развеселая армянка. Не ходит, а летает со своими бидонами!

Василий даже прошелся с трогательной неуклюжестью, стараясь позабавить свою Катю, словно больного ребенка. Он хотел показать, как летает Гаянэ-молочница, но получилось больше похоже на походку медведя.

— Так? — весело спросил он на ходу.

Катя оценила его старания и попыталась улыбнуться.

— Очень точно, Вася.— Она снова на секунду опустила ресницы, а когда подняла их, в глазах у нее стояли слезы. — Зарезали их обеих.

Василий остановился, как перед стеной. Если бы в руках у него действительно были бидоны, они грохнулись бы на пол.

— В Баку была армяно-татарская резня... Тебе, родной, в комитете расскажут подробности... Нет, ты подумай, зачем Машидат и Гаянэ нужно было друг на друга... — Она не договорила.

Василий вздохнул:

— Царю нужно было.

— Милый ты мой Василек! Разве не я тебя в воскресной школе политике учила? — У нее, наконец, получилась улыбка. — Ты ведь влюбился-то в меня, пока я тебе рассказывала, что такое либеральная буржуазия... — Улыбка угасла. — Полицейские провокации, черносотенцы, дашнаки, исламисты, сионисты!.. Все так. А представить себе, как Машидат и Гаянэ друг друга за косы таскают, убей, не могу!..

Она совсем устала от этой длинной речи. На лбу выступил пот. Василий осторожно вытер его ладонью, задержал руку на ее горячем лбу.

— Да, родная, но больше тебе нельзя разговаривать.

— Здесь бы не повторилось... Трусиха я!

Он горько улыбнулся. Вот так всю жизнь она у него за других боится. Молча погладил ее по плечу, провел ладонью по руке. Их пальцы встретились.

— Сожми мне руку, — попросила она. — Сильней. Вот так. Сильный мой. Нет, с тобой я ничего не боюсь.

— И правильно. — Он наклонил голову и посмотрел куда-то в стену. — Резни в Тифлисе не будет!..

Василий уже знал, что произошло в Баку.

С грохотом, звоном, разноязычным гомоном, фырканьем лошадей и криком ишаков, со всей пестротой лиц и одежд, собранных здесь чуть ли не со всего мира, начиналось обычное утро на бакинском базаре. Подбирая полы халата, нес корзину фруктов окрашенный хной турок. Раскладывали свое имущество армянские сапожники-пиначи, гортанно хвалил свой товар меняла-перс, тащил заупрямившегося ишака продавец хурмы. И вдруг кто-то дернул турка за халат, корзина с фруктами опрокинулась. Турок свалился наземь, затем поднялся и, еще не разглядев как следует лица обидчика, наотмашь ударил его в лицо. Началась обычная базарная свалка. Но уже через несколько минут в ней участвовал весь базар. Разгромили лавчонку армянина, и его соотечественники, собравшись толпой, отправились громить лавки в татарском ряду. С базара резня перекинулась в кварталы армянской и татарской бедноты, пролилась первая кровь, появились первые жертвы. Собирая в разных концах города толпы армян и татар, разглагольствовали священнослужители. Ночью вспыхнул пожар.

Назавтра в партийном комитете уже знали, что все это, начиная с того момента, когда какой-то хулиган дернул турка за халат, и кончая большим пожаром и рекой крови, было делом рук полиции.

Царь старался отвлечь народы Кавказа от ре-

волюционной борьбы, натравить трудящихся разных национальностей друг на друга...

— В Тифлисе резни не будет, — еще раз твердо повторил Василий.

И тут вошла Медея, та самая девушка с косами, которая в поезде восхищалась смелостью Камо, а потом на перроне искала его среди задержанных. Она вела за руку мальчика.

— Сейчас доктор придет. Вам, может быть, деньги нужны? Мой дедушка рога продал.

— Спасибо, Медико!.. Никита! — Василий подхватил Никиту под мышки и подбросил его.

Тот, глядя на мать и дрыгая ногами, весело спросил:

— Папка, а что такое умирать?..

— Сынок мой! — простонала Катя.

В другом доме, у другой постели, точно так же как Василий, в изголовье сидел Камо.

— Сынок мой! Ты хорошо поел? — с трудом спросила его больная мать. — Нам нужно поговорить. — Она пристально посмотрела на него. — У каждой матери есть фотография сына. — И она достала из-под подушки полицейское объявление о награде за поимку Камо. — Нечего сказать, радуются глаза матери! — Глаза ее наполнились слезами. — Больная, у чужих людей должна прятаться... С кем ты связался, Синько?

Сын смотрел на мать и чувствовал, что к горлу у него подступает комок. Сколько горя он уже доставил ей! Впрочем, он ведь не бил стекла и не стрелял из рогатки по воробьям. Пожалуй, товарищи любили его, считали даже своим верховодом, хотя и подшучивали, когда он неправильно выговаривал русские слова. Кстати, в школе и появилось его новое имя — Камо. Он помнит, учитель закона божьего рассказывал однажды о том, как Христос одарил одним караваем хлеба множество людей. Он тогда не поверил и переспросил: «Камо же достался этот хлеб, господин учитель? Скажите, камо?» В клас-

се захохотали. С тех пор за ним и укрепилось это новое имя — Камо. Ох и изводил же он учителя закона божьего своими вопросами!

Больше всего непонятно было Семену, почему Христос, такой добрый человек, все же не мог устроить так, чтобы в селении Гори всем людям жилось хорошо.

Доведенный до бешенства, господин учитель закона божьего и добился исключения его, Семена Тер-Петросяна, внука священника, из школы. Мать со слезами провожала сына в Тифлис.

Здесь он нашел ответы на те вопросы, на которые никогда не смог бы ответить ему господин учитель. Подполье. Комитет. Кажется, он нередко удивлял старших друзей своими планами. Однажды он предложил товарищу Цхакае так организовать демонстрацию:

— Я скажу крестьянам, пусть наловят много ворон. Мы им к ногам привяжем плакат «Долой самодержавие!». Пока полиция будет, что называется, ловить ворон, мы и пройдем по улицам.

Эта идея, разумеется, не была поддержана. Но он замечал, что ему дают все более рискованные поручения. Два года назад он попался с чемоданом подпольной литературы, которую вез из Тифлиса в Батум. Кажется, тогда на допросе он неплохо сыграл роль, уверяя, что если его долго будут держать в тюрьме, то от такой несправедливости «сам царь Николай окаменеет на престоле».

Но полиция почему-то не отпустила его.

Полицмейстер запросил о нем отца, и мать узнала, что сын арестован. Так он доставил ей второе, и уже серьезное, огорчение.

Из тюрьмы он бежал. Выбрав удобный момент, среди бела дня во время арестантской прогулки перемахнул через высокую стену. Долго он не мог послать весточку матери и еще дольше не мог увидеться с ней. И вот, наконец, они встретились...

— С кем ты связался, Синько? — спросила мать. И Камо по-детски растерялся: неужели мать считает его бандитом?

Сестра Джаваира попыталась помочь ему:

— Ах, мама, милая мама! Ведь он хочет... ну, как тебе это объяснить... Мы хотим...

— Мы?.. Ты тоже? — спросила мать, показывая на полицейское объявление.

— Мама! — Камо поднялся. Сейчас он все объяснит. — Мама, ты слышала, что было в Петербурге зимой, девятого января?

— Слышала, Синько. Там русских убивали. В Баку недавно армян убивали. Здесь грузинок убивали. И тебя тоже убьют!.. Вот за эту голову они назначили плату. — И она притянула его голову к груди, как бы стараясь всей силой материнской любви прикрыть ее от страшной опасности. — Тебя убьют, Синько, убьют.

Камо нежно отвел руки матери. Кончиком простыни вытер с исхудавших щек слезы и выкрикнул как можно веселее:

— Я живучий, мама!

Во дворе заскрипела шарманка.

— Вот смотри! — И Камо прошелся у постели больной матери совсем так, как Василий у постели жены.

Повернувшись спиной, приплясывая и прищелкивая пальцами, он запел под шарманку лихую песенку кинто — уличного торговца:

Об одном молю судьбу:
Хороните не в гробу.
Я хочу в бурдюк с вином
Да с приправой, с тархуном *.

Если б мать заглянула в лицо Камо, она бы увидела, что лицо его было совсем невеселое.

Джан-ная, джан-ная!
Искупаюсь я в вине,
И воскресну я вполне!
Джан-ная, джан-ная!

— Ну же, мама, улыбнись!

Сестра Джаваира задорно рассмеялась. У Камо

* Тархун — трава, острая приправа к еде.

игра в веселость получалась все-таки немного лучше, чем у Василия. «Совсем еще мальчик!» — подумала мать.

— Почему у тебя столько врагов, Синько? — улыбнулась она. — Разве ты плохой человек?

А шарманка все скрипела.

— Не я плохой, мама, царь плохой. Царские министры плохие. Барабанов плохой...

Шеф тифлисских жандармов Барабанов в свободное время самозабвенно отдавался одной страсти — кулинарии. Вот и сейчас он в белой рубашке с засученными рукавами стоял в саду под яблоней у столика, на котором сверкали серебряные соусницы, мудреные вилки и вилочки, ложки и ложечки, а в музейных фарфоровых чашах плавали травы и коренья.

— Заметьте, дорогой Вадим Аркадьевич, что девизом древности было: хлеба и зрелищ! Еда и искусство были, батенька мой, равны.

Марципанов, к которому были обращены эти слова, удобно расположился в кресле-качалке. Барабанов искоса поглядел на него оценивающим взглядом: вот прислали столичную штучку, хорошо бы его прибрать к рукам. А то на что-нибудь нажалуется, и неприятностей не оберешься.

— У вас оригинальное представление об искусстве, — улыбнулся Марципанов. — Но нынешняя чернь требует уже хлеба и власти.

— Ну-ну. В древности был еще один девиз: огнем и мечом! Меч устарел. Огнем и свинцом — и чернь будет молчать. Вот как эта рыба!

Барабанов взял с подноса жирный кусок сырой форели, почмокал губами.

— Доставили мне ее, голубку, с озера Севан. — Глаза его зажглись вдохновением. — О, филей из форели, соус женевский! Не еда, а балет! — Голос Барабанова зазвучал торжественно. — Смотрите, я складываю ее в каменную чашку. Заметьте, обязательно в каменную, так-с, обливаю ее прованским

маслицем, так-с. А теперь ей, миленькой, перчику. Главное — побольше перчику!

Марципанов презрительно прищурился.

— Вы на Кавказе привыкли к острой кухне, Гавриил Петрович! Огнем, свинцом, перцем! Женщин копытами давите. Грубо! Нужно учиться лавировать, милостивый государь. Кстати, сколько армян и татар перерезали друг друга в Баку?

Барабанов с трудом сдержал злость. Тоже приехал молокосос столичный поучать его, старого волка! Он сделал вид, что не расслышал, и спросил, плохо скрывая издевку:

— А едали вы голубей с равиготом в горшке а-ля франсэ?

Марципанов заговорил сдержанно:

— Вы забываете, мои полномочия утвердил департамент. Я вынужден буду доложить туда, в Петербург, что вы работаете грубо и примитивно. Одним перцем, всё одним перцем.

Барабанов усмехнулся, взял толстыми пальцами обеих рук по корешку сельдерея и петрушки.

— Почему одним? Вот сельдерей и петрушка. — Он театральным жестом соединил корешки. — Они всегда в ладу живут, Вадим Аркадьевич. — Он бросил корешки в чашку. — Оба ведь в одной чашке варятся... Вот и мы так, батенька, и мы. — Он выдержал паузу. — Я бы вот, к примеру, не стал докладывать департаменту, как вы, дорогой Вадим Аркадьевич, получили сразу по приезде на Кавказ... визитную карточку от одного светлейшего князя. — Он подавил смешок и добавил с деланным сочувствием: — Ах, какой конфуз, какой конфуз! Он, говорят, и ехал-то с вами от самого Петербурга, этот князь, а?

— Уже и о карточке донесли? — хмуро спросил Марципанов.

Барабанов окунул пальцы в фарфоровую чашку с водой и не спеша вытер их полотенцем:

— Ну что вы! Зачем донесли? Доложили!

Он швырнул полотенце на стул, резко повернулся и впервые заговорил серьезно:

— Плохо вы там в столице представляете, что такое Кавказ. Острая кухня! А как с ними иначе!

Марципанов заговорил примирительно:

— Послушайте, Гавриил Петрович, вы, я вижу, человек неглупый. Наша матушка Россия только еще учится управлять колониями... И уж если вы собираете девизы, как школьники марки, то вспомните еще один: «Разделяй и властвуй!»

Барабанов давно понял, к чему клонит собеседник, но ему не хотелось брать ответственность на себя.

— Мудрите, Вадим Аркадьевич?.. Если бакинские беспорядки повторятся здесь, отвечать придется мне.

«А он действительно не глуп», — подумал Марципанов и широко улыбнулся.

— Не я ли здесь представляю департамент?

Барабанов еще колебался.

— После бакинской истории приходили священнослужители, просили охраны.

Марципанов весь подался вперед:

— А что вы?

— Отказал. У меня нет возможности держать часовых возле каждой лавки.

Марципанов даже крякнул от удовольствия и быстро заговорил:

— Пусть они придут еще раз! Пусть организуют охрану сами. Мы им поможем. Мы им выдадим винтовки, тем и другим: армянам и татарам. Выдадим, — он многозначительно развел руками, — для самообороны. Только и всего. Понимаете? Выдадим для самообороны. И уж не наша вина, если они потом из этих винтовок друг друга перестреляют.

Теперь Барабанов, в свою очередь, оценил собеседника:

— Понимаю.

А тот презрительно улыбнулся:

— Слава богу... а мы с вами давайте не будем ссориться. Руку!

Марципанов выдернул руку из кармана. Выпала бумажка. Барабанов как бы из вежливости быстро

нагнулся за ней. Марципанов со светской улыбкой забормотал:

— Что вы, что вы! Не беспокойтесь.

И получилось, что они подняли бумажку вместе, и она развернулась в их руках. Это было все то же объявление с портретом Камо. Барабанов хихикнул:

— Вижу, батенька, князь совсем очаровал вас. Как портрет невесты носить изволите.

Марципанов отвернулся:

— Я этой невесте надену... обручальные кольца! Можете не сомневаться!

Он поднес портрет Камо к глазам. Барабанов заглянул через его плечо, опять хихикнул и съехидничал:

— Как живой!

А живой Камо сидел с друзьями в духане, за узким окном гремела о камни Кура.

Друзья собрались послушать Камо. Справа от него сидели богатырь кочегар Реваз и задумчивый Гиви. Слева кипучий, как молодое вино, Ваагн, медлительный, как восточный полдень, Сулейман и белобрысый застенчивый Степан. Вглядевшись в этих молодых людей, мы без труда узнали бы в них «гайдуков» из княжеской охраны. И еще один наш знакомый вертелся на стуле у противоположного от Камо конца стола. Это был официант, прислуживавший в гостинице Марципанову, Сейчас он с восторгом изображал, как прочел Марципанову визитную карточку Камо и как заорал: «Ва-а! Ва-а!»

За фанерной перегородкой подвыпившая компания чересчур громко пела грустную песню о черной ласточке. А здесь молодые друзья били в ладоши, стучали стаканами, хлопали себя по коленям, выражая беспредельное восхищение лихой проделкой Камо. А тот перекатывал в пальцах шарик и хмурился.

— Что скромничаешь, Камо? — спросил один из товарищей.

— Так на чем я остановился?

— Что такое либеральная буржуазия, — подсказал Ваагн и оказал этим Камо медвежью услугу.

— Либеральная буржуазия... Как бы тебе объяснить...

Он прислушался — песня в соседней комнате стала тише, и это выручило его.

— Пойте, поддержите их!

Но Ваагн настаивал:

— Так что такое либеральная, Камо?

Именно в этот момент в духан вошел Василий. Быстро пожал всем руки и сел за стол рядом с Камо на уступленное Ревазом место. Сел и сразу заговорил:

— Все в сборе? У меня к вам срочные дела, товарищи!

Камо еще раз бросил своим:

— Пойте, поддержите их! — и повернулся к Василию. — Раньше скажи, как здоровье Кати?

— Плохо. — И он спросил, чтобы переменить тему: — Я, кажется, прервал ваш разговор?

Любопытный Ваагн, наконец, добился своего.

— Ничего, — ответил он. — Камо объяснить хотел, что за либеральная такая буржуазия.

Камо метнул на него сердитый взгляд, набрал полную грудь воздуха и словно прыгнул в воду.

— Ну что пристал! Полчаса объясняю. Она болтает, что свободу любит, а сама царя любит. Наших любит и ваших любит. Потому и люби-ральная. Пойте!

Терять больше было нечего, и он дерзко взглянул на Василия.

— Семен Аршакович, — сказал тот, пряча улыбку, — абсолютно правильно и, я бы сказал, даже научно изложил суть дела.

Друзья с гордостью переглянулись. Только образованный Гиви закрыл лицо ладонями. Василий тихо сказал:

— А теперь к делу.

Гуляки за перегородкой услышали, что их песню

подхватили. Один из них одобрительно заулыбался и пальцем подозвал духанщика:

— Хорошие соседи! Бутылку вина от нас!

А Василий быстро спрашивал у Камо:

— Статья Ленина отпечатана?

Камо кивнул.

— А прокламации о резне в Баку?

— Завтра будут в комитете.

— Где динамит?

Но Камо не успел ответить: в дверях церемонно склонился духанщик с бутылкой на подносе.

— Вам привет, дорогие гости. Его послали люди чистые, как слеза. Кто — секрет. Пейте на здоровье!

Камо недовольно поморщился, но с наигранной веселостью спросил у друзей:

— Чем отвечать будем дорогим соседям?

Реваз так же любезно спросил у духанщика:

— Что такое они пьют, батоно? *

— Гурджаани!

Василию было не до церемоний:

— Что мы, пировать сюда собрались?

Камо наклонился к его уху и отплатил за недавнюю обиду:

— Конспиратор!.. Пришел в духан, не веди себя, как в церкви! — и обратился к духанщику с любезной улыбкой: — Две бутылки гурджаани дорогим соседям!

Духанщик с поклоном ушел.

Василий пожал плечами. Степан, заметив это, заступился за Камо. Разведя руками, он с мягкой укоризной серьезно объяснил:

— Порядочков не знаете. Получили одну — посылай парочку. Уж так-то.

Камо бросил друзьям:

— Пойте же, пойте громче!

Песня возобновилась. А он повернулся к Василию:

— Динамит в мастерской. Бомбы замечательные будут. Вот еще винтовок бы!

---

* Бато́но — уважаемый.

Василий быстро заговорил:

— Хорошо. Пойте тихо и слушайте, товарищи, внимательно. Комитету стало известно, что власти решили раздать оружие муллам и дашнакам *. Цель этой провокации...

Тут из соседней комнаты донесся рев восторга и гром рукоплесканий по поводу полученного подарка. Василий посмотрел на дверь.

Реваз, прервав пение, озадаченно бросил:

— А что, если они теперь четыре пришлют?

Камо ответил:

— Не пришлют! Пой!

— А если все-таки пришлют?

— Ну, пришлют так пришлют... Значит, резню готовят! Та-ак... Что же решил комитет?

Василий ответил вопросом:

— А что предложишь ты и твои друзья?

Но тут над ними снова навис духанщик. На его подносе красовались именно четыре злополучные бутылки. Он был доволен и произнес речь гораздо цветистее первой:

— Вам ответ, дорогие гости! Не скажу, чтоб его прислали хорошие люди. Нет. Его прислали не хорошие люди и совсем не люди... Его прислали светлые ангелы, какие бывают только в моем раю, светлые духи с золотыми сердцами и кровью, чистой, как это вино. Кто — секрет. Пейте на здоровье!

Василий нетерпеливо забарабанил пальцами, а Камо с подобающей улыбкой выслушал тираду духанщика, потом полез в карман и неожиданно сказал друзьям:

— У меня гривенник.

Друзья продолжали петь с вдохновенными лицами, но под столом выворачивали карманы и передавали друг другу деньги. И вот Камо взглядом оценил, что очутилось у него на ладони, и распорядился торжественно:

— Шесть бутылок от нас!

---

* Дашнаки — армянские буржуазные националисты.

Духанщик с церемонным жестом удалился. Василий беззлобно бросил:

— На этом, я полагаю, конец? Ну и место нашли.

Камо усмехнулся:

— На этом — конец. А место самое подходящее.

За перегородкой раздался новый взрыв восторга. Камо опасливо покосился в ту сторону, повернулся к друзьям и, показав взглядом на Василия, серьезно спросил:

— Вы слышали? Что предлагаете? Пойте и говорите по одному. Гиви!

Гиви ответил:

— Митинг протеста! — и снова запел.

Сулейман отрубил:

— Молодец! — и снова запел.

Степан тоже, лишь на секунду прервав песню, сказал:

— Верно, митинг и прокламации!

Сулейман продолжил:

— Армянам скажем, всем скажем: не брать этих проклятых винтовок! Молодец!

Но Камо, который все время что-то обдумывал, хитро прищурился:

— А почему не брать? Возьмем и спасибо скажем. Бомбы есть, теперь винтовки будут. — И, лукаво поглядев на удивленных друзей, добавил: — Пусть мулла и дашнаки у полиции берут. Мешать не будем. А у муллы мы возьмем, у дашнаков возьмем и раздадим рабочим... Не так ли комитет считает?

Василий впервые улыбнулся:

— Правильно. Первым делом собери дружину и хорошенько проверь людей.

— Проверю.— И Камо наклонился к Василию.— Я так сделаю... Соберу за городом и...

Но больше ему ничего не удалось сказать: зурначи в соседней комнате заиграли что-то неистово громкое и приветственное. Через комнату, уже издали крича: «Вам большой привет, дорогие гости...» — шел сияющий духанщик с огромным, уставленным добрыми двадцатью бутылками подносом. За ним —

мальчик, несущий на подносе колоссальный рог, и жена духанщика с подносом закуски. А за ними двое из «светлых духов», пошатываясь, несли в раскрытых, как для объятий, руках еще по две бутылки вина.

За столом Камо все оторопели, откинулись на стульях. Духанщик, став в позу, приготовился произнести самый изысканный из своих тостов:

— Этот рог, мои самые дорогие... самые... алмазные гости-и-и...

В эту минуту в духан вошел филер, тот самый, который встречал петербургский поезд. Он сразу опознал Камо, обрадовался и попятился к выходу.

Но Камо вскочил из-за стола и закричал:

— Куда, куда, дорогой? Стул и почет новому гостю! Дорогому гостю!

Реваз и Гиви, перехватив его взгляд, подхватили филера под мышки и поволокли к столу, приговаривая с укоризной:

— Ва, батоно! Куда! Просим, просим!

И вот в огромный рог сразу из трех бутылок в три струи льется вино. И из этого рога почти насильно вливают вино в рот филеру. А все, и друзья Камо и «светлые духи», окружив «нового гостя», поют здравицу в его честь.

— Пей, пей, пей до дна, дорогой! Пей, сучий сын, пей, шэн мамо дзагло!

Камо отвел Василия в сторону, показал глазами на захлебнувшегося вином филера и сказал:

— А ты считал — плохое место. У нас говорят: легче взойти на Казбек, чем выйти из духана. — Он пожал Василию руку и уже серьезно закончил: — Людей проверю. Оружие отниму. Выходи первым.

Утром в горной лощине у старого дуба впервые собралась его дружина. Она еще немногочисленна — человек двенадцать.

— Комитет поручает нам большие дела, — говорит Камо. — Первое дело — не допустить, чтобы

в городе вспыхнула национальная резня. Мы будем охранять рабочие кварталы. Но прежде я хочу узнать, с кем имею дело!

Среди собравшихся Камо увидел молодого человека со странной прической. Откуда он знает его? Да ведь это тот самый Длинноволосый, которого жандармы задержали в поезде.

— Вот, например, этого господина кто привел?

— Я, — сказал Гиви. — Это мой и Реваза сосед.

— Гм. — Камо повернулся к Длинноволосому. — А вы знаете, что, вступив в дружину, будете рисковать жизнью каждый час?

— Знаю. Я уже подвергался аресту.

— Видел. В поезде. Не совсем орлом вы тогда выглядели.

Длинноволосый вгляделся в Камо.

— Вы?.. Тот князь?! Ну, знаете, с таким вожаком я готов хоть в огонь.

— Да, я тот князь, — сухо ответил Камо. — Потому-то я и не верю, что вы такой несгораемый... Впрочем, на то и проверка, — и он повернулся на каблуках. — Револьверы все получили?

Он отсчитал от дуба тридцать шагов и, почти не целясь, всадил в него семь пуль из нагана, затем выхватил из-за пояса второй наган — еще семь пуль в цель. Все это заняло не больше минуты, и вся дружина ахнула, увидев на дубе геометрически точный круг.

— Ну, вы! — повернулся Камо к Длинноволосому. — Вот в этот сучок! — И он рассмеялся. — Или хотя бы в этот дуб.

Длинноволосый, тщательно прицеливаясь, всадил в сучок все семь пуль. Камо обрадовался.

— Слушай, совсем неплохо! Оказывается, молодец! Давай ты, Гиви.

Когда отгремел последний выстрел Гиви, Камо недовольно покачал головой.

— Никуда не годится, Гиви! Тебе упражняться надо. Вот вы, трое, давайте!

...А за изгибом той же лощины, вслушиваясь в стрельбу и спокойно покуривая, сидела пятерка

жандармов. Усатый великан унтер, немного волнуясь, зажег от окурка новую папиросу и произнес:

— Кури, кури. Пусть все патроны расстреляют!

Когда отстреляла последняя тройка, Камо спросил:

— Все? Мне нужно еще несколько патронов!

Дружинники завертели барабаны своих наганов. Барабаны зияли пустыми гнездами.

— Жаль, — сказал Камо, — ну, знаете что, давайте споем и разойдемся до завтра.

— Еще услышат, — возразил Гиви.

Камо рассмеялся:

— Стрелять не умеешь, трусить умеешь... Как мы тихо-тихо постреляли, не услышали, а песню услышат! Давайте!

И он запел:

> Вихри враждебные веют над нами,
> Темные силы нас злобно гнетут...

Товарищи подхватили:

> В бой роковой мы вступили с врагами...

И вот тут-то появился над кустами огромный жандармский унтер с револьвером в руке, жандармы с бомбами и револьверами плечо к плечу встали за ним.

— Руки вверх, мерзавцы! Ни с места!..

Все посмотрели на Камо. Он, помедлив, поднял руки.

Тогда подняли и другие.

Унтер крикнул:

— Так кто здесь вожак? — Он подошел к Гиви. — Ну, ты, отвечай!

Гиви побледнел, у него затряслись руки. Но он молчал.

— Будешь отвечать?

— М-м-м, — замычал Гиви.

— Кажется, у него от страха язык отнялся, — рассмеялся унтер.

— Сопляк! — бросил Камо.

— Ты не прав, Камо! — вырвалось у Гиви. Он

тут же спохватился, закрыл рот рукой, но было поздно.

— Ах, так вон он какой — Камо! — гаркнул унтер.

Камо бросился в кусты. Унтер за ним. Раздались выстрелы...

Унтер возвратился один.

Он подошел к Длинноволосому. С минуту они пристально смотрели друг на друга. Потом унтер обратился ко всем.

— Ну, с вашим главарем покончено! Теперь вам некого бояться. — Он снова подошел вплотную к Длинноволосому. — Ты вот будешь отвечать на мои вопросы?

Длинноволосый снова пристально вгляделся в него и, гордо подняв голову, ответил:

— Да здравствует революция! Больше вы от меня не услышите ни слова.

— Ах так? Ну тогда беги и ты, слышишь? Беги!

— Я привык поворачиваться к смерти лицом. Стреляйте!

Унтер заколебался.

— Все вы будете после суда расстреляны, как ваш главарь. Останется в живых тот, кто расстреляет вот этого, — и он кивнул в сторону Длинноволосого. — Ну?

Унтер оглядел лица дружинников. Они были бледны, но решительны. Глаза светились ненавистью. Унтер подошел к Гиви.

— Ты?

Гиви отрицательно покачал головой. Растерявшись в первый момент, теперь он уже пришел в себя.

— Я могу расстрелять только себя. Я заслуживаю этого. Растерялся, как мальчишка! Простите меня, товарищи, за Камо!

— Вы все пойдете за ним следом! — закричал унтер.

И вдруг из-за кустов раздался голос живого и невредимого Камо:

— Тысяча и одна ночь!

Он бежал к унтеру и кричал:

— Хватит, товарищи! И так все переволновались!
Повернулся к Гиви:
— Трус!
Потом подбежал к Длинноволосому, обнял и поцеловал его и на глазах у все еще не пришедших в себя дружинников пожал руку унтеру.
— Спасибо, Реваз. Я сам бы лучше не сыграл. Снимай усы.
У одного из дружинников вырвался смех, сначала сдавленный, отрывистый, похожий на кашель. Потом этот смех стал свободным и раскатистым, и его подхватили все. Все, кроме Гиви.
— Спасибо, товарищи, — сказал Камо. — Все переволновались, конечно. Но мне надо было знать, с кем я имею дело.
Реваз подошел к Камо и сказал тихо:
— Только, знаешь, этот Длинноволосый, мой сосед, мне кажется, он сразу узнал меня.
— Ну что ты? — возразил Камо. — Он молодец! Всем нос утер!
Вдруг Гиви поднялся. В глазах его стояли слезы. Он подошел к Камо и Ревазу и возмущенно бросил:
— Не доверяете? Проверка!.. А кто вас проверять будет?!
И, резко повернувшись к ним спиной, Гиви медленно пошел по тропе.
Еще один дружинник встал и молча пошел за ним следом.
Камо хмуро посмотрел им вслед, выпрямился, расправил плечи. Теперь он — командир проверенного отряда.
— Реваз, построй дружину!

...Камо пришел к Василию. Они стояли на террасе, нависавшей над маленьким мощеным двориком.
Василий пытался закурить, но пальцы его дрожали, спички ломались. Камо взял из его рук коробок, и Василий не заметил этого. Камо зажег для него спичку и спросил, показывая глазами на дверь в комнату:

— Что, плохо?

Василий затянулся папиросой...

— Значит, проверил дружину? Молодец!

Камо утвердительно кивнул. А Василий продолжал:

— Если б Ленин узнал об этой проверочке... Позор!.. Может, от тебя лучшие люди ушли!

Камо вздрогнул.

— Если лучшие — вернутся!.. Людей смертью проверять нужно!

Василий ответил очень тихо:

— Нет, жизнью!

— Какой ты каменный! Враги вешают, убивают. Жену твою... — Он спохватился, не договорил, опустил голову. — Борьба насмерть идет. Я... Мне железные дружинники нужны!

— Я! Мне! Для того чтобы найти одного труса или даже врага, ты взял под подозрение всех друзей! Не верю я в твою проверку!

— Почему не веришь?

Василий собрался с силами.

— Если человеку с утра пораньше револьвер в лицо совать, если сразу его согнуть, смотришь — он ишак ишаком. А ты дай ему сперва крылья расправить, и смотришь — он уже на всю жизнь орел. Мужество воспитывают. Понимаешь?

— Чего же ты хочешь?

Василий вздохнул.

— Вода чем больше кипит, тем меньше ее остается, а вино, сам знаешь, чем дольше стоит, тем оно лучше. Выдержке учись, Семен Аршакович, выдержке.

Камо опустил голову, вздохнул, показал взглядом на дверь:

— Тебе помочь?

— Иди. Вечером получишь задание через Медико. Встретитесь на набережной возле парома.

Из комнаты выбежал Никита. Отчаянно крикнул:

— Папа!

Василий понял, ринулся в дверь.

В просторном кабинете под портретом самодержца всероссийского сидел Барабанов. Перед ним стояла группа богатых армян. Марципанов из глубины кабинета прислушивался к медоточивой речи шефа жандармов и одобрительно кивал головой.

— Да-да! — говорил Барабанов. — Сердце обливается кровью, когда мы вспоминаем Баку... Русский престол всегда благосклонно относился к своим верным сынам армянам... Но... — Он сделал вид, что задумался и на что-то решился. — Ну хорошо, господа!.. Мы согласны, мы готовы вам выдать немного винтовок... Но только для самообороны, господа... Обороняйтесь сами!..

Через полчаса Барабанов повторял ту же самую речь перед группой почтенных стариков во главе с муллой.

А когда посетители ушли, Марципанов с Барабановым, посмеиваясь, обменялись комплиментами:

— Я вижу, вы делаете успехи, дорогой Гавриил Петрович!

— Я вижу, вам начинает нравиться восточная кухня, дорогой Вадим Аркадьевич!

И, вызвав адъютанта, Барабанов распорядился:

— Приготовьтесь выпустить весь уголовный сброд!..

...Как изогнутая сабля, точила о берег свое лезвие серебряная Кура. Луна стояла над древним Метехом и светила ярко, но не назойливо. Это был один из тех зимних вечеров, которые, говорят, южная природа устраивает специально для влюбленных.

Невдалеке от парома черные на серебре Куры вырисовывался двойной силуэт. Издали казалось, что это слившаяся в поцелуе парочка. Мимо прошли двое городовых.

— Разводят нежности посреди улицы! — буркнул один.

— Молодежь! — мечтательно вздохнул другой.

А парочка не целовалась. Это были Камо и Медея. Нет, губы Камо не касались губ Медеи, а глаза

его напряженно смотрели в сторону: он прислушивался к удаляющимся шагам городовых. Шаги затихли, и парочка разомкнула объятия. Медея смотрела в землю и, задыхаясь, сыпала скороговоркой:

— Так вот, так, значит, вот, — она взялась ладонями за виски, — перевозить оружие будут сегодня. Сегодня ночью...

Камо кивнул. Медея с трудом подняла голову, украдкой взглянула на него. Она ждала. Ждала теплого слова, жеста, взгляда. А Камо смотрел на Куру, и мысли его были далеко.

— Тысяча и одна ночь! — Он тихо рассмеялся. — Винтовки сами в руки плывут! Передай Василию, что все будет в порядке!

Медея сжала его локоть.

— Идут!

Возвращавшимся городовым издали снова казалось, что они видят силуэт слившихся в поцелуе влюбленных. Камо вновь чутко прислушивался к их шагам. А Медее хотелось верить, что он слушает удары ее сердца.

— Медико, — прошептал Камо.

Медея вздрогнула.

— Что?

— Давай прокламации...

Медея до крови закусила губу, выхватила из рукава своего пальто пачку прокламаций, с трудом — глаза ее застилали слезы — сунула их за борт его пальто. Потом с силой оттолкнула его и резко откинула косы за спину.

— Не смей, слышишь! Не смей больше! Никогда!

— Что с тобой, Медико?

— Не смей больше, слышишь, не смей больше никогда обнимать меня для своей... — и вдруг, совсем по-детски всхлипнув, закончила: — для своей конконспирации!..

Круто повернувшись, она снова гордо откинула косы и пошла, дробно и зло стуча каблучками. Потом не выдержала и побежала.

Камо догнал ее, плачущую, у фонарного столба. Взял за плечи.

— Ты здесь? — не поворачиваясь, спросила она сквозь слезы. — Что, опять городовые идут?

Он мягко повернул ее к себе. Голос его звучал взволнованно.

— Так нельзя, Медико. Нам нужно поговорить.

— Сейчас? — спросила она с наивной надеждой.

Камо замялся.

— Нет. В другой раз, Медико.

Медея кивнула головой и, преодолевая застенчивость, сказала:

— Я для тебя подарок приготовила...

...Унтер хриплым простуженным голосом выплевывал слова.

— Так вот, урки, жиганы, домушники и прочая сволочь! Вышла вам амнистия! Выметайтесь! — Он подошел к арестантам и потряс волосатым кулаком.— Ты чего зубы скалишь?.. Колька Свищ, останься. Остальные вон! Он вам расскажет, что к чему.

Открылись тюремные ворота. Бандиты были выпущены в город.

А в камере унтер пояснял Свищу:

— Так вот, Коля, готовится, как ты говоришь, жирное дело...

По замыслу полиции охочие до грабежей уголовники должны были начать большую тифлисскую резню.

В ту же ночь по глухой улице пригорода, едва освещенной подслеповатыми фонарями, двигался крытый фургон в парной упряжке. Рядом с возницей восседал тот самый богатый армянин, который недавно благодарил Барабанова за винтовки. Рядом с фургоном шли еще двое.

И вдруг из-за угла выскочили всадники. Казачий есаул, осадив коня, спешился и схватил под уздцы лошадей, впряженных в фургон. Он спросил документы, бегло взглянул на них, возвратил хозяину и заглянул в фургон. Там он увидел винтовки.

— Что за оружие? Откуда оружие? — закричал он. И приказал казакам: — Арестовать!

Казаки за шиворот вытащили из фургона дашнака и увели его. Есаул уселся рядом с возницей. Фургон тронулся. Фонарь осветил лицо есаула. Это был Камо. Он оглянулся и с любовью посмотрел на тускло поблескивающие винтовки.

В освещенной подворотне с револьвером в руке стоял штатский. Под мышкой он держал еще один револьвер в кобуре. А перед ним, подняв руки, покачивался безоружный околоточный. Камо быстро спрыгнул с фургона и узнал Гиви:

— Ты откуда взялся?

Потом разглядел околоточного и понял, какую услугу только что оказал ему Гиви.

— Молодец! Подержи его еще с полчасика.

Гиви отвернулся. В нем еще жила обида. Камо положил ему руку на плечо:

— Не время ссориться. Я был не прав.

...В домах и лачугах Тифлиса встревоженные матери укладывали спать детей. Медея в своей комнате уговаривала раскапризничавшегося Никиту выпить стакан мацони, уложила его и тихо запела. В руках Медеи появился чехол для рога, который она заканчивала вышивать бисером.

В соседнем доме армянка, напевая, укачивала на руках грудного младенца.

Она выглянула в открытое окно и увидела, что в доме напротив азербайджанская женщина, откинув с лица покрывало, склонилась над подвесной колыбелью и пела также тихо и сердечно. Над всем городом плыли эти немудреные материнские песни. И хотя эти песни были разными и звучали на разных языках, все они были очень похожи. А переулками, нащупывая за пазухами ножи, крались темные тени. Выйдя из-за угла, Колька Свищ буркнул:

— Ну, урки, начнем с этой хаты!

И вдруг он услышал:

— Кто идет?

И перед ним возник Реваз с винтовкой наперевес.

— Эй ты, не балуй! Нас много.

Бандиты подошли, полезли за ножами.

— Нас больше, — спокойно ответил Реваз. — Эй, Сулейман, Ваагн, Степан!

И вот они стоят плечо к плечу с винтовками наперевес — русский, грузин, азербайджанец и армянин, — рабочие люди.

Уголовники растерялись.

— Марш отсюда! — приказал Реваз.

— Наше вам в шапочку, — попятился Колька Свищ, — счастливо оставаться.

Уголовников как ветром смело.

К окну прильнуло испуганное лицо матери. Реваз крикнул ей:

— Спите спокойно! Резни не будет.

И снова над городом поплыла тихая колыбельная песня. Она поднималась на высокую гору Мтацминда, спускалась к Куре, касалась бурных волн, и ее успокаивающее дыхание пролетало над ними. Она кружила и над домом, где в подвале тихо постукивала типографская машина, — Камо и Василий печатали листовки комитета.

Назавтра на освещенном фасаде театра можно было прочесть часть афиши: «...1905 года — «Гамлет».

В ложах театра смотрела в лорнеты и обмахивалась веерами знатная публика. В директорской ложе скучали Барабанов с женой. Прямо под ними в партере сидел страховой агент Мирский со своей дородной супругой. В последнем ряду партера и на балконе волновалась публика победнее. На галерке — студенты и мастеровые. Среди них можно было увидеть Длинноволосого. Рядом с ним сидела сестра Камо Джаваира.

По сцене медленно передвигались Королева, Горацио, Дворянин, Король и безумная Офелия.

— «Как поживаете, дитя мое?» — вопрошал король.

Офелия заметалась по сцене:

— «Хорошо, спасибо, говорят, у совы отец был хлебник... Господи, мы знаем, кто мы такие, но не знаем, чем можем стать...»

По галерке пробирался Камо, переодетый в сту-

денческую форму. Джаваира уступила ему место. Он сел и спросил у Длинноволосого:

— Ну, что же ты?

Длинноволосый прошептал:

— Выбираю момент... Смотри, как хороша Хризантемова!

Офелия пела:

> Клянусь Христом, святым крестом,
> Позор и срам, беда!
> У всех мужчин конец один:
> Иль нет у них стыда?

— Прямо жалко портить, — тихо произнес Камо, но тут же обрушился на Длинноволосого: — Какой момент? Я же сказал бросать, когда Призрак входит. Почему не бросал? Давай!

Он выхватил из-за пазухи у Длинноволосого прокламации и швырнул их в центральную люстру. Прокламации медленно закружились над залом. Поднялся переполох. Дали занавес. Появились жандармы.

Запоздалая прокламация, покружившись в воздухе, опустилась на погон Барабанову. Тут же перед ним возник филер. Барабанов вскочил и показал ему на галерку.

— По-моему, вон тот студент!

Филер всплеснул руками:

— Да это же он! Голубчик ты мой! — и устремился через зал.

Один из жандармов вырвал прокламацию из рук жены страхового агента. Она обиженно пробасила:

— Вы, блюстители порядка! Допустили, что бросают, так уж дайте прочесть.

Страховой агент поспешил одернуть ее. Но жандарм, вглядевшись в него, сказал:

— Ага, опять вы! Следуйте за мной!

На сцене Принц датский смотрел в щель закрытого занавеса. В его руках тоже была прокламация. Вокруг волновались Офелия, Полоний, Королева-мать, Король, гримеры, осветители, пожарники...

— Ну же, господин Гамлет, читайте вслух, — стукнула ножкой Офелия.

Актер, игравший Гамлета, снял парик, подошел ближе к свету и начал читать:

— «Да здравствует международное братство!»

Полоний и Королева-мать с опаской поглядели за кулисы.

Из-за кулис вдруг просунулась рука и взяла за запястье Офелию. Актриса оглянулась и узнала своего дорожного спутника — князя.

— Вы, о князь! — воскликнула она.

С другой стороны сцены появились жандармы.

— Это за вами? — догадалась актриса.

— Да, принцесса, или как вас там, — ответил Камо. — Вот что, послушайте, я вас однажды выручил. Теперь ваша очередь.

Актриса схватила Камо за руку и увлекла за собой мимо декораций, мимо артистических уборных. Едва они исчезли, в узком коридоре появились жандармы и филер. Дорогу им пересек актер на ходулях, в черном балахоне, с косой в руке и в маске смерти. Филер вгляделся в него и на всякий случай приказал жандармам:

— Взять!

«Смерть» угрюмо сказала:

— Житья от них нет.

А Камо говорил актрисе в одной из гримировочных комнат:

— Скорее покажите мне пожарную лестницу, и я уйду.

— Никуда вы сейчас не уйдете. Театр набит полицейскими. Ждите!

Она торопливо прошмыгнула в соседнюю артистическую уборную и немедленно возвратилась, притащив фрак, атласную накидку, лакированные туфли и трость с костяным набалдашником, швырнула все это к ногам Камо и, отвернувшись, сказала:

— Одевайтесь!

Тяжело дыша, она прислушивалась к шорохам за дверью, но услышала за спиной бодрый голос Камо:

— Как вас зовут?

Беспомощная и растерянная в эту минуту, она совсем по-детски ответила:

— Валя...

Камо рассмеялся.

— Ну, видите, хороший человек, а тоже придумала: «Розоастрова! Хризантемова!..» Можете обернуться.

Актриса повернула голову. Молодой франт в небрежно надвинутом цилиндре, пританцовывая, разминал лакированные туфли.

— Эх, пить будем, кутить будем! — Камо рассмеялся.

Валя удивленно всплеснула руками.

Они благополучно прошли мимо филера. И вот перед ними набережная Куры. Камо огляделся:

— Ну, кажется, все тихо.

Они остановились на каменной лестнице. Валя явно гордилась тем, что совершила такой рискованный и благородный поступок.

— Нет, все это как во сне... Купе... Князь-повеса... И вдруг... — Она оглядела Камо с ног до головы и заключила: — А знаете, ведь вы чудесный актер!

Камо ответил серьезно, но с иронической ноткой превосходства:

— Я обыкновенный революционер, Валя.

— Обыкновенный? — Валя отрицательно покачала головой и вдруг сказала: — Помните: «Как знать, барышня? Людей не сразу узнают...» — Она очень точно изобразила «князя», и Камо снова рассмеялся. А девушка вздохнула и заговорила горячо и наивно: — Нет, революционеры не бывают обыкновенные!.. Это вот я обыкновенная провинциальная актриса.

Камо мягко возразил:

— Люди и сами себя узнают не сразу... Как это у вас там? «Господи, мы знаем...»

Валя повторила слова Офелии:

— «...мы знаем, кто мы такие, но не знаем, чем можем стать...»

— Вот именно!.. Кто знает, может, мы с вами еще встретимся по обыкновенным революционным делам. — Он протянул ей руку. — Спасибо!

Валя рассеянно посмотрела на него и неожиданно спросила:

— Вы сами сочинили эту прокламацию?.. Как там... «Долой самодержавие! К оружию!..»

Чтение этой прокламации мог бы сейчас продолжить сам наместник царя на Кавказе Воронцов-Дашков. Он бегал по своему кабинету с большевистским листком в руках, и, поворачиваясь, как оловянные солдатики, за ним следили вытянувшиеся и поедавшие начальство глазами Марципанов и Барабанов.

— «К оружию, рабочие и крестьяне! Грузины, армяне, татары, русские...» К оружию! Вы слышите, милостивые государи? — кричал наместник. — Нет, если бы я так же хорошо владел пером, как эти господа социалисты, если бы я нашел нужные слова, я бы сказал, что только безмозглым ослам... — Наместнику на минуту стало неловко. Подчиненные знали, что он редко выходил из себя. Но вот он глотнул воздух, махнул рукой и закричал еще громче: — Вот именно, только безмозглым ослам могло прийти в голову самим вооружить чернь.

Лица Барабанова и Марципанова бледнели с каждым словом. Наместник повернулся к ним спиной и сказал уже тихо:

— Опубликовать в газетах ультиматум... В двадцать четыре часа сдать оружие... А потом я хочу, наконец, видеть зачинщиков. Слышите! Я хочу увидеть этого Камо! В петле!

ЧАСЫ ВАСИЛИЯ

Назавтра вооруженные дружинники заполнили тифлисское депо. Передняя площадка старенького паровоза превратилась в трибуну. Люди разместились вокруг на тендерах паровозов, на сваленных в кучу буферах и рессорах. Немолодой человек в пенсне заканчивал речь.

— Как ни печально, друзья мои, — сказал он, ши-

роко разводя руками, — ультиматум наместника должен быть принят.

Депо ответило протестующим гулом:

— Трусость!

— Докатились!

— С жандармами снюхались!

— Позор!

Человек в пенсне пытался перекричать всех:

— Тише!

В толпе Гиви обратился к Камо, показывая глазами на меньшевика:

— Винтовки добывали — для него старались! — И его голос перекрыл гул и сразу потонул в раскатах смеха. — Тише! А то господин социалист, пожалуй, с рельсов сойдет.

Человек в пенсне замахал руками.

— Поймите же, друзья мои, если не сдать оружие, оно начнет стрелять...

Кто-то «поддержал» его:

— Обязательно начнет! А ты подушкой накройся!

Оратор выбивался из сил:

— Будут жертвы среди рабочих! Это говорим вам мы, истинные социалисты, мы, понимающие мысли и чаяния кавказских народов...

И снова гул покрыл его слова:

— Ишь, куда стрелки перевел!

— Хватит!

— Закрой клапан!

— Это безумие! — пытался перекричать шум оратор. — Кровопролитие никогда не приводит к добру. Читали вы о европейских революциях?!

Из толпы вышел Василий, поднялся на паровоз, легонько оттер оратора плечом.

— Читали. Вы, господин читатель, кто по специальности?

Меньшевик снисходительно пожал плечами:

— Это к делу не относится.

— Относится, — твердо ответил Василий. — Вы снимаете мерку с давно усопшего и мерите ею живых. Вы, господа начетчики, — гробовщики!

Переждав, пока смолкнет громовой смех, Василий продолжал:

— Европейские революции! А ходили вы в кандалах по сибирскому тракту? А сидели ваши дети на картофельной шелухе? Всем народам России, да вы по себе знаете, товарищи, уже вот! — Он красноречиво провел рукой по горлу, наклонился, взял из рук рабочего винтовку и потряс ею в воздухе. — А спасение наше сейчас — вот! Нет для России иного пути... Вооруженное восстание!

Огромная толпа слушала его. Рядом с ним стоял Камо с красным знаменем в руках. Он только что сам соорудил это знамя, забежав в соседнюю лавчонку и раздобыв там кумачовое полотнище.

— Не допустим повторения кровавых полицейских провокаций, — говорил Василий, — да здравствует братство! Долой национальную рознь! Долой царское правительство!

Многотысячная толпа гулко, единой грудью выдохнула:

— Долой!

И сразу наступила напряженная тишина. Василий наклонился, выпрямился, и все увидели, что он держит на руках мальчонку. Никита не без испуга смотрел в толпу, обняв за шею отца.

— Его мать убили казаки, — негромко сказал Камо стоящему рядом мусульманину. — Мальчишку взяла грузинская девушка...

И вдруг Камо заметил: в толпе так тихо, что его, пожалуй, слышат все. Он на минуту растерялся — ведь он не был оратором, — но внезапно, собравшись с духом, произнес свою первую и единственную в жизни публичную речь:

— Товарищи! Проклятый царский трон колеблется. Рабочий класс и крестьянство поднялись на борьбу по всей России. Наместник хочет отнять у нас оружие. Поклянитесь, что вы так же дружно, как собрались здесь, пойдете на вооруженное восстание!

И снова единая многотысячная грудь выдохнула:

— Клянемся!

Барабанов и Марципанов стояли у открытого окна. В стороне внизу текла колонна демонстрантов. Впереди шли вооруженные отряды. Из окна были видны их штыки.

Камо со знаменем забрался на плечи двух товарищей. Знамя реяло высоко. Барабанову была видна сделанная мелом надпись: «Долой самодержавие! Да здравствует братство!»

— Ну вот, полавировали! — зло бросил Барабанов. — Как их теперь заставить вернуть винтовки?

— Надо заставить, — сказал Марципанов, вглядываясь в знаменосца и скрипя зубами.

Барабанов перехватил его взгляд и захихикал:

— Похоже, ваш князь?

Марципанов жестом позвал кого-то из глубины комнаты. Появился казак с винтовкой, и Марципанов показал ему на знаменосца. Казак высунул винтовку в окно и начал прицеливаться.

Но как раз в эту минуту в колонне Василий сказал Камо:

— Слезь! Высоко забрался.

— Всем знамя видно, — возразил тот.

— Знамя и так видно. Себя не показывай, слезь.

Камо подчинился.

Казак взял винтовку к ноге. Марципанов плюнул.

С рассветом на Нахаловской горке начался бой. Камо лежал рядом с Василием.

Приближались казаки.

— Драка будет серьезная, — сказал Василий. — На то — ультиматум! Подпускать ближе, без команды не стрелять.

Казаки двигались лавиной.

— Расползайтесь по лощинам! — скомандовал Василий.

Дружинники отползли в стороны. Камо остался с Василием.

— Впереди казаки, сзади драгуны, — спокойно сказал Камо. — Выходит, окружены. — И вдруг неожи-

данно серьезно он спросил у Василия: — Ты говорил, людей любить надо... Почему стрелять заставляешь?

Василий с удивлением взглянул на него: «Ну и человек: кипяток, а в бою так спокоен — ни дать ни взять, сейчас, чудак, философией занимается!..» Сзади цепью приближались драгуны. Камо повернулся к ним лицом.

— Не я заставляю, друг ты мой. — Василий перезарядил винтовку. — Царь вынуждает.

Свист и падение снаряда. Обоих присыпало землей. Василий отряхнулся и задорно рассмеялся.

— Видал! А, великий философ?

Камо без улыбки утвердительно кивнул. Лицо его у приклада винтовки было грустным, почти жалостливым. Он увидел на мушке бегущего солдата и с ожесточением, с горечью, как бы для внутреннего оправдания, прошептал:

— Бежишь, а, наверное, бедный человек. Ах, зачем твой царь подлец?

Он выстрелил, и солдат упал. Ответная пуля просвистела над головой Камо. Камо прицелился в стрелявшего солдата. Солдат упал.

— На прорыв, товарищи! — крикнул Василий.

Он встал, сделал несколько шагов и вдруг зашатался...

Над миром вставало великолепное южное солнце. Из красного, как рабочее знамя, зарева выкатывался огромный шар.

А Василий все шатался, глядя на солнце. И когда оно появилось на добрую треть, он схватился за грудь и повалился навзничь. Камо подбежал к нему, присел, поднял его голову.

— Василий Никитич!

— Ничего... Подними выше! Ишь ты, какое взошло!..

И в той особенной, невероятной тишине, которая бывает только в паузах боя, Василий вдруг услышал тикание своих часов.

— Достань... — сказал он, — часы достань...

Камо, поддерживая Василия одной рукой, другой поспешно достал из его кармана часы, те самые, с мо-

нограммой. Открыл крышку и, думая, что угадывает желание Василия, поднес часы к его глазам. Но тот отрицательно покачал головой. Он смотрел на солнце.

— Возьми... Себе возьми. — Глаза его закрылись, а губы шептали в полубреду: — Часы идут... Никита, Катя, слышишь, часы идут... Странно... человек умирает, а его часы идут...

На минуту он пришел в сознание, открыл глаза и снова посмотрел на солнце. Камо положил часы в свой левый нагрудный карман и жарко зашептал, боясь, что Василий не успеет дослушать его:

— Я все понимаю, Василий Никитич, твои часы и мое сердце... Ты слышишь, Василий Никитич, вместе идти будут... Ты слышишь?

Василий слабеющими пальцами пожал его руку.

— Только помни... Один в поле не воин...

Камо приблизил свои глаза к глазам Василия. Тот, собрав последние силы, прошептал:

— Спасибо, Семен, прощай.

Голова Василия безжизненно повисла. Камо снова достал часы. Он смотрел на них. А вокруг было очень тихо. Так тихо, что он слышал, как идут часы Василия в его руке. И Камо встал во весь рост.

— На прорыв, товарищи!

...Он идет с бомбой в руке. Больше нет жалости к «бедным подлецам». Он понял, что война есть война. Он бог гнева, но не просто злой и решительный, а вдохновенный. Он идет, сдвинув брови, и перед его глазами из баррикадного дыма возникают видения: казаки, подгоняя плетками, ведут по горной дороге закованных в кандалы крестьян; спят на бакинской мостовой изнуренные носильщики тяжестей — у них нет крова. А мимо катят в открытом фаэтоне подвыпившие господа с размалеванными женщинами. И снова кандалы. Сквозь метель идут колодники по сибирскому тракту. Стены тюрьмы, за решетками суровые и отчаянные лица поющих людей, часовой стреляет в решетку. И опять кандалы, кандалы. Извиваясь, как змеи, они сплетаются, преграждая ему дорогу. А он идет, высоко подняв бомбу, готовый на все. Теперь он так пройдет через всю жизнь...

Бомба летит в солдатскую цепь. В прорыв устремляются рабочие. Камо пропускает их, бежит следом и вдруг падает. Он ранен. Отползает в овраг...

Когда солнце стояло высоко в небе, а над Нахаловской горкой давно развеялся дым, жандармы гнали мимо театра группу пленных повстанцев.

По обе стороны афишной тумбы с рекламой спектакля «Гамлет» стояли Валя и Медея. Тревожно вглядываясь в лица арестованных, они не замечали друг друга. И вдруг обе в середине группы арестованных увидели Камо. Он шел, гордо подняв забинтованную голову. Двое жандармов вели его, скрутив ему за спиной руки... У жандармов под глазами темнели синяки. Видно, он достался им не легко.

Поравнявшись с девушками, он улыбнулся.

И вдруг Валя оттолкнулась обеими руками от афишной тумбы и бросилась к офицеру.

— Господин офицер, господин офицер! Прошу вас... Вот этот, — и она показала на Камо, — не виновен. Это... это мой жених!

— Хорош женишок! — сказал офицер. — Полюбуйтесь, как он своих конвоиров разделал!

Валя вернулась к тумбе и заплакала.

— Кто вы? — спросила Медея.

— Я актриса, обыкновенная актриса, — всхлипывая, ответила Валя.

Медея подумала: «Кто бы ты ни была, а я люблю и знаю его больше, чем ты». Но выразила все это четырьмя словами, полными гордой убежденности:

— Не плачьте, он убежит.

Глаза их встретились. Вале все стало ясно. Она опустила ресницы.

— Никакая я ему не невеста. — И с наивной горячностью добавила: — Мы только встречались по обыкновенным революционным делам.

— Пойдемте, — сказала Медея. — Как вас зовут? — И она взяла Валю под руку.

...Из толпы вынырнул филер, обогнал конвой, вгляделся в арестованных, узнал Камо, восторженно потер руки и снова стремительно скрылся в толпе.

Общая камера Метеха была забита арестованными. Как видно, восстание спутало все карты тюремщиков и застало их врасплох. Политические здесь перемешались с уголовниками, раненые со здоровыми. Среди заключенных было немало крестьян, попавших сюда просто за неуплату налогов. В одном углу на полу сидели Камо, старик с запорожскими усами и еще трое дружинников, которые знали Камо. Эта группа держалась обособленно. Но в нее каким-то образом попал молодой грузинский паренек из деревни. Он был явно подавлен. В другом углу слышался разговор:

— Погиб наш Василий...

— А Камо? Не знаете, где Камо?

— Убит Камо.

Услышав это, люди в группе Камо обменялись улыбками, а крестьянский паренек вздохнул и совсем вобрал голову в плечи. Вдруг над ним возник знакомый уже нам Колька Свищ. Оценил взглядом его мягкие кавказские чувяки * и приказал:

— Снимай! Они тебе не по ноге, киса.

Паренек совсем забился в угол. Камо неторопливо поднялся и смерил Кольку таким взглядом, что тот сразу сник.

— Пардон... Если не ошибаюсь, претендент на... — И он сделал выразительный жест рукой вокруг шеи, изображая виселицу. — Преклоняюсь, но не завидую... Оревуар!

Паренек поднял глаза на Камо. Они светились уже не только страхом, но и юношеским восхищением. Он спросил шепотом:

— Это правда, вы шли против царя и вас теперь повесят?

Камо взъерошил ему волосы:

— Чему же ты так радуешься, дорогой?

А паренек, не слушая его, скороговоркой шептал:

— Я тоже революционер!.. Только, наверное, плохой, понимаешь! — Он нагнулся к уху Камо: — Мы исправнику в харчо табак насыпали. Думали, по-

---

* Чувяки — мягкая обувь.

мрет, а он поймал и сюда... Шаншиашвили я, крестьянин я, из деревни Дигоми я... Скажи, пожалуйста, правильно делали?

Камо улыбнулся и обнял его за плечи:

— Табак в харчо... Ладно, лежи... Расскажу тебе о настоящих революционерах. Вот был у меня хороший друг... Василий...

Загремели засовы. Вошел прокурор в сопровождении начальника тюрьмы. Тот держал в руках реестр заключенных и прочитал:

— Вот видите?

Прокурор брезгливо указал пальцем на группу крестьян:

— В чем обвиняются?

Начальник тюрьмы, заглянув в свой реестр, доложил:

— Недоимки, задолжали в казну...

Прокурор махнул рукой:

— Оформить и убрать... Эти?

— Жулики. Из ростовских.

— По месту жительства этапом... Этот?

— Шаншиашвили из деревни Дигоми. Озорство. Насыпал табаку в обед господину исправнику.

— Выдрал?

— Выдрали-с...

— Гнать в шею! Остальных рассортировать и приступить к выяснению личностей.

В номере гостиницы филер стоял перед Марципановым и, захлебываясь, докладывал:

— И вижу, они его, голубчика, ведут... И туда же, вместе со всеми. Я думаю, от полиции какой мне презент будет! А от господина Марципанова, это да!

Марципанов хмыкнул:

— А ты не обознался?

Филер даже обиделся:

— Это я-то Камо не узнаю? Да я за ним, что нянька, почти сызмальства хожу.

— И, говоришь, в пятой камере?

— Так точно, в пятой.

Марципанов, предвкушая свое торжество над Барабановым, благосклонно похлопал филера по плечу.

А в камере сгущались сумерки. Заключенные лежали вповалку на измятой соломе. Шаншиашвили влюбленными глазами смотрел на Камо. Тот заканчивал рассказ:

— Вот так-то, товарищ! Русский человек, сибиряк, жизнь отдал за то, чтобы тебе, Шаншиашвили из деревни Дигоми, жилось без нужды и печали.

— Спасибо, — и юноша впервые произнес гордое слово, — товарищ. Теперь я знаю, что делать надо... Если бы я на воле был, я бы, как твой друг Василий, делал... Нет, как сам Камо!

— А ты когда-нибудь видел Ка́мо?

— Только издали. — Юноша опустил голову и продолжал: — Вот, говорят, его тоже убили.

Камо медленно встал, сделал несколько шагов по камере, словно что-то взвешивая, и решился.

— Его не убили. — Он повернулся к юноше. — Я — Камо.

Тот вскочил на ноги, вскочил так, словно разжалась пружина. Секунду он недоверчиво всматривался в лицо Камо и вдруг, вывернув ладони, в избытке чувств закружился в танце. Он плясал беззвучно и еле слышно приговаривал в такт все убыстряющегося танца:

— Ва, ва, ва!.. Камо! Камо! Ас-са! Ас-са!

В противоположном углу поднялись головы. Кто-то пожал плечами, кто-то повертел пальцем у виска: «Уж не рехнулся ли этот парень? Почему пляшет?»

Человек с запорожскими усами встал и, положив руку на плечо Шаншиашвили, остановил его. Затем зашептал, показывая взглядом на Камо:

— Ему одному угрожает виселица. Выручать надо, а не коленца выкидывать.

Шаншиашвили на секунду застыл, опустив голову. Но вот выражение горечи и растерянности на его лице сменилось решимостью. Быстро снял с себя куртку, бросил ее Камо. Сорвался с места и снова

пустился в свой беззвучный танец. То вскидывая локти, то так отталкиваясь ладонями от воздуха, словно этот жест означал: «тише-тише», он начал приплясывать перед Камо, как перед девушкой, которую приглашают в круг, и шепотом приговаривал:

— Не я Шаншиашвили, ты Шаншиашвили! Ас-са! Не я из Дигоми, ты из Дигоми! Ас-са! Ас-са! Не меня гнать в шею — тебя гнать в шею! Ас-са! Не ты Камо — я Камо! Ас-са! Ас-са! — С последним возгласом он опустился перед Камо на колени и, сорвав с себя рубаху, бросил ее вслед за курткой.

Но Камо нахмурился:

— Это не годится. Тебя бить будут.

Шаншиашвили тихо рассмеялся. Он продолжал раздеваться:

— Я крепкий — ну, побьют. Не повесят же... — И вдруг закончил молящим голосом: — Слушай, я хочу хоть немного быть Камо!.. Одевайся, пожалуйста.

Колька Свищ оценил обстановку и обратился к своей ватаге:

— Ша, мальчики!.. Мы ничего не видели.

А Камо, которому помогали переодеваться несколько дружеских рук, стоял подавленный, захлестнутый волной светлого и благородного чувства. Уже переодетый, он привлек к себе этого юношу из деревни Дигоми и крепко обнял его:

— Спасибо, друг.

...Сияющий Марципанов вошел в кабинет Барабанова и еще в дверях вместо приветствия торжествующе объявил:

— Камо-Петросяном я займусь лично.

Барабанов посмотрел на него почти с испугом:

— Вижу, батенька, что он вам и по ночам снится. Занимайтесь, пожалуйста! Только сперва его нужно поймать.

— Вы думаете? — Марципанов твердо прошелся по комнате и обеими руками оперся о стол. — Вы продолжаете обещать другим награду за его голову, а он сидит у вас. В Метехе. Слышите?

— Точно? — воскликнул Барабанов и тут же спохватился. — Значит, мои чурбаны все-таки поймали его! — Он сделал ударение на слове «мои» и ехидно добавил: — От всей души поздравляю вас, Вадим Аркадьевич.

Марципанов пропустил все это мимо ушей.

— Распорядитесь доставить его сюда.

Барабанов взялся было за колокольчик.

— Но, позвольте, где...

— Вот то-то же, — улыбнулся Марципанов, — хотя ваши чурбаны, — он сделал ударение на слове «ваши», — не знают «где», мне известно, что он сидит у вас в камере номер пять. Звоните!

Колокольчик залился звоном.

Марципанов выхватил его, поднял над головой и, продолжая звонить, закричал:

— Во все колокола звоните. Я ему княжеский прием устрою!

В камеру номер пять вошел надзиратель с двумя жандармами.

— Абуладзе, Абашидзе, Нонешвили — с вещами к выходу!.. Шаншиашвили!

Подлинный Шаншиашвили подхватил во весь голос:

— Шаншиашвили, где ты?

Его поддержал человек с запорожскими усами и еще кто-то из арестованных, знавших Камо.

— Где ты, Шаншиашвили?

— Совсем заспался, ва!

Камо сделал вид, что протирает глаза, и, представ перед надзирателем, запричитал:

— Шаншиашвили я, крестьянин я, из деревни Дигоми я. Ничего не знал... Приехал...

Настоящий Шаншиашвили отвернулся и прыснул, зажимая рот рукой: до чего ловко подражает ему Камо!

— Чтобы духу твоего тут не было!

Надзиратель в дверях подтолкнул Камо прикладом и рявкнул:

— Впущай новых.

В дверь камеры вталкивали новых заключенных. Среди них оказался Длинноволосый. Он заныл, обращаясь к тюремщикам:

— Это произвол! Я буду жаловаться! Мой отец...

В тот момент, когда Камо в одежде крестьянина, сбив круглую тушинскую шапочку на лоб и почесывая затылок вразвалочку выходил из ворот Метехского замка, мимо него во двор промчалась упряжка тюремной кареты. Соскочивший с козел жандармский ротмистр, перескакивая через ступеньки, вбежал к начальнику тюрьмы.

— Живо, живо! В камеру номер пять!..

Марципанов сидел спиной к дверям, когда ввели Шаншиашвили и жандарм доложил о нем.

— Камо-Петросян из камеры номер пять доставлен.

Марципанов медленно достал портсигар, вынул папироску, понюхал ее, помял в пальцах, постучал мундштуком о крышку портсигара, подул в мундштук, достал спички, закурил, пустил колечко, затянулся, пронзил струйкой дыма колечко, спрятал спички и только после всего этого, не оборачиваясь, произнес:

— Ну-с, добро пожаловать, светлейший князь!

Он самодовольно взглянул на Барабанова, но вдруг увидел, что у того трясутся щеки от плохо сдерживаемого смеха. Тогда Марципанов резко обернулся к арестованному.

— Кто это? — заорал он на жандарма.

— Шаншиашвили я, крестьянин я, из деревни Дигоми я...

Марципанов вскочил. Колокольчик упал со стола и жалобно звякнул. Но Марципанов умел держать себя в руках. Он сел, спокойно пустил новое колечко дыма и тихо сказал Барабанову:

— Ваши чурбаны!

...Над горной дорогой чернела одинокая сакля. Неподалеку гортанно разговаривала река. Вершины

ждали ночи: при звездах им легче было думать о вечности. Возле сакли сидела Медея. Камо, подложив сведенные пальцы под затылок, лежал и смотрел на прибившееся к скале облако.

— И только когда его расстреляли, — тихо заканчивала рассказ Медея, — Джемма узнала, что этот Овод и был ее Артур. Он сам командовал своим расстрелом.

— Сам? Какой человек! Это замечательная книга. — И как будто оправдываясь, Камо добавил: — А мне все некогда читать, Медико.

— Да. Но так они и не встретились для любви, — вздохнула Медея.

Камо приподнялся, жадно вобрал ноздрями воздух и неожиданно сказал:

— Дымом пахнет. Жгут Грузию проклятые каратели...

За горным склоном горел аул. Там дико, по-волчьи выли собаки, ревели буйволы, истошно блеяли овцы. Солдаты подгоняли прикладами коров. На тесной площади посреди аула стояла построенная для устрашения виселица. Перед толпой крестьян красовались урядник и государственный казначей. У его ног лежал открытый саквояж, в который тонкой струйкой текли скудные крестьянские сбережения — мелкие бумажные ассигнации, серебро, а больше медяки: исправник взыскивал недоимки. И над всем этим — дым, дым...

— Жгут Грузию, — повторил Камо.

Камо рывком сел, достал часы Василия, посмотрел на них.

— Когда же придет Реваз... Не могу отсиживаться больше. Уже и дедушке твоему я надоел.

— Реваз придет не скоро, — ответила Медея, — когда совсем стемнеет. — Она заглянула ему в глаза и спросила: — Камо, ты знаешь стихи?

— Знаю, Медико. Хочешь, я тебе прочитаю Акакия Церетели?

— О любви?

— Пожалуй, они и о любви, — улыбнулся Камо.

Он взял ее ладони в свои, бросил на нее озорной взгляд и прочел:

Сердца свои мы слили вместе.
Звучит наш голос над землей...

Медея счастливо улыбалась, но Камо неожиданно закончил:

Долой правительство бесчестья!
Самодержавие долой!

— Не сердись, Медико, пока я не знаю лучших стихов о любви, но настанет время, и я прочту все книги.

Медея смотрела на Камо. Ее дрожащие губы были закрыты, но Камо казалось, что он слышал все, что говорило ее сердце:

«Глупый ты мой! Сколько дней, сколько долгих ночей я ждала такой встречи... с тобой... Разве я о стихах тебя спрашиваю?»

Так она думала. Но вот ее губы раскрылись, и вслух она спросила:

— А теперь ты не знаешь больше стихов?

Камо посмотрел на Медею таким же долгим взглядом и так же были закрыты его губы, и так же ясно слышала она его внутренний голос:

«Друг ты мой милый! Разве я не понимаю, о чем ты спрашиваешь. Что же делать? Могу ли я рисковать тобой!»

Но вот и его губы открылись, и он тоже сказал совсем другое, сразу отвечая на оба — и на внутренний и на произнесенный вслух — вопроса Медеи:

— Нет, Медико, время такое.

Из сакли, опираясь на палку, вышел слепой старик:

— Идите ужинать, дети.

— Сейчас, отец, — ответил Камо.

И вдруг — цокот копыт! Медея отпрянула, схватила Камо за руку и увлекла за скалу... Старик пошел к сакле. Около нее остановился тот самый лакированный экипаж, сопровождаемый конными казака-

ми. Из него вылезли казначей и исправник. Казаки втолкнули старика в саклю.

Возле колес лежал кожаный мешок, запертый цепочкой кольцо в кольцо. На последнем кольце висел внушительный замок. Казаки вышли из сакли, отперли замок, из мешочка, отнятого у старика, высыпали в саквояж деньги.

Экипаж в сопровождении конных казаков тронулся дальше в горы. Карательная экспедиция продолжала свой черный путь.

Камо вышел из-за скалы. Вместе с Медеей они поспешили в саклю. Чадила коптилка. На стене висели рога-бокалы, изделия старика. Старик лежал на полу, на лице — кровь. Камо наклонился и поднял его. Старик ощупью нашел сундук и начал шарить руками по его пустому дну.

— Ни копейки не оставили, проклятые.

— Хорошо, что не убили, — вздохнула Медея.

Но старику нужно было выговориться:

— Нет, подумайте. Нагрянули, плати налоги! А с чего платить. Всю жизнь копил, и на гроб не оставили! Кто лучше меня в Грузии рога выделывал? Не денег жалко, рук своих жалко. Ты здесь, сынок?

— Да, отец, — откликнулся Камо.

И вдруг старик закричал на него:

— А вы чего ждете, ягнята! Отняли бы у них эти деньги ворованные. Не для меня. Для всех! Купили бы кинжалы и перерезали проклятых... Они у народа — народ у них.

Камо круто наклонил голову, сверкнул взглядом:

— Хорошие слова, отец!

В эту минуту, вдвое согнувшись в низеньких дверях сакли, вошел Реваз.

— Здравствуйте, мастер! Что случилось? Здравствуйте, друзья!

Камо бросился ему навстречу:

— Ну, кончилось мое безделье?

...Они сидели на берегу реки. Говорил Реваз.

— Кроме того, Ильич пишет, что теперь в промежутке между большими сражениями мы должны от-

ветить палачам партизанской борьбой. Собирай опять нашу дружину, Камо!

Камо снова упрямо наклонил голову и исподлобья посмотрел куда-то вдаль.

— Мы добудем для революции и оружие и деньги. Говори, говори, дорогой!

Реваз положил ему руку на плечо:

— Но комитет предупреждает — не увлекаться. Ясно, Камо?

Камо достал часы Василия, открыл и бережно закрыл ладонью крышку.

— Ясно. — Он тряхнул головой, вскочил. От избытка радости поднял и швырнул в реку огромный камень и крикнул так, что эхо долго не могло вернуться в свое ущелье: — Я-а-а-сно!

ереванская площадь

Чиновники тифлисского казначейства ожидали поступления крупных денежных сумм. Деньги, пропитанные потом и кровью рабочих и крестьян, везли под охраной казаков. Большевистский комитет постановил отнять эти народные деньги и обратить их на пользу революции.

По Лорис-Меликовской улице в сторону Ереванской площади рысью проехал сначала казачий патруль.

Казаки миновали афишную тумбу. На ней болтался кусок разорванной афиши:

«1907 года — «Гамлет».

Возле тумбы стояла женщина с девочкой лет пяти. Женщина держала воздушный шар. Девчушка тянулась к нему, просила. Вот-вот расплачется. Но женщина, играя, не давала ей ухватить нитку.

Казаки проехали мимо скверика, в котором прогуливался мужчина со свернутой газетой в руке, мимо ресторана «Тилипучури», у входа в который стояла разряженная женщина.

В ресторане двое кутил чокались бокалами шам-

панского. На столе возле каждого из них лежало по свертку, перевязанному голубой ленточкой. Похоже, подарки.

Казаки выехали на площадь. Возле магазинов Ротионова и Гаврилова прохаживались два господина в котелках с такими же, как у кутил, свертками в руках.

А у забора четверо оборванных мальчишек играли в «орел или решка». Над ними вдруг вырос Камо в черкеске с офицерскими погонами.

— А ну, марш отсюда! Что за игру затеяли! — Обращаясь к господам в котелках, он крикнул: — Не видите, что ли? — Потом повернулся к двум подошедшим девушкам: — Проходите, здесь стрелять будут!

Мальчишки пустились врассыпную. Под забором остался медный грош. Девушки с визгом убежали. Камо свернул за угол Гановской улицы. В фаэтоне его ждала нарядная девушка. Это была Медея. Он сел с ней рядом.

— Может, ближе сесть нужно?.. — прошептала она. — Ну, для конспирации!

— А-а! — И Камо обнял ее.

Казаки проехали мимо.

— Вот видишь! — грустно улыбнулась Медея.

Камо достал часы и посмотрел на них.

На балконе, над головой женщины с шаром в руке, стоял какой-то старик и вглядывался в даль. Наконец он перегнулся через перила и сказал женщине:

— Они!

В конце улицы появилось трое верховых казаков. За ними — извозчик. Женщина как бы случайно выпустила шар. Девочка посмотрела, как он улетает, и заплакала. Мужчина в скверике посмотрел на него и развернул газету. Это увидела легкомысленная разряженная женщина и зашла в ресторан. Кутилы со свертками подхватили ее под руки и вышли на улицу.

Трое верховых казаков уже выехали на Эриванскую площадь. За ними — извозчик с пятью солдатами. А за ним — линейка с двумя жандармами. На

линейке лежал саквояж. Он был заперт цепочкой — кольцо в кольцо, и на последнем кольце висел внушительный замок. В нем были те самые, отнятые у крестьян деньги. По бокам линейки и позади нее лихо гарцевали казаки.

Камо из своего экипажа видел все это. Он снова посмотрел на часы. Ровно двенадцать.

— Все точно, — сказал он.

И вдруг увидел, что самый маленький из игроков в «орла и решку» бежит к забору за оставленной монетой. Камо соскочил с фаэтона, поймал малыша, схватил его за руки.

В ту же минуту казаки повернули на Сололакскую улицу, а линейка с саквояжем поравнялась с караван-сараем. Господин в котелке поднял перевязанный ленточкой сверток и бросил его. Взрыв! Посыпались стекла в караван-сарае. Полетел еще сверток. Взрыв. Повалилась казачья лошадь. Еще два взрыва.

Все заволокло черным дымом. Потом загремели выстрелы, очевидно пришедших в себя солдат и казаков.

Из дыма вынырнул Камо с перепуганным мальчишкой на руках.

— Видишь ты! Непослушный какой! Беги!

Он дал мальчишке шлепка, а сам побежал к фаэтону.

Двое несли саквояж. Они бросили его в фаэтон под ноги Камо, и лошади взяли в карьер. Бешено зацокали копыта.

Но вдруг на перекрестке лошади остановились: дорогу преграждали бегущие солдаты.

— Стой!

Солдат схватил лошадь под уздцы. С тротуара к фаэтону подбежал сам Барабанов.

Бросив взгляд на побледневшую Медею, Камо соскочил на землю и взял под козырек.

— Разрешите доложить, ваше высокоблагородие! Все в порядке. Деньги здесь.

— Голубчик ты мой! — Барабанов чуть не прослезился от радости. Он обнял Камо и расцеловал

его в обе щеки. — Спасибо! Вези в охранное отделение.

И снова загремели копыта.

...В своей квартире Медея выдвинула доску, выпиленную в трельяже, спрятала деньги. Камо разговаривал с господином в цилиндре.

— Так ты, Реваз, думаешь, что Шаншиашвили убит?

— Я видел, как он упал.

Камо набросился на него:

— На черта было деньги брать? Лучше было спасти товарища. Как ты мог оставить его?

Но в эту минуту сияющая Медея ввела Шаншиашвили. У него была перевязана рука. Следом шел Сулейман. Реваз радостно бросился им навстречу.

— По этому поводу и покутить можно!

Камо обнял Шаншиашвили, прошелся с ним по комнате и, скрывая радость, сказал:

— Подумаешь, большое дело совершили!.. Живей надо убираться отсюда!.. Медея!

Они вышли в соседнюю комнату.

— Медико...

— Что?

— Переправишь деньги в обсерваторию. По дороге сменишь трех носильщиков.

Медея опустила глаза. Потом посмотрела на Камо в упор и ответила со злостью:

— Есть! Будет исполнено.

— Хорошо.

Камо сделал вид, что не замечает ее состояния, и повернулся к двери. Он уже открыл ее, но Медея порывисто шагнула, взяла его за рукав. Спросила беспомощно:

— Почему ты совсем не приходишь? Когда зайдешь?

Камо беспечно бросил:

— Не знаю.

Она повернулась спиной к нему, гордо отбросила косы за плечи, отошла...

Камо и Шаншиашвили шли по улице. Лицо Камо было грустным, он посмотрел на забинтованную руку товарища.

— Спрячь руку в карман!..

— А Медико... хорошая девушка...

— Хорошая? Нет!.. Она... она... замечательная, редкая!

— Зачем же ты нагрубил ей сейчас?.. Я слышал конец вашего разговора.

— Потому что она замечательная! — с глубочайшей грустью ответил Камо.

— Не понимаю.

— Один раз я... хотел поцеловать ее!.. Пусть считает меня виновным! Пусть вырвет меня из сердца! Так ей легче будет. Один раз я хотел поцеловать ее... и в ту же минуту появились казаки... Нет, товарищ мой, у меня впереди столько тревог, что не следует делить их с человеком, которому желаешь счастья.

В полицейском управлении следователь с измученным лицом перебирал бумаги. В углу сидел Марципанов. Бойкая тетушка с лицом базарной торговки, перегнувшись через стол, размахивала руками перед носом следователя. Она упивалась своими показаниями:

— И вижу, бегут через площадь осьмнадцать человек. И все они, как есть, в черных рубахах, черных шароварах, черные шляпы и бородищи черные!..

— Достаточно, — процедил сквозь зубы Марципанов. — Вон эту дуру! Следующего!

Ввели нашего знакомого страхового агента. Марципанов зарычал:

— Опять вы!.. Не хотите ли пульку сыграть?.. Слушайте, вы, идиот, сбрейте, наконец, ваши усы, или я вас отправлю на самом деле туда, куда Макар телят не гонял! Следующего!

Страховой агент развел руками, он хотел что-то сказать, но только по-рыбьи открыл рот. Наконец, махнув рукой, он вышел.

Следующим оказался Длинноволосый. Он остано-

вился посреди комнаты, скрестив руки на груди и гордо подняв голову.

— Подойдите ближе! — гаркнул следователь. — С какого года состоите в преступном обществе, именуемом социал-революционным? Предупреждаю, нам все известно!

Длинноволосый подчеркнуто медленно подошел к столу следователя.

— Я, — надменно ответил он, — революционер с детства!

Следователь вскочил. Вот сейчас раскричится. Но Марципанов жестом остановил его и миролюбиво сказал Длинноволосому:

— Хвалю за откровенность! — Он сделал паузу и вдруг заорал: — В чем заключалась ваша функция в ограблении на Ереванской площади?

Длинноволосый скорчил гримасу презрения:

— Полиции пора бы разобраться в разнице тактики, принятой большевиками и нами, подлинными социалистами. Уверен, что они набили собственные карманы этими деньгами!

— Кто — они?..

— Вот этого я и не скажу. Предполагаю, но не знаю. Забыл!

Марципанов щелкнул портсигаром и сказал совсем тихо:

— Хорошо, вы будете сидеть в карцере до тех пор, пока к вам не вернется память. Следующего!

...Согнутый палец выбил условный стук в дверь с надписью «Физическая обсерватория». Из открытого окна высунулся чиновник в форме министерства народного просвещения. Это был Гиви, и форма действительно принадлежала ему. Он служил здесь. Гиви открыл дверь и впустил Камо, уже успевшего переодеться в нарядный мундир офицера кубанского пластунского полка. Оба быстро прошли через длинную переднюю.

На внутренней двери красовалась дощечка «Вход посторонним воспрещен». Камо подмигнул этой дощечке и распахнул дверь. Комната была уставлена сверкающими приборами. Камо подошел к баромет-

ру и легонько постучал в стекло, но стрелка не шевельнулась. Она показывала «ясно». Камо улыбнулся. Гиви поднял диванные подушки. В диване лежал маленький бочонок. Другой бочонок был разобран. Обручи сложены тут же. Рядом с бочонком можно было увидеть открытый, набитый банкнотами саквояж. Медея доставила его сюда, сменив по дороге трех носильщиков, чтобы запутать след. У стола валялся разрезанный на куски бурдюк.

Камо был очень весел.

— Ай, Гиви, до сих пор не уложил!

— Для чего придумал бочонки с двойным дном?— в тон ему спросил Гиви. — И так деньги не промокнут. В бурдюк заворачиваю.

— А если в бочонок шампуром тыкать начнут? Соображать надо, — рассмеялся Камо.

Оба принялись заворачивать деньги в куски бурдюка.

И вдруг раздался стук. Гиви с тревогой выглянул в окно.

— Ничего, — с облегчением сказал он, — это почтальон. Продолжай.

Камо слышал, как в передней комнате почтальон передает Гиви газеты и письма и заводит разговор, который, наверное, каждое утро добрый десяток лет повторялся здесь. Почтальон гордился своими знаниями физических приборов.

— Ну-с, господин Гиви, как себя ведет наш гелиограф?

— Все хорошо, Петрович.

— А как ваш барометр?

— Показывает «ясно», Петрович. — Гиви хотел поскорее избавиться от него. — И облограф в порядке.

Камо, собирая бочонок, слышал, как в передней комнате Петрович удовлетворенно откашлялся. Сейчас он закончит разговор неизменной шуткой, которая уже добрые десять лет доставляет ему удовольствие.

— А как сейсмограф? Землетрясеньице не предвидится?

— Не предвидится, Петрович. Сейсмограф спокоен.

— Вот спасибочки. А то я все боюсь, чтоб духаны до вечера не завалились! — Слышно было, как он удовлетворенно рассмеялся. И вдруг добавил: — О грабеже слышали? Вот читайте здесь, что управляющий банками пишет.

Избавившись от почтальона, Гиви принес Камо газету «Кавказ»:

— Смотри!

Камо взял газету. Управляющий банками Безобразов обещал в виде награды выплатить двадцать пять процентов всей суммы «тому, кто укажет местонахождение похищенных неизвестными ворами» денег...

— Это мы воры! — И Камо опять расхохотался.

Гиви сложил пальцы пистолетом:

— Давай двадцать пять процентов!

Камо шутливо поднял руки.

— Тебе зачем? Ты на них спишь! — Он опустил руки. — Садись, бери бумагу, пиши! «Господину Безобразову». — И он начал диктовать: — «Если вы узнаете, где деньги... то я тебе... сукину сыну, пятьдесят процентов дам!..»

Гиви перестал писать.

— Опять дурачишься, Камо?

Тот улыбнулся. И снова взгляд его упал на газету, на очерченное траурной каймой извещение:

Чины тифлисской жандармерии извещают о смерти дорогого своего начальника Гавриила Петровича БАРАБАНОВА. Панихида 20-го июня, в 9 часов утра и в 7 часов вечера. Вынос тела из квартиры покойного (Лермонтовская улица, дом Церетели) в военный собор завтра, 21-го июня и оттуда на Кукийское кладбище.

Камо вспомнил, как шеф жандармов целовал его в обе щеки, умиленно приговаривая: «Голубчик ты мой, спасибо!» — и задорно рассмеялся.

— Смотри, Гиви! Не хватил ли голубчика из-за нас удар?

Камо был недалек от истины. Впрочем, сердце у Барабанова было здоровое. Но, узнав, в какой он по-

пал просак, «дорогой начальник» тифлисских жандармов, как стало известно впоследствии, пустил себе пулю в лоб.

Настроение у Камо было такое, что хоть пляши. Но тут снаружи снова послышался условный стук. Гиви выглянул в окно и пошел открывать. Камо услышал взволнованный голос Медеи:

— Камо здесь? Приехала его сестра из Гори. Входи, Джаваира!

И вот Камо и Джаваира медленно идут по коридору навстречу друг другу. Камо останавливается, словно боится сделать шаг, отделяющий его от страшного известия, которое написано на лице сестры. Но Джаваира подбегает к брату и повисает у него на шее:

— Синько!

Камо нежно отстраняет сестру и заглядывает ей в глаза. Губы Джаваиры кривятся, произносят одно слово:

— Мама!..

Все понял Камо. Задрожали пальцы, которыми он гладил волосы Джаваиры.

Медея прикоснулась к его плечу и отдернула руку, словно обожглась. Она подошла к Гиви:

— Гиви, у них нет денег на похороны.

— Жалованье через три дня, — ответил Гиви. — Но ничего, Медико, что-нибудь придумаем.

А посреди комнаты лежал раскрытый огромный саквояж с деньгами, но ни Гиви, ни Камо даже не взглянули на него в эту минуту. Эти деньги принадлежали партии...

— Я поеду в Гори, Камо, и похороню ее...

Камо отвернулся.

— Так вот они живут... нянчат, растят, стараются... И все для нас... И всю жизнь ничего для себя, ничего своего. — Он на секунду закрыл глаза. Задрожали губы. Поднял веки. Перед глазами равнодушная стрелка барометра показывала «ясно». И тогда Камо сжал кулак. — Врет твой барометр! И сейсмограф врет!.. — Он с размаху ударил кулаком по столу. — Будет землетрясение!

...Страховой агент у себя в квартире добривал усы. В глазах его жены был написан ужас. Но он, окончив бритье и взглянув на себя в зеркало, вздохнул с величайшим облегчением: кончено, больше его не будут сажать вместо этого самого Камо.

В саду, у дворца царского наместника, на аллее выстроились полицейские отряды. Полицмейстер перед строем заканчивал чтение приказа:

— «...И по сему приказываю: немедленно отправиться в части и взять войска для производства по всему городу и окрестностям облав, а также обысков в трамваях, фаэтонах и прочих средствах передвижения. Приданные полиции войска распределяются по следующему расчету: участковый пристав первого участка, — пристав взял под козырек, — сто пятьдесят шестой Елисаветпольский полк, состав наряда — две роты. Сборный пункт в своих казармах». Идите!

Выстраивались и выходили в город роты Елисаветпольского полка, семьдесят девятого Куринского полка. Из ворот Дворянской школы выходили драгуны. По Ереванской площади шагал пятый Кубанский пластунский батальон.

Солдаты, жандармы, полицейские обыскивали дома, вокзал и привокзальную площадь, останавливали трамваи и тщательно осматривали кабины вагоновожатых.

Заслоны из солдат и полицейских появлялись на всех перекрестках. На одном из них остановили ландо. И надо же случиться, чтобы в нем оказался только что сбривший усы страховой агент со своей дородной супругой. Не в меру ретивый низший чин, которому злополучные деньги мерещились повсюду, попросил мадам подобрать юбки и получил от нее пощечину. Он отпрянул, с подозрением посмотрел на свежевыбритого мужчину и зашипел:

— Простите, у вас, кажется, были усы?

— Я их сбрил! Сбрил! — забормотал страховой агент.

— Мы их сбрили, сбрили! — подхватила мадам.

— Ах, сбрили? — Унтер уличил страхового агента в маскировке. — Ну-ка, пойдемте!

Беднягу увели.

И вот на привокзальную площадь, оцепленную солдатами и полицейскими, в фаэтоне въезжает Камо в офицерской форме. Безусый прапорщик отдает ему честь. У входа в вокзал стоят два жандарма.

— Эй, милейший! — кричит Камо одному из них.

Жандарм подбегает:

— Слушаю, ваше благородие.

Камо показывает на бочонки:

— Возьми! Вагон первого класса. Получишь на чай.

— Рад стараться, вашбродь, — рявкнул жандарм.

По перрону между шпалерами солдат и полицейских шел жандарм с двумя бочонками под мышками. За ним Камо. Низшие чины усердно козыряли. Камо небрежно отвечал им.

Ударил вокзальный колокол. Прозвучал гудок. Поезд медленно набирал скорость. В дверях вагона первого класса стоял Камо. Ему, пожалуй, следовало бы скрыться в вагоне, но он не мог отказать себе в удовольствии: он держал руку под козырек и словно бы принимал парад выстроившихся на проплывавшей мимо платформе солдат, жандармов и полицейских, то и дело поднимавших руки к козырькам.

В конце перрона под крупной надписью «Тифлис» стоял Марципанов. Камо козырнул ему. Марципанов ответил... Хвостовой вагон поезда скрылся за водокачкой.

моабит

На широком крыльце особняка, откинувшись в удобном кресле-качалке, сидел тот, кто в те дни фактически вершил судьбу царской России, — министр внутренних дел Столыпин. Ворот роскошного камергерского мундира был расстегнут. Ветер с Невы приносил свежесть. На столике перед Столыпи-

ным лежала пухлая папка. В одной руке он держал карандаш, в другой — яблоко. Перед ним стоял жандармский генерал. Ласточка под окном вила гнездо. Столыпин с хрустом надкусил яблоко.

— Повесить. Государю прошение о помиловании не передавать. — И он возвратил папку генералу.

— Ну, приехал ваш этот... — Столыпин сморщился, — специалист по кавказским делам?

— Марципанов? — подсказал генерал. — Приехал, ваше превосходительство.

— Он там переловил добрую сотню «участников» тифлисского дела и среди них ни одного подлинного. — Столыпин увидел в яблоке червоточину, скривился и швырнул яблоко на крыльцо.

Генерал вздрогнул.

— Следствие не закончено,— произнес он,— я не теряю надежды, что среди задержанных будут обнаружены участники грабежа.

— Грабеж!— Столыпин качнулся в кресле, носком ударил по яблоку, и оно полетело в кусты.— Грабеж, милостивый государь? Это политический удар. Это скандальный провал жандармерии и полиции. Террористы получили средства для передвижения по России и Европе. Средства для закупок оружия! Где деньги?.. Приведите этого Марципанова ко мне.

А на берегу Невы напротив Аптекарского острова, на котором, отгороженный рекой от Петербурга, поднимался особняк Столыпина, стояла девушка в шляпке с вуалеткой и рядом с ней человек в очках.

— Отцов, как выяснилось, — провокатор, — тихо говорил человек в очках.— От Камо нет сведений уже неделю. Спешите в Берлин и, если не поздно, предупредите его.

А через несколько дней Столыпин в сюртуке с орденом Святого Владимира, только что полученным из рук царя, поднимался на то же крыльцо. Здесь его ждали жандармский генерал и Марципанов. Взглянув на орден, генерал подобострастно воскликнул:

— Примите, ваше высокопревосходительство, мои поздравления... Это Марципанов.

Столыпин пропустил поздравление мимо ушей и повернулся к Марципанову:

— Хорошо же вы служите царю и отечеству!

— Разрешите доложить, ваше превосходительство,— поспешил предотвратить его гнев Марципанов, — в Берлине с помощью нашего человека задержан страховой агент Мирский. Это кавказский выходец... судя по фотографии.

— Ну и что же?

Марципанов достал фотографию.

— Я знаю...— Он весь передернулся, вспомнив позорное путешествие с «князем» и все неудавшиеся попытки поймать Камо.— Я предполагаю... словом, это революционер по кличке «Камо», и я осмелюсь просить вас...

— Короче!

— Нужно,— вставил генерал,— потребовать у немецких властей его выдачи. Он имеет несомненное касательство к тифлисскому делу.

Столыпин зашагал по крыльцу. Имя Камо было ему знакомо. Министр знал, что года три назад этим Камо занимался сам государь. В мае 1904 года его императорское величество соизволил «высочайше повелеть передать настоящее дело в отношении Симона Тер-Петрусова (по кличке «Камо») на рассмотрение тифлисской судебной палаты в обыкновенном составе присутствия...». Но через несколько дней государь император отменил свое распоряжение и решил, что в целях «сохранения государственного порядка и общественного спокойствия» нужно, «чтобы в судебное по упомянутому делу заседание были допущены только должностные лица, коим присутствование в зале заседания будет особо разрешено старшим председателем тифлисской судебной палаты».

Если перевести казенный язык царской канцелярии на обыкновенный, это означало, что сперва государь соизволил распорядиться судить Камо гражданским судом при открытых дверях, но потом решил, во избежание лишних волнений в народе, двери суда

закрыть и высочайше повелел передать дело Симона Тер-Петрусова суду военному.

Но пока государь раздумывал, оказалось, что ни в открытом, ни в закрытом суде разбирать дело Камо уже нельзя. Подсудимый исчез, перемахнув через стену батумской тюрьмы.

Столыпин шагнул к Марципанову:

— Немедленно отправляйтесь в Тифлис. Найдите там свидетелей, которые подтвердили бы, что Мирский и Камо — одно лицо. Если это Камо, то затребуйте его выдачи, как обыкновенного уголовника. — И, направившись в особняк, уже в дверях закончил: — Мы устроим такой процесс, после которого на всем Закавказье от одной виселицы другую будет видно.

Возвратившись в Тифлис, Марципанов немедленно распорядился привести Длинноволосого. Теперь это был совсем другой человек. Это был почти не человек. Лицо и одежда выдавали длительное пребывание в карцере. Ничего не оставалось от его картинной гордости. Он был сломлен.

Взглянув на фотографию Мирского-Камо, Длинноволосый тут же написал нужное Марципанову «свидетельское показание». Он подал листок Марципанову. «Страховой агент Мирский является...» — прочел тот и поднял глаза на Длинноволосого:

— Вот так бы с самого начала, и мы бы обошлись без карцера.

При слове «карцер» Длинноволосый вздрогнул.

— Благодарю вас, вы свободны.

— В смысле?— с дрожью в голосе спросил Длинноволосый.

— Да в самом обычном смысле. Можете идти домой к папе.

— Благодарю вас,— кланяясь, забормотал Длинноволосый.

— Идите, идите!

И вот телефонист, надрываясь, кричал в трубку:

— Что ты, глухой, что ли? Самому министру внутренних дел!.. Пиши дальше... Мирский... Зачем «сков»?.. «ский» надо... Даю по городам: Самара, Кутаис, Иван, потом Иван в шапочке... — И он нарисовал

пальцем в воздухе «й».— Мирский является горийским... Даю по городам — Гори, Одесса, ротмистр Иван, Иван в шапочке, горийским жителем... Семеном Аршаковичем...

Телеграфист в черкеске работал на ключе Морзе. Другой телеграфист выстукивал ту же телеграмму уже в Петербурге. В окно виднелся Адмиралтейский шпиль.

И вот уже третий телеграфист — немец в полицейской форме — расшифровал телеграфную ленту в Берлине.

А по берлинской улице шел подлинный страховой агент Мирский. Он вел на цепочке рыжую таксу, купленную, очевидно, для своей дородной супруги, что не мешало ему, однако, свободной рукой кокетливо поддерживать под локоть румяную, как морковка, и такую же длинную и тощую даму. Но, вероятно, и здесь страховому агенту мерещилось всевидящее око жены, и он оглядывался так старательно, что привлек к себе внимание всей улицы, и в том числе стоящего на перекрестке шуцмана — немецкого стража порядка.

Тот улыбался, и это показалось Мирскому подозрительным. На всякий случай он устремился вместе с дамой и собачкой к шуцману и сунул ему в руку визитную карточку. На карточке было написано по-русски, и шуцман прореагировал на нее тем красноречивым жестом, который на всех языках мира означает: «Не понимаю». Тогда злополучный страховой агент дважды ткнул себя пальцем в грудь:

— Я есть Мирский, Мирский!

Шуцман сдвинул брови и, что-то припоминая, достал записную книжку, заглянул в нее, подумал и, наконец, произнес немецкую фразу, которая в самом точном переводе означала: «Следуйте за мной».

Посреди улицы озадаченно смотрели друг на друга похожая на морковку дама и предназначенная для жены страхового агента такса. Однако дама, поразмыслив, подняла с земли брошенную Мирским цепочку и, таким образом, связала железными узами дальнейшую судьбу таксы со своей.

Впрочем, это смешное событие вряд ли сыграло сколько-нибудь значительную роль в жизни Камо. То, что был обнаружен подлинный Мирский, оказалось лишь дополнительной и уже ненужной уликой в руках полиции. Камо был и без того опознан провокатором, а предатель Длинноволосый удостоверил его личность.

...Моабит! Если бы проклятие человека оставляло на камне хотя бы царапину, от стен Моабита давно бы не осталось даже каменной пыли. Его проклинали целые народы из года в год. Когда в мире рухнут все тюрьмы, то даже Бастилию, даже кишевшие мокрицами казематы Петропавловской крепости, даже змеиные ямы тиранов Востока свободное человечество будет вспоминать с меньшей ненавистью, чем Моабит. Этот мертвый страж европейских реакций душил в своих каменных объятиях лучших сынов многих народов. В памятный список черных своих злодеяний Моабит вписал имена тысяч замученных, растрелянных сынов свободы.

Бастилию народ брал штурмом. Петропавловские казематы стали музеем. А Моабит все стоит, как могильный камень, в самом центре Европы.

В ту ночь его непроницаемые стены казались еще более зловещими, чем обычно: над Берлином шла гроза. Вспышки молний озаряли мертвенным светом тюремные ворота, длинные коридоры, двери камер с глазками.

Одна из дверей была открыта. В камере у железной койки стоял Камо в полосатой арестантской одежде. По камере прохаживался полицейский чиновник.

— Альзо, гер Мирский-Петросян-Камо, спектакль оконтшен. Через одну неделю вы будете предстать перед суд, как международный преступник, потом мы будем посылайт вас домой к мама.

Камо, прищурясь, пристальным взглядом всмотрелся в чиновника.

— Домой?

И вдруг глаза Камо помутнели, в них появилось безумие. Он забегал по камере, остановился лицом

к решетке, и внезапный его истерический хохот потряс стены.

— Я — Петросян-Камо? Я — Мирский? Ха-ха-ха! Я — Александр!

Молния сверкала над Берлином, и ее вспышки отпечатывали на лице Камо тень решетки. В отдалении раскатывался гром.

— Я — Александр Македонский и выпил миллион литров чачи. Ха-ха-ха!

Лицо полицейского было спокойно:

— Фи, гер Македонский! Это есть не оригинально. Маленький экспертиза очень быстро будет вас, — он поднес ко рту свой согнутый указательный палец и хищно щелкнул зубами, — раскусить.

По улице, прикрываясь зонтиком, быстро шла женщина. Между двумя раскатами грома она услышала этот страшный хохот, доносившийся из Моабита. Остановилась и положила руку на сердце.

По мостовой, разбрызгивая воду, ехал экипаж. Женщина махнула рукой. Экипаж остановился. Женщина прыгнула в него. Уличный фонарь осветил ее лицо. Это была Валя.

Она сошла у невысокого дома с медной табличкой на дверях: «Адвокат Оскар Кон».

— Да, к сожалению, предупредить его вы опоздали, — сказал Кон, усаживая ее в кресло у камина.

— Владимир Ильич просит вас хорошо организовать его защиту.

— Мне уже говорил об этом Карл Либкнехт.

— Вы понимаете, что дело теперь не только в Камо. Если Столыпин устроит процесс над ним, полетят тысячи светлых голов.

— Понимаю. Я постараюсь оттянуть процесс.

— Главное, чтобы Камо как можно дольше не выдали из Германии русской охранке.

— Понимаю. Вы устроились где-нибудь?

— Я сегодня же уеду. Информируйте, пожалуйста, Закавказский комитет через меня, пишите в Тифлис

на театр. — Она встала и пожала Кону руку. — Сегодня в Моабите кто-то сошел с ума. О, какой это был хохот!

...На тумбе возле тифлисского театра ветер трепал обрывок афиши. Снова шел «Гамлет». По афише можно было судить, что со времени того знаменитого спектакля, который Камо превратил в скандал, прошло три года.

Валя только что возвратилась из Берлина. В костюме Офелии, поправляя грим, она смотрелась в зеркало артистической уборной. За ее спиной зеркало отражало Медею и Никиту, одетого в форму ученика начального училища.

— О, какой это был хохот!

— Выдержит ли он? — вздохнула Медея.

— Он выдержит. Вот последнее письмо Кона, которое обогнало меня. Передайте в комитет... Ты почему такой хмурый, Никита?

Никита отвернулся и сказал:

— Кол.

— Что?

— Не что, а по чему? По закону божьему.

— Как же ты во второй класс перейдешь?

— Это еще не скоро, — ответил Никита.

В уборную постучался и заглянул помощник режиссера:

— Прошу вас на выход.

Валя встала.

Где-то вдали прогремели два залпа. Валя опустила голову и увидела, что Никита, надевший было фуражку, снял ее. Медея встала и положила руку ему на плечо.

— Ты знаешь, что это? — спросила Валя.

— Расстреливают в Метехе, — ответил мальчик, — знаю.

Валя укоризненно посмотрела на Медею.

— Да, я рассказала ему. Так надо... — ответила Медея.

— Кон сообщил в своем письме, он добивается,

чтобы Камо перевели из Моабита в психиатрическую больницу «Бух».

В «Бухе» был павильон для поднадзорных больных, девятый павильон, палаты которого мало чем отличались от зарешеченных камер Моабита. Камо стоял, прислонясь лицом к решетке. И после нечеловеческого напряжения очередного прошедшего дня вел страшный безмолвный диалог сам с собой, со своей собственной болью.

«Ты выдержишь?» — спрашивала Камо его боль.

«Я должен выдержать!»

«Это ты днем такой храбрый, — не унималась боль, — а наступит ночь, и тебе снова покажется, что ты уже в самом деле сходишь с ума. Это плохо. Понимаешь, очень плохо».

«Понимаю. Я должен выдержать».

«Но хватит ли у тебя сил?»

«Должно хватить. Ведь не о себе забочусь. О друзьях. Если меня выдадут, Столыпин устроит уголовный процесс над всей партией».

«А сердце? У тебя болит сердце...»

«У меня нет сердца. Я больше не человек. Я — железо и ярость. Держаться, держаться!» — уговаривал он сам себя.

В коридоре раздались шаги. Камо снова резко повернулся лицом к решетке, и его истерический хохот опять потряс стены.

В палату вошли главный врач Вернер, полицейский чиновник и Оскар Кон. На койке лицом к стене лежал сосед Камо — Фехтер, в недавнем прошлом видный врач, жизнь которого погубила наркомания. Он страдал морфинизмом. Камо забился в угол. Глаза его были затуманены, на губах застыла болезненная улыбка.

— Ну, как мы себя сегодня чувствуем? — мягко спросил Вернер.

Камо еще больше вжался в стену и смотрел сквозь вошедшего ничего не видящим взглядом.

— Это ведь господин Кон, — сказал Вернер, — ваш опекун. Не узнаете?

Камо затараторил:
— Много нет, мало лет, двадцать... и!
— Голова болит?
Камо ощупал свою голову:
— Здесь хорошо. Тепло здесь.
— Почему третий день не едите?
— Умер.
Кон с ужасом посмотрел на Камо.
— Видите, — сказал Вернер полицейскому чиновнику, — сейчас он для участия в судебном разбирательстве действительно умер.
Полицейский заворчал:
— Он еще сто лет проживет, если его раньше не повесят.
— Пятьдесят и пятьдесят — сто, — подхватил Камо. — А сорок восемь — это минус. Мне сказали, что всего в России миллион кандалов. Хотел считать — бумаги не дали.
И вдруг он весело запел песенку веселого кинто — продавца фруктов:

Об одном молю судьбу:
Хороните не в гробу...
Джан-ная, джан-ная...

— Вам сегодня опять не повезло, — сказал Вернер Кону.
Камо приплясывал:

Я хочу в бурдюк с вином
Да с приправой, с тархуном...

Фехтер закряхтел на своей койке. Привстал и вдруг закричал на полицейского:
— Убирайтесь отсюда!
— Это Фехтер, брат старого черта, — отрекомендовал его Камо и пошел вприсядку:

Искупаюсь я в вине,
И воскресну я вполне...
Джан-ная, джан-ная...

Полицейский презрительно отвернулся. Это окончательно вывело Фехтера из себя.

— Подумаешь, король! — вскочил он и пошел резонерствовать: — Все человечество делится на королей и поэтов. Разница в том, что королей не судят при жизни, а поэтов — после смерти. Убирайтесь вон!

— Замолчите, Фехтер! — И врач повернулся к полицейскому: — Передайте господину полицей-президенту, что в подлинности болезни Мирского у нас нет никаких сомнений. Впрочем, для полной гарантии можно пригласить профессора Шиллера... Вы можете побыть с ним, господин Кон.

Вернер и полицейский чиновник вышли.

— Идиоты! — бросил Фехтер им вслед.

Кон услышал, как за его спиной оборвалась нелепая песенка, и Камо сказал здоровым, чуть хрипловатым голосом:

— Ничего, товарищ Кон, это мой новый сосед Фехтер. Он так же болен, как и я. Но он хороший врач и понимает, как нужно по-настоящему сходить с ума.

Камо закашлялся и добавил для Фехтера:

— Сейчас он выйдет.

Кон обернулся. Камо рукой вытер пот и как будто этим жестом снял маску. Из-под ладони появилось совершенно другое лицо. В его просветлевших глазах зажглась озорная улыбка.

— Я не могу к этому привыкнуть, — взволнованно сказал Кон. — Каждый раз с ужасом думаю, что ты уже действительно... — он покрутил пальцем у виска и тоже вытер пот.

Фехтер прошелся по палате.

— А что, если я не выйду? Меня не выпускают во двор... Если бы я не обучал вашего клиента, его бы давно судили! Но доктор Фехтер никому не нужен. Доктор Фехтер морфинист, и родные не любят доктора Фехтера. Они упрятали его сюда. — Внезапно он остановился и закричал: — Что же, занимайтесь своим переустройством мира, а доктор Фехтер будет для вас... сидеть в уборной. — Он выбежал.

— Странный человек, — вздохнул Камо, — пустой. Нет у него здесь заветного слова, — он приложил

руку к груди. — Есть такое русское слово — «ярость». Молодым был — не понимал. Теперь жизнь научила. Ярость — очень хорошее слово! Разъярился. Ярость! Был такой русский бог Ярило! Знаешь, кто такой? Олицетворение творческих сил *.

— Ильич, — мягко сказал Кон, — вчера снова справлялся о тебе через Либкнехта. Приехал Красин, он прямо от Ленина. Я постараюсь устроить вам свидание.

Камо просиял. Кон тоже заулыбался.

— Трудно, конечно... Весь полицейский интернационал против тебя.

— Ничего! Теперь ничего!.. Не против меня, — он обнял Кона за плечи,— против нас! — И Камо погрозил кулаком в сторону двери.— Ну что ж, господа, будем продолжать. Кто кого скорее с ума сведет.

Но вдруг по его лицу прошла тень озабоченности:

— А кто такой этот Шиллер?

— Друг детства моего отца. Честный ученый, психиатр с мировым именем. Я поговорю с ним.

— С мировым...— еще более озабоченно повторил Камо.— Ну, что же...

Снова послышались шаги, и Камо неожиданно захохотал, нелепо подняв ногу.

Но вошедший оказался Фехтером. Он оценивающе посмотрел на Камо и сказал:

— Не так, дитя мое.— Затем тоже стал на одну ногу и замахал руками.— Вот как надо.

...В одном из зеленых пригородов Берлина в стороне от городского шума стоял особнячок с высокой готической крышей. Когда Оскар Кон взялся за медную ручку, зазвучал мелодичный звонок. Дверь открыла жена профессора, полная женщина в домашнем халате. Кон почтительно снял шляпу. Женщина всплеснула руками:

---

* Этот монолог дается по воспоминаниям М. Горького «Камо».

— Бог мой, кого я вижу! Профессор возится со своими розами, но я сейчас позову его.

— Не беспокойтесь, фрау Марта, я пройду к нему в сад.

Кон шел через знакомый кабинет и кухню во двор. Фрау Марта семенила за ним:

— Нехорошо, нехорошо, мой мальчик, вы совсем забыли нас с тех пор, как начали заниматься вашей политикой.

Над клумбой склонился человек в сером егерском костюме и шелковой шапочке. Из-под нее рассыпались длинные седые волосы.

— Послушай, Отто, — загадочно сообщила фрау Марта, — тебя хочет видеть один молодой человек.

Профессор оглянулся через плечо, узнал Кона и, продолжая копаться в земле, сказал не очень гостеприимно:

— Здравствуйте, Оскар. Вон скамейка. Этот град побил мои розы.

Кон присел на скамейку и стал ждать. Профессор, казалось, забыл о госте. В небе пролетел аист, сделал круг и опустился в гнездо на дереве у дома.

— Господин профессор, — произнес, наконец, Кон. — Я пришел к вам по важному делу.

Профессор молчал.

— Вас пригласил господин полицей-президент как эксперта к русскому подданному Мирскому-Петросяну. Завтра вы решите его судьбу.

Профессор разглядывал розу.

— Бог мой, лучший образец погиб. — И, не поворачивая головы, он спросил: — А вы здесь при чем?

— Я адвокат и опекун больного, — ответил Кон. — Я хотел узнать у вас: возможно ли выздоровление. Два года его преследуют галлюцинации. Нередко его кормят насильно, через зонд. Дважды он покушался на самоубийство, а главное, он совершенно не чувствует боли.

Профессор впервые повернул голову. Кажется, в нем проснулся профессиональный интерес.

— Может быть, нейролюэс... А зрачки?

— Что — зрачки?

— Этого могут не знать только они — эти медики из полиции. Коновалы! Симулянта выдают зрачки. Если человек чувствует боль, то они великолепно расширяются... Погиб, окончательно погиб этот стебель.

Кон нервно закурил, забыл даже спросить разрешение.

— Господин профессор, если... ну, скажем, если произойдет ошибка и вы признаете Мирского здоровым, его выдадут русской жандармерии.

Встретившись взглядом с профессором, Кон отвел глаза.

Аист кормил из клюва птенцов.

Профессор выпрямился.

— Господин адвокат, — сказал он, разминая затекшие ноги, — весь мир знает меня как честного ученого.

— Потому я и пришел к вам, — ответил Кон, глядя на аиста, и повторил слова Вали: — Если русским властям удастся устроить процесс Мирского, Столыпин срубит тысячи светлых голов.

— И вы... и вы... — профессор начал задыхаться, — предлагаете мне, доктору Отто Шиллеру, покривить совестью эксперта?!

Теперь Кон тоже встал:

— В России реакция, господин профессор. Виселицы, расстрелы...

Профессор задрожал от гнева и с трудом сдержался, чтобы не повысить голос.

— Вы очень красноречивы, господин адвокат. — И он решительным жестом показал на калитку. — Прошу вас!

На следующий день доктор Вернер вез профессора Шиллера в одноконном экипаже по улицам утреннего Берлина. Размеренно цокали копыта, похрапывала откормленная лошадь, и редкие утренние прохожие, встречающие этот экипаж, не знали, какой странный разговор ведут между собой два его пассажира.

— К тому же, — говорил Вернер профессору, — он отказывается от принятия пищи. Здоровый человек, я считаю, не мог бы голодать с такой настойчивостью.

Вернеру явно льстила возможность покрасоваться перед знаменитым ученым своими познаниями. Он говорил напыщенно, кругло формулировал фразы, и профессор Шиллер морщился, потому что фразы эти звучали не как речь живого человека, а как медицинские протоколы полиции, которые в домах для душевнобольных лицемерно назывались «Скорбными листами». Наконец профессору надоело.

— Как выглядит его череп? — спросил он, чтобы прервать научные изыскания Вернера.

— Череп симметричен, — ответил тот и тут же снова принялся вспоминать данные «Скорбных листов». — Объем черепа пятьдесят шесть сантиметров. Большие рубцы от ударов прикладом и саблей. Я позволю себе заключить, что его заболевание является продуктом как врожденной дегенерации, так и этих повреждений черепа.

Глухо стучали по булыжной мостовой копыта. Экипаж приближался к «Буху».

А тем временем Камо весело расхаживал по своей палате от стены к стене. Он еще больше похудел, оброс бородой. Но был бодр.

Фехтер лежал, закинув ноги на спинку кровати.

— Слушайте, Мирский, — произнес он с мольбой, — перестанете вы, наконец, мелькать перед глазами?

— Ах, доктор Фехтер, доктор Фехтер! — Камо и не думал останавливаться. — Сегодня я должен пройти еще двадцать один километр. Мне еще не раз понадобятся здоровые ноги. Относитесь к этому неудобству философски. Ведь вы сын страны философов и поэтов.

— А вы не шутите! — обозлился Фехтер. — Вам приходится иметь дело с Германией полицейских врачей и убийц, но это еще не значит...

Теперь Камо остановился, подсел к Фехтеру и сказал серьезно:

— А вы не сердитесь. Я знаю и люблю другую Германию — родину ученых и революционеров, родину Маркса. Но вы подонок, Фехтер. — И он вдруг перешел на «ты». — Почему я вместо тебя должен бороться за эту Германию?

Когда Вернер ввел профессора Шиллера в свой кабинет, там за столом сидел полицей-президент. Санитары принесли профессору халат. Вернер подобострастно помог ему просунуть руки в рукава. Ввели Камо.

Профессор начал исследовать арестованного. Он выстукивал его грудную клетку, выслушивал сердце, маленьким молоточком ударяя по колену, испытывал рефлексы. Камо, голый по пояс, с безумным выражением лица, был теперь совершенно не похож на того здорового человека, который только что расхаживал по палате.

— Отвечайте быстро, — сказал профессор, — а вы, коллега, сидите и записывайте.

Вернер уселся за маленький столик и вооружился пером.

— Что вы знаете о Екатерине? — спросил профессор.

Камо отскочил:

— Об этом чудовище я не желаю говорить!

— Дайте мне иголку, — сказал профессор. — Закройте глаза, больной.

Иголка слегка уколола руку Камо. Рука не дрогнула. Лицо оставалось совершенно спокойным.

— Откройте глаза, что вы чувствуете?

— Я хочу кандалы убить, — забормотал Камо, — построить памятник всем погибшим, сложить рядом все кандалы и сверху — кирпичом!

Иголка глубже вонзилась в руку. Профессор пристально смотрел в глаза Камо. Зрачки не расширялись.

— Похоже, действительно анестезия к болевым ощущениям.

Полицей-президент, мрачно наблюдавший за ходом экспертизы, встал:

— Я попрошу всех в соседнюю комнату.

...В соседней комнате пылали угли в камине. Рослый санитар поднял с пола толстый железный прут и положил концом в огонь. Профессор вскипел:

— Это что такое?

— Последняя экспертиза, — примирительно сказал полицей-президент.

— Но ведь это варварство!.. Есть иголка, есть, наконец, термокаутер... Я отказываюсь так вести экспертизу...

— Я прошу вас, профессор... — Полицей-президент произнес это мягко, но с ноткой угрозы. — Это опасный преступник. Я очень прошу вас!..

— Дорогой коллега,— вмешался Вернер,— неужели вам не интересно? Это ведь редчайший случай. Уверяю вас, он совершенно не чувствует боли.

И пока длился разговор, пока накаляли прут, Камо смотрел в огонь. Хватит ли у него сил? Нервы шалили. Все двадцать месяцев нечеловеческих мук внезапно дали себя знать. Камо вспомнил все то, что стоило ему невиданного напряжения воли и о чем в «Скорбных листах» остались бесстрастные записи:

«...Говорит неустанно и непонятно. На вопросы не отвечает, очень боязлив, пугается при малейшем прикосновении. Избегает, когда его хотят исследовать».

«...Держит себя очень шумно. Пел берлинские уличные песни. Заявил, что он уже не Македонский, а Наполеон».

«Расцарапал себе лицо и размазывает появившуюся кровь».

«Вырвал себе часть усов, желая послать волосы на память своим товарищам. Ночью держал себя шумно. Все утро простоял на одной ноге».

Нет. Так не годится. Сейчас обязательно нужно думать о другом. И вот причудливые очертания пламени начали сливаться для Камо в рисунок.

Это уже не пламя в камине, а пожар. Он видит

пожар. Пылает аул. Возле саквояжа с деньгами стоят исправник и казначей...

А вот он, Камо, вместе с Медеей сидят в фаэтоне.

«Обними же меня, — говорит Медея. — Ну, для конспирации...»

Шиллер не понял, чему в эту секунду улыбался Камо. А тот заставлял себя вспоминать.

...Вот он увидел больную мать и услышал ее голос:

«Почему у тебя столько врагов, Синько? Разве ты плохой человек?»

И, вспоминая свой тогдашний ответ, он произнес вслух:

— Не я плохой, мама, царь плохой.

Профессор покосился на него и покачал головой.

В камине пылал огонь. Но Камо видел огни баррикады на Нахаловской горке. И из пламени вырисовывалось лицо Василия. Василий говорил:

«А вино, сам знаешь, чем дольше стоит, тем оно лучше. Выдержке учись, Семен Аршакович, выдержке...»

Камо снова улыбнулся, но тут прозвучал голос полицей-президента.

— Приступайте, прошу вас!

Видения исчезли.

Санитар, натянув перчатки, взял прут. Он был накален добела.

Камо, стиснув зубы, взглянул через плечо.

— Повернитесь ко мне, больной, — сказал профессор.

И вот раскаленное железо прикоснулось к телу Камо, к его плечу. Профессор увидел спокойное лицо Камо, презрительную улыбку на губах. Спокойные глаза. Но вдруг зрачки их начали медленно расширяться.

Профессор отпрянул. Он был удивлен. Более того, он был потрясен. Он снова приблизил свое лицо к лицу Камо, и они смотрели друг на друга, глаза в глаза.

Тишина. Разговаривали глаза.

«Ну вот, — твердо говорили глаза Камо, — ты понимаешь, что я симулирую. Но вся твоя интелли-

гентская душа потрясена моим мужеством. Ну, предай меня, если можешь, виселице!»

А зрачки расширялись все больше.

«Боже мой! — говорили глаза профессора. — Какое сильное сердце должно быть у этого человека. Боже мой, что же мне делать?!»

И, еще ни на что не решившись, он спиной заслонил Камо от Вернера.

— Ну как, профессор? — спросил тот. — Вы подтверждаете мой диагноз? Ведь он действительно не чувствует боли?..

Профессор еще секунду колебался, глядя на все расширяющиеся зрачки Камо, потом, пошатнувшись, закрыл глаза и ответил:

— Вы... совершенно... правы... коллега...

И вдруг — нервы не выдержали больше! — закричал, срывая голос:

— Да уберите вы к черту этот прут! Я не выношу запаха паленого мяса!

...Фрау Марта встала с постели, прошла через комнату и открыла окно.

Светало. В гнезде на одной ноге дремал аист.

Фрау Марта обернулась: вторая кровать в спальне была застлана. Профессор не ложился.

Вот он сидит за столиком, опустив голову на руки.

— Уже утро, Отто.

— О, если бы ты знала, Марта, как пахнет паленое мясо!

Этого фрау Марта, к счастью, не знала. Но она хорошо знала своего мужа. Она понимала, что его мучит совесть, «совесть эксперта», как говорил он Кону.

— Успокойся, Отто, — с нежностью сказала она. — Раз ты поступил так, значит, это правильно.

С улицы послышался мальчишеский голос:

— Вы не спите, фрау Марта?

Фрау Марта вздрогнула и подошла к окну. На крыльце стоял мальчишка. Он крикнул:

— Я хотел опустить это в ящик, но раз вы не спите... — И в окно влетел конверт.

— Это тебе, Отто, — встревоженно сказала фрау Марта.

Профессор надорвал конверт и достал записку. В ней было всего три слова:

«Спасибо, Карл Либкнехт».

ПОБЕГ

В горную саклю слепого мастера вбежал Никита. Старик беседовал с Ревазом.

— Здравствуйте! — крикнул мальчик.

— А, Никита! — узнал его по голосу старик. — Ну, перевели тебя во второй класс?

— С переэкзаменовкой, — ответил Никита.

— По чему?

— Не по чему, а что! Кол по закону божьему. — И он подал Ревазу записку и шепотом, с видом настоящего конспиратора, сообщил: — От тети Вали.

На лице Реваза заходили скулы. Он прочел: «Его все-таки выдали. В Петербурге добились. Высылается, как безнадежно больной, для лечения на родине». И подумал: «Нужно немедленно сообщить комитету».

Да, Камо все-таки выдали. Как же это случилось?

После заключительной экспертизы полицейский врач Вернер составил окончательное заключение, в котором утверждал, что «о преднамеренной симуляции или преувеличении болезненных явлений со стороны Аршакова не может быть и речи», что «Аршаков в настоящее время не способен к участию в судебном разбирательстве и не будет к тому способен в будущем, насколько это можно предвидеть», и, наконец, что «чрезвычайно маловероятным представляется предположение, что Аршаков-Мирский когда-нибудь в будущем станет способным к отбыванию наказания».

Камо выиграл битву. Но царская охранка прила-

гала все силы, чтобы все-таки учинить расправу над ним, а значит, и над его партийными друзьями. Одна за другой в берлинское министерство внутренних дел к полицей-президенту Берлина и прокурору шли требовательные депеши. Наконец палачи из Петербурга и Берлина сообщили, нашли выход.

По наущению полиции немецкое благотворительное общество попечения о бедных и больных обратилось в прокуратуру с письмом, в котором проливало крокодиловы слезы и умоляло отправить к родным неизлечимого больного Мирского-Петросяна, который якобы нуждается в нежном уходе близких. Кроме того, благотворительное общество не находило возможным расходовать свои немецкие средства на русского подданного.

Напрасно товарищ Кон доказывал, что больной содержится на собственный счет, что сам он, Кон, как адвокат и опекун больного, перевел значительные суммы на его содержание.

Дело было сделано.

...По приморской дороге шел поезд. Пассажиры из открытых окон вагонов смотрели на неожиданно открывшееся море. Люди по-разному смотрят на море — умиленно, радостно, мечтательно, тоскливо, удивленно, испуганно. У окна вагона первого класса сидел Марципанов. Он смотрел на море безразлично. Он зевал.

А в хвосте поезда шел арестантский вагон. Рассевшись в живописных позах, прищелкивая пальцами, пристукивая ложками, пели уголовники:

Эй, не ходи ты перед тюрьмою
Да не стучи подборами...

— Замолчать! — крикнул стражник.

Но уголовники, с вызовом подмигнув ему, запели еще громче:

Катись ты, тум-барья да пири-пири-юмбарья,
С такими разговорами!

А сквозь решетку смотрел на море Камо. Он небрежно, через плечо обронил:

— Хватит!

Уголовники с уважением поглядели на его кандалы — он один во всем вагоне был закован, — и песня сразу оборвалась. Камо тоже смотрел на море. Он смотрел с восхищением. Он забыл о своих неприятных соседях, о решетке. Глаза его были влажны.

— Здравствуй, Кавказ! Как ты прекрасен!

Поезд остановился под вокзальной надписью «Тифлис». На ступеньках вагона первого класса появились ноги в сверкающих сапогах. Это легкой походкой выходил Марципанов.

Он прошел сквозь две шеренги встречавших его жандармов, и жандармский офицер жестом пригласил его в открытый фаэтон.

На ступеньках арестантского вагона появились ноги в кандалах. Это выходил Камо. Жандармский офицер жестом указал ему на крытый арестантский фургон.

У ворот Метехского замка, прижав руки к груди так, словно она пыталась хоть немного унять сердце, стояла Джаваира. Она видела, как Марципанов в сопровождении офицера вошел в ворота. Ушли.

Вот подкатил фургон, и из него вышел Камо. Худой, заросший, в кандалах.

Его повели к замку. Джаваира бросилась наперерез, остановила конвойного, протянула руки к Камо. Но он набросился на нее, заплясал, стал тормошить ее волосы. Посыпались на мостовую шпильки, разметались косы. Джаваира отшатнулась. Простонала:

— Довели!

Тогда Камо схватил ее за волосы, притянул к себе, прижался щекой к щеке — какое счастье принесло ему это теплое домашнее прикосновение — и прошептал:

— Я умнее их всех, Джаваира. Так нужно.

Его рука засунула ей за ворот бумажку.

Жандармы оттащили его. Офицер сказал Джаваире:

— Ну, хватит, поздоровались и попрощались. Теперь выплясывать ему осталось недолго.

На явочной квартире комитета Джаваира показала записку, переданную ей Камо. Вот что он написал:

«На моей могиле давно могла вырасти трава в три сажени. Когда-нибудь да нужно умереть. Но все-таки попытка — не пытка. Может, еще раз посмеемся над врагами. Из Метеха не убежишь. Я скован. Попытайтесь добиться перевода в больницу. Свяжитесь. Постарайтесь что-нибудь придумать».

— Первым делом надо позаботиться, чтобы в Метехе и в тюремной больнице были у нас свои люди, — сказал один из членов комитета.

— У Шаншиашвили там есть знакомый санитар Брагин, — подсказала Джаваира. — Только он, говорят, пьяница.

— Если тюремный страж выпивает, — возразил присутствовавший при разговоре Реваз, — может, его совесть мучит...

Комитет постановил создать боевую группу для организации побега Камо. В группу вошли и некоторые из его старых друзей.

В одиночной камере Метехского замка, в высоком окне сквозь решетку мерцали звезды. Камо лежал на койке, смотрел на эти звезды, и ему казалось, что они плывут.

— Похоже, что и вправду земля вертится, — вздохнул он.

Светало. Камо сделал ногтем на стене зарубку. Их было уже много. Камо начал считать их пальцем. Он шептал:

— Сорок четыре, сорок пять, сорок шесть. Еще год и сорок шесть дней. Неприятная штука одиночка.

Вдруг на решетку уселся щегол. Он почистил крылышки и лихо защебетал. Камо начал крошить хлеб. Он двигался очень осторожно, Ему было важно, ему было просто необходимо, чтобы хоть эта пичуга разделила его одиночество.

Опухшие запекшиеся губы тихо и медленно позвали:

— Цып! Цып-цып!

И звук был такой, словно три тяжелые капли упали на жесть. Щегол повернул голову, влетел в камеру и стал клевать хлеб.

Камо умиленно зашептал:

— Ишь ты, вскормленный на воле орел молодой!.. Добро пожаловать!

Он был счастлив. Осторожно налил на пол из кружки воды. Звякнули кандалы, щегол взлетел, закружился по камере.

— Что, не нравится эта музыка?

Щегол описал круг и вдруг уселся у Камо на плече.

— Вот умница! Будем знакомы. Ну-ка, расскажи, как там, на воле?

Щегол громко защебетал. Камо беззвучно рассмеялся.

Марципанов расхаживал по кабинету.

— Значит, придется передать гражданскому суду вашего князя?! — полувопросительно, полуутвердительно говорил ему прокурор.

Немецкое правительство при выдаче Камо русской жандармерии поставило условие: судить его только после выздоровления, и гражданским, а не военным судом. Это была победа Камо и его друзей — немецких социал-демократов.

В Закавказском большевистском комитете знали об этом условии. В полицию, жандармерию, к царскому наместнику прибывали письма с требованием, чтобы условие это было выполнено.

Но власти добивались смертного приговора для Камо, а такой приговор мог вынести только военный суд.

Повторялась история 1904 года. Но если тогда судьба Камо зависела от самого царя, теперь ее решал жандармский полковник Марципанов.

...Камо ввели в зал заседаний военного суда. За

столом — судья и два молодых офицера. Публики, разумеется, не было. Военный суд был закрытым. Судья предложил Камо встать и задал обычный первый вопрос:

— Имя, фамилия?

— Меня зовут Камо, — ответил подсудимый. — А его — Петька. — И он вынул из-за пазухи щегла, посадил на плечо и начал кормить хлебом.

Судья задал еще вопрос. Но Камо, перегнувшись через стол, сунул вырванную из клюва щегла корочку хлеба в рот судье. На этом судебное разбирательство и окончилось.

Камо снова был передан в руки полицейских врачей-экспертов.

А тем временем в Париже, в Женеве, в Берлине, в Вене надрывались мальчишки-газетчики:

— Купите газету, мосье, газету, мадам! Не проходите мимо!

— Позорный шаг берлинской полиции!

— Мирскому-Петросяну угрожает виселица!

— Запрос Карла Либкнехта в рейхстаге!

Карл Либкнехт выступал в рейхстаге. Рабочие Франции, Германии, Бельгии, Голландии, Англии требовали освобождения Камо. И это подействовало. Нет, недаром Камо обрекал себя на страшные муки. Он выиграл время. И вот случилось невероятное: сам Столыпин вынужден был отменить смертную казнь.

— С каким удовольствием я увидел бы этого Камо на виселице! — сказал он своему секретарю. — Пишите! «Секретно». — И он продиктовал: — «Наместнику его императорского величества на Кавказе графу Воронцову-Дашкову... Милостивый государь, граф Илларион Иванович!.. За последние дни демократическая печать с особенной страстью обсуждает судьбу Аршакова (он же Мирский и Тер-Петросян). Нападки прессы на германское правительство непременно усилятся в случае, если Мирский будет приговорен к смертной казни, а министерство внутренних дел опасается, что это помешает высылке

русских анархистов из-за границы в Россию. Пользуюсь случаем выразить вашему сиятельству уверение в совершенном моем почтении и истинной преданности. Столыпин».

Тифлисские власти вынуждены были перевести Камо в Михайловскую больницу, которая, впрочем, так же мало отличалась от казематов Метехской крепости, как берлинская больница «Бух» от Моабита.

...В один из теплых вечеров в знакомом нам духане на берегу Куры стол был уставлен бутылками. Изображалась пирушка. Собрались Реваз, Сулейман, Джаваира, Гиви, Степан, Шаншиашвили. Ужин подавал тот самый духанщик, который некогда славился своей обходительностью. Но ему не очень нравились такие гости в нынешнее мрачное время, и он произнес, не скрывая беспокойства:

— Кушайте на здоровье, дорогие ангелы, и, пожалуйста, улетайте отсюда поскорее куда хотите, хотя бы в ад! — Он швырнул блюдо с бастурмой на стол и вышел.

— Выйди, Степан, посмотри за ним, — сказал Ревaз. — Так вот, друзья, перевод Камо в больницу облегчает дело.

Степан вышел. В приоткрытую дверь ворвалась беззаботная песенка зурны.

— Да, но кандалы не сняли, — хмуро уточнил Гиви.

— Медлить нельзя, — отодвинула от себя еду Джаваира.

— Сколько ему понадобится, чтобы перепилить решетку и кандалы? — спросил Ревaз.

— Трудно сказать, — ответил Сулейман.

— Хорошо. — Ревaз отложил в сторону нож. — В назначенный час ты, Гиви, придешь на берег с удочкой и начнешь петь. Вот план, утвержденный комитетом. Камо должен через решетку подать знак рукой, что услышал. Тогда ты, Гиви, махнешь платком... Ты, Джаваира, возьми с собой Медико и Валю.

Несколько дней назад Джаваира через санитара Брагина передала Камо спрятанные в пирог английские пилки. Назавтра санитар сообщил ей, что пилки тонкие, ломаются и, возможно, их не хватит.

Джаваира сказала:

— Сегодня в полночь Брагин снова придет на Верийское кладбище. У вас есть еще пилки?

Реваз кивнул и поднял бокал.

— А теперь, товарищи, выпьем по-настоящему. — Он сказал громко, так, чтобы слышал духанщик. — Первый тост предлагаю выпить за нашу встречу, — и тихо, так, чтобы слышали только друзья, добавил: — с ним!

В палате Михайловской больницы, поминутно прислушиваясь, Камо пилил свои кандалы. Раздались шаги. Он бросился к двери, застучал кулаками.

— Умираю! Жажда! Лимонаду две бутылки давай!

Вечером по Верийскому кладбищу вдоль церковной ограды шла Джаваира. Она прислушивалась. Ей почудился мужской шепот. Шепот повторился:

— Я здесь.

Человек появился из-за памятника и подошел к Джаваире. Это был тюремный санитар Брагин.

— Ну? — спросила она.

— Кандалы готовы. Решетку пилит в умывальной. Пилки еще принесла?

Джаваира передала ему завернутый в полотенце пирог.

— Окно умывальной знаете где? — спросил Брагин. — Высоковато, правда. Как бы не убился!..

Джаваира оценивающе вгляделась в Брагина.

— Здесь рядом поминки. Выпить хочешь?

— Бросил, — ответил тот. — Пить бросил и жену бить бросил. — Он улыбнулся и закончил: — Что он со мной сделал, ваш Камо! Колдун, да и только.

Когда взошел предутренний месяц, Камо допиливал решетку. Вынул ее и высунул голову в окно. Да-

леко внизу под каменной стеной текла Кура. У Камо на секунду закружилась голова, он отшатнулся. За дверью послышался шепот Брагина:

— Кончайте! Идут!

Камо вставил решетку на место, пожевал хлеб и замазал им распиленные места.

Побег был назначен на завтра — пятнадцатое августа. Днем Метехский замок и соседняя с ним Михайловская больница охранялись менее тщательно. Камо должен был бежать в десять часов утра. Но без четверти десять на дверях лязгнул засов.

— На допрос! — крикнул надзиратель.

Марципанов прищуренным взглядом измерил вошедшего Камо.

Еще один очередной допрос. Марципанов уже перестал радоваться тому, что Камо, наконец, оказался у него в руках. Допросы не дают результатов. Марципанов устал, он знает, что и сейчас немногого добьется.

У Камо большая нечесаная борода. Порванный серый пиджак в широкую черную полоску, похожий на арестантскую робу. Тяжелые ножные кандалы, прикрепленные к поясу. Лицо полоумное, глаза блуждают.

— Ну-с, начнем еще раз, светлейший князь,—устало сказал Марципанов и издевательски церемонным жестом предложил Камо сесть, — имя, отчество, возраст?

Камо сел, протянул руку к массивной чернильнице и начал вертеть на ней крышку.

— А как ваша фамилия? Мне показалось, что мы уже не раз встречались. У меня есть щегол. Его фамилия Петька.

И Камо вынул из-за пазухи щегла и пустил его на стол.

— Что это? — Марципанов смахнул со стола щегла и почти жалобно попросил: — Да перестаньте же вы, наконец, юродствовать!..

Камо взял в руки кандалы и вызвонил: «Чи-жик, пы-жик, где ты был?»

— О господи, — взмолился Марципанов. — И зачем только они поймали вас, эти немцы!

Камо тряхнул головой, взглянул на полковника совсем другими, умными и озорными глазами. Все готово к побегу. Хорошо. Камо сейчас перестанет симулировать, но Марципанову от этого не поздоровится.

— Ладно, будем считать, что у меня временное просветление. До чего же вы мне надоели, дорогой мой... Вадик!

— Так-то лучше, — с облегчением вздохнул Марципанов и открыл папку. — Вот здесь неполная летопись вашей жизни. Участие в вооруженных восстаниях, экспроприации, транспортировка оружия... три смертных приговора и три побега из тюрьмы!.. Смелости хоть отбавляй. Но на что вы стали похожи, господин Петросян! Борода-то!

Он фамильярно потрогал кончик бороды Камо, вытер пальцы, выбросил платок.

— Как грязная метелка!.. А ведь вам и тридцати нет! — И Марципанов ласково продолжал: — Станьте, наконец, благоразумным, и я выхлопочу для вас замену смертной казни каторгой.

Обещание было честным: Марципанов знал о письме Столыпина, и в его устах слово «каторга» звучало, как «рай».

— Правда? Благодарю вас, — с хорошо разыгранной искренностью ответил Камо и добавил с готовностью: — Задавайте ваши вопросы.

— Не курите по-прежнему? — Марципанов погрузил перо в чернильницу. — Возраст?

— Не курю по-прежнему, Вадим Аркадьевич! И по-прежнему моя фамилия, возраст и прочее вам хорошо известны. Ближе к цели.

— Хорошо, хорошо. Но я обязан каждый протокол заполнять с ваших слов. Вы это знаете. Рождение?

— Законное, — ответил Камо со скучающим видом.

— Профессия?

Камо надоело:

— Путешественник!

— Ну, только не закипайте, дорогой мой. Религия?

— Армяно-григорианская церковь. Слышали?

Марципанов сказал с любезной заинтересованностью:

— Представьте, не слышал. Объясните, пожалуйста.

— Нет, дорогой Вадим Аркадьевич, душеспасительного разговора у нас не получится. Не слышали, значит? А о Марксе слышали?.. — Камо встал. — Так вот, моя религия — Маркс и Энгельс.

— Браво! — Марципанов сдержал себя. Его губы растянулись в иронической улыбке. — А постоянное место жительства — Метехская тюрьма? Не так ли, господин путешественник?

Вдруг сквозь решетку открытого окна донеслась песня, ее пел Гиви:

Ай, Батуми, ай, Сухуми,
Ай, Тифлис и Ереван...

Лицо Камо на миг стало напряженным.

— Будет время, я уступлю эту квартиру вам. Моя религия — очень земная вера, и она победит на всей земле, и вам уже не упрятать ее ни за какие решетки... Ну, приступайте, наконец, к делу.

По набережной Куры шел Гиви с удочкой и ведерком. Он вглядывался в зарешеченные окошки больницы, там, за рекой, и, прикидываясь подвыпившим, пел свою песенку:

Ты, душа, не будь угрюмой,
Лучше скушай баклажан...

Вот нужная решетка. Гиви уже с тревогой смотрит на нее. Почему Камо не появляется? Гиви сел и забросил удочку. Ничего, он будет сидеть так и петь с тупым видом хоть до конца света:

Ай, Батуми, ай, Сухуми,
Ай, Тифлис и Ереван...

Посреди Куры, покачиваясь в лодке, смотрел на решетку Шаншиашвили.

А Камо стоял перед Марципановым и сыпал скороговоркой:

— Я говорю, что я не мог участвовать в разбой-

ничьем ограблении на Ереванской площади, потому что был болен. Накануне поел жаркого с кислой алычой и отравился.

Он явно не рассчитывал на то, что ему поверят. Он откровенно издевался, стараясь разозлить Марципанова и сорвать допрос. За окном звучало:

Ты, душа, не будь угрюмой...

— А тут, как назло, — говорил Камо, — на углу винного склада и Иерусалимской улицы зацепились один за другой два фаэтона. Я помогал им, поднял один фаэтон, и от этого у меня в животе что-то оторвалось...

А Гиви, встревоженно поглядывая на решетку, все ходил и пел...

— Где вы жили в Вене? — крикнул выведенный из терпения Марципанов.

— Не помню, в гостинице «Националь» или, может быть, «Интернационал», смотря по тому, какое из этих слов вам больше нравится.

Марципанов был окончательно выведен из себя. Он ребром ладони вбивал в стол каждое слово.

— Какие еще показания вы хотите дать?

Камо посмотрел на стенные часы. Десять часов пятнадцать минут. Он сделал вид, что подумал и решился на что-то.

— Ну ладно, пишите. Когда в одна тысяча девятьсот пятом году...

Марципанов подозрительно посмотрел на него, но все же взял перо...

— ...когда в одна тысяча девятьсот пятом году я вез динамит...

Теперь Марципанов начал строчить. А Камо серьезно продолжал:

— ...путешествуя в одном купе с полковником Марципановым, то у меня такой грязной метелки, как сейчас, не было, а были такие же усики, как у вас...

И Камо потрогал кончики усов Марципанова и вытер пальцы о штаны.

— Сгною за решетками! В мокриц, в трупных червей превращу! — яростно зарычал тот. — Увести!

Камо ушел так поспешно, что его ручной щегол едва успел взлететь с пола к нему на плечо.

Гиви поймал рыбку. Он смотрел на зарешеченное окно.

Ай, Батуми, ай, Сухуми!..

Наконец! В окошке, кажется, появилась рука Камо! Гиви оглянулся и полез в карман за платком. Он готов был подать условный сигнал к бегству. Но это была не рука. Из решетки вылетел щегол. Он взмыл в просторном, свободном небе. А Камо оставался за холодной каменной стеной.

Что случилось? Почему он задерживается? За углом стоял фаэтон. На козлах вертелся извозчик. В фаэтоне в тревожном ожидании молчали нарядившаяся барыней Медея и одетая горничной Валя. Медея то и дело поглядывала на часики. Десять часов двадцать минут. Она спрыгнула на землю, заглянула за угол, тоже увидела вылетевшего на свободу щегла, и на глазах у нее выступили слезы.

— Я не могу так больше, Реваз, — сказала она, возвратившись к извозчику.

— Да... странно... — ответил Реваз.

Камо вошел в умывальную комнату, с опаской оглянулся на дверь и стал напряженно всматриваться в окно.

Сидит с удочкой Гиви. Движутся случайные прохожие.

Камо нервничал. Он достал спрятанные за пазухой часы Василия, с которыми никогда не расставался, и посмотрел на них: десять часов тридцать минут. Быстро снял кандалы, завязал их в рубашку, достал спрятанную за притолокой веревку, помахал сквозь решетку рукой и увидел, что Гиви было полез в карман за платком, но почему-то платка не достал, а Шаншиашвили схватился за весла и начал грести к берегу. Камо не было видно, что на берегу появился какой-то господин с собакой и начал играть с нею, бросая палку в воду. Это и встревожило друзей Камо. Они подумали — уж не шпик ли?

Но вот, наконец, господин, наигравшись с собакой, ушел. Шаншиашвили снова выгреб на середину реки, Гиви взмахнул платком.

Медея и Валя не усидели в фаэтоне. Они подошли ближе к набережной и напряженно смотрели на окно, черневшее высоко над Курой.

Вот, наконец, решетка в нем вынута. Камо повис над рекой, держась за веревку. Левую руку по локоть продел в завязанную узлом рубашку.

Камо спускался. Он раскачивался на веревке над крутизной, и Медее вдруг показалось, что там, в высоте, веревка перетирается о карниз. И когда Камо уже был у самой воды, веревка действительно оборвалась. Медея едва сдержала крик.

Камо упал на узкую полоску берега. Из узла выпали кандалы. Подняв их, он, прихрамывая, вошел в воду. Перед ним катились темные свинцовые волны, над ним простиралось свинцовое предгрозовое небо. Но вот он поднял кандалы над головой и с ненавистью бросил их в воду...

...Назавтра друзья помогли ему уехать за границу.

черное море

Прошел год. Камо побывал в Париже у Ленина. С новыми партийными заданиями он посетил несколько европейских столиц и вот теперь плыл на небольшом пароходике из Афин, возвращаясь на родину. Плескалось Черное море. Свободное безграничное море. И над ним раскинулось свободное, голубое, широко открытое небо.

За суденышком увязались чайки. Камо, глядя на них, прогуливался по палубе. Чисто выбритый, помолодевший, в мягком сером пальто, захлебываясь ветром, вдыхая пьянящий запах моря, он тихо напевал.

Море было спокойно, но небольшой пароходик качало. Рулевой и подвахтенные матросы резались на корме в дурака. И услышали песню Камо и подхва-

тили ее. Камо и сам запел громче. Усач в тельняшке, один из тех просоленных моряков, кого называют «морским волком», и паренек с задорным белобрысым вихорком привстали, обнялись и покачивались вместе с судном и песней. Чуть поодаль на якорном канате сидел Никита.

Паренек с вихорком посмотрел влюбленными глазами на Камо, подумал: «Вот человечина!» — и прошептал:

— И помирать горазд и петь горазд!

Усач тоже поглядел на Камо. Для него, как и для вихрастого паренька, Камо был живой легендой.

— А пальта никогда не сымает. Даже в Афинах, когда оружие грузили, жарища, а он одинаково в этом пальте.

— А может, — прошептал вихрастый, — в нем все планы зашитые насчет царей.

Песня оборвалась. Усач, наклонившись к вихрастому и выпучив глаза, занялся тем, что у моряков называется «травить баланду».

— Говорит он, — усач глазами показал на Камо, — тогда, значит, этому гишпанскому гранд-королю: уложил бы я тебя, гишпанский гранд-король, левым пальцем-мизинцем, только нам такого террору большевистская программа не дозволяет. Так что брысь!

— А нешто гишпанский король, — усомнился вихрастый, — по-нашему-то понимает?

— По-нашему? Эх ты, конец несмоленый! Он сам, товарищ Камо, семьдесят четыре языка знает.

Камо тем временем достал из кармана книжку и углубился в нее. Ветер перелистал страницы.

— Ну, это ты, дядя Паша, того... семьдесят четыре! — Вихрастый обратился к Никите: — Эй, Никита, сколько языков знает твой Камо?

— Все, — безапелляционно заявил Никита.

— А хочешь, спросим? — Усач и вихрастый поднялись.

— Чего там спрашивать. Говорят вам — все, — обиделся Никита.

— Гляди, — не унимался усач, — опять читает.

Знаешь, что за книжки? У него такие книжки, что понимать во всем свете могут он да еще в Японии есть такой ученый — Архимед.

Усач и вихрастый паренек подошли к читающему Камо.

— Извините, Семен Аркадьевич, — заранее торжествуя, спросил усач, — какие вы языки знаете?

Камо несколько смутился:

— А что, дядя Паша?

— Да ничего. Мы тут с мальцом заспорили.

За всей этой сценой из рубки с улыбкой наблюдал капитан. Камо, чтобы выиграть время, перевернул пустой бочонок вверх дном, сел, заложил в своей книге страницу спичкой и положил книгу рядом. Но усач не отставал:

— Так сколько, Семен Аркадьевич? Скажите этому концу несмоленому.

— Я знаю, — ответил Камо, — русский, армянский, грузинский, — помедлив, он добавил, — немецкий, — и еще помедлив, — а остальные плохо.

— Ну, что? — торжествующе спросил подошедший Никита.

— И все чисто остальные знаете? — Вихрастый, задав вопрос, от восхищения забыл закрыть рот.

Камо посмотрел в его доверчивые и влюбленные глаза, ему стало не по себе, и он попытался свести разговор на шутку:

— Как-то я с одним китайским революционером сидел, и мы, знаете, отлично друг друга понимали.

Но до вихрастого подтекст ответа не дошел.

— И китайскую грамоту знает! — восторженно констатировал он.

— Вот видишь! — поставил точку усач.

Камо кусал губы. Ему стыдно было обманывать этих людей. Хотел было что-то сказать, но резко вскочил, ушел, оставив книжку.

— Чего это он? — удивился вихрастый.

— А ничего. Царей обдумывать пошел, — сообщил Никита.

Он встретился взглядом с капитаном. Тот жестом показывал — принести книжку, оставленную Камо.

Усач с книжкой подошел к капитану. Тот посмотрел на ее обложку, заглянул на заложенную спичкой страницу и спрятал книжку за спину. Ведь незачем остальным было видеть, что это арифметика Евтушевского и на заложенной странице чернеет заголовок: «Дроби десятичные».

Капитан улыбнулся:

— Постой-ка, дядя Паша, за меня. — Он показал на точку на горизонте. — К вечеру будет штормяга. Ящики с оружием убрать в трюм. — И, бросив рулевому: «Так держать!» — капитан ушел с мостика. Подойдя к каюте Камо, он услышал:

— Что касается либеральной буржуазии, то... Ага, опять эта либеральная... Черт бы ее побрал!

Капитан намерился было постучать, передумал, рывком распахнул дверь и вошел. Каюта была завалена книжками. Камо учился с таким же ожесточением, так же упрямо и самоотверженно, как делал все на свете. Сейчас у него на лице было выражение отчаяния.

— Вот когда я тебя, товарищ конспиратор, поймал.

— Смеяться пришел? — хмуро спросил Камо. — Ко мне по тюрьмам профессора не ходили.

— Чудак ты человек! — Капитан бросил на стол арифметику. — Давай я тебе помогать буду.

— Обойдусь, — резко ответил Камо и, покраснев, объяснил: — Мне с азов начинать, засмеешь.

— С азов! — зло сказал капитан. — А я что, императорское училище кончал? Ты мою жизнь знаешь. На «Потемкине» матросом был, а теперь на мостике стою. Ленин заставил.

— Ленин? — обрадовался Камо. — И меня Ленин. — И он продолжил доверительно: — Я, понимаешь, когда из Тифлиса бежал, прямо к нему поехал. Ильич сказал: «Учись!» — И Камо постарался окончательно справиться со смущением. — Ну, что же... он знает... он такой человек... Смеется, как ребенок. Ты слышал, как смеется Ильич? — И Камо потянул за рукав и усадил рядом капитана. — Смотри! Рисунков мало. Надо бы делать больше картинок,

чтобы сразу видно было, например, что такое дислокация... А ты знаешь, что это такое?

Капитан утвердительно кивнул головой.

...Ночью разыгрался двенадцатибалльный шторм. Пароходик швыряло. Камо поднялся на мостик. Его и капитана то и дело обдавало волной.

— Ничего, скоро рассветет, — успокаивал капитан.

— Где мы?

— Недалеко от Сухуми. Здесь рядом скалистый остров. Не выбросило бы на берег.

Держась за протянутый над палубой канат, к мостику бежал усач. Капитан посмотрел в бинокль. В окулярах — скалы. Они мчались прямо на пароходик.

— Земля! — тревожно закричал усач.

— Вижу.

Капитан вошел в рубку рулевого, взял штурвал и скомандовал вниз:

— Стоп! Полный назад!

Он снова посмотрел в бинокль. Скалы качались в окулярах. Они приближались медленнее, но все-таки приближались. И вдруг все затрещало. Усач, стоявший на носу, упал за борт. Пароходик накренился. Корма ушла под воду. Капитан в рупор старался перекричать ветер:

— Шлюпки на воду!

Камо резко повернулся к нему:

— Оружие врагу не сдают. Взорвать пароход!

Теперь над рассвирепевшей водой белели только капитанский мостик, рубка рулевого, труба и сигнальные мачты. Матросы в двух шлюпках старались держаться возле парохода.

Они ждали капитана и Камо.

— Поздно, — спокойно сказал капитан, — взрывчатка в воде. Как я теперь перед Лениным появлюсь? — И он рывком поднес к своему виску пистолет.

Камо ударил его по руке. Пистолет упал в воду.

— А еще потемкинец! — крикнул Камо. — За мной!

Шлюпка появилась у самого борта. Камо увидел в ней Никиту. Полез в карман, достал часы Василия, секунду подержал их в руке:

— Держи, Никита! Это часы твоего отца.

Никита поймал часы. Шлюпку сразу отнесло. Камо прыгнул в воду и поплыл к ней. Никита из шлюпки протянул к нему руки. Но волна отбросила Камо. Шлюпка скрылась за гребнем. Усач начал быстро раздеваться.

— Держите шлюпку! Мне не удержать, — крикнул Никита и сам, не раздеваясь, прыгнул в воду.

Вихрастый паренек, не раздумывая, прыгнул за ним.

— Плывите... я сам... утонете из-за меня, — кричал Камо.

— Пальто скиньте, доплывем. — Никита, сильно гребя одной рукой, другой поддерживал Камо.

— Нельзя пальто... — ответил тот.

...Море успокоилось.

Камо лежал без сознания на прибрежных камнях. Никита подкладывал ему под голову чей-то бушлат. Поодаль валялись обломки шлюпок. Капитан и матросы грелись у костра. Никита подошел к нему, достал отцовские часы и посмотрел на циферблат. Секундная стрелка вращалась. Часы шли.

— Ничего, парень, — сказал усач, — стукнуло его, видать, о камни, опамятуется.

Камо открыл глаза. Он силился приподняться, но не мог. Первое, что он увидел, — это рукав своего пальто. Он нежно провел ладонью по этому рукаву. Чуть повернув голову, увидел умиротворенное море, вздохнул, и ему стало легко. Закрыв глаза, он начал вспоминать.

...Париж. Улица Мари-Роз, дом номер двенадцать.

Месяц назад Камо вошел в дверь этого дома. Небогато обставленная комната. Много книг. Камо си-

дит за столом напротив Владимира Ильича, жадно ловит каждое его слово. Ленин говорит:

«Время действительно работает на нас, и вы на Кавказе потрудились неплохо...»

Ильич встал, прошелся по комнате, остановился перед Камо, прищурился и, как всегда, с теплой и мудрой хитрецой сказал:

«Правда, вас иногда обвиняют в этакой лихости, необузданности темперамента... Ну что же, когда сердце бьется в такт партии, оно может иногда биться даже немного чаще, чем это положено... — Ильич погрозил пальцем, сел в кресло. На плечо ему прыгнула пушистая кошка. Он пересадил ее на колени. — Впрочем, и темперамент невредно сдерживать. Но прежде всего вам надо отдохнуть и обязательно учиться, это обязательно!»

Камо потупился и отрицательно покачал головой:

«Учиться буду. Отдыхать не могу. Есть еще один проект, Владимир Ильич».

Отперев дверь своим ключом, в комнату вошла Надежда Константиновна с небольшой закрытой корзинкой в руке.

«Ну-ка, покажитесь, товарищ Камо! — И она пожала ему руку. — Да вы совсем такой же, как были в Куоккале! *»

«Он у нас совсем молодец!» — И, поскольку изможденный вид Камо не соответствовал этим словам, Ильич, так, чтобы заметно было только Надежде Константиновне, прищурил глаз: мол, вот он как плохо выглядит, но мы-то понимаем, что надо его ободрить, обласкать.

«А не найдется ли у нас чего-нибудь сладкого в честь гостя?»

Надежда Константиновна подошла к буфету, достала пустую фруктовую вазу.

«Гость-то ведь с Кавказа». — И с видом заговорщицы магическим жестом она высыпала в вазу содержимое корзинки.

---

* Куоккала — местечко в Финляндии, где, скрываясь от преследования царского правительства, жил В. И. Ленин.

«Миндаль! — совсем по-детски обрадовался Камо. — Спасибо. Ну, теперь я почти как дома».

«Почти? Погодите, погодите, — заторопился Ильич. — У вас его, кажется, едят горячим и с солью, не так ли?»

«Да что вы, Владимир Ильич, со мной, как с ребенком!»

«Сейчас мы это устроим».

Надежда Константиновна взяла вазу и вышла подогревать миндаль.

«Вот еще какой проект есть, — горячо заговорил Камо. — Надо поднять восстание на рудниках, увести рабочих в горы и...»

Ленин нахмурился, встал, ударил ладонью по столу и сделал несколько шагов по комнате.

«Нет, товарищ, выбросьте этот проект из головы. Ваши партизанские дела окончились. Партия берет курс на всеобщее вооруженное восстание в России!»

Вошла Надежда Константиновна, поставила вазу с миндалем на стол, просительно посмотрела на Ильича: нужно, мол, учитывать, в каком состоянии человек, и спросила:

«Как ваши сестры? Кажется, их у вас четыре?»

Камо утвердительно кивнул.

«Джаваиру арестовали после моего побега. Еще одну девушку, Медею, арестовали... Нет, не могу я, Владимир Ильич, отдыхать. — Он отодвинул миндаль. — Надо революцию делать!»

Ленин одобрительно посмотрел на него и заговорил очень уверенно:

«Будет революция. Россия снова идет к революционному кризису. Но теперь мы не остановимся на полпути, как в пятом году».

Камо принялся за миндаль:

«Это правильно».

Ленин добродушно засмеялся:

«Ну вот что, дорогой, отдохните все-таки, обязательно отдохните. А потом нужно заняться организацией транспорта через море».

Камо вскочил. Глаза радостно засверкали. Он за-

торопился, как бы боясь, что Ленин передумает дать ему это поручение.

«Вот спасибо, Владимир Ильич. На море я и отдохну и учиться там буду. Где лучше отдыхать и учиться, чем на море? До свидания! Спасибо, Надежда Константиновна».

«Погодите, погодите, — задержал его рукой Ильич. — А есть у вас теплое пальто? Ведь в этом виде холодно ходить по палубе».

«Ничего, достану», — застеснялся Камо.

Ленин открыл гардероб, достал серое мягкое пальто:

«Вот это как раз то, что нужно. Тепло и не промокает».

Камо совсем смутился.

«Да, да, — подхватила Надежда Константиновна. — Это пальто Владимиру Ильичу подарила мать, а материнский подарок всегда греет».

Камо взял пальто, коснулся щекой воротника, и вдруг губы его скривились. Железный Камо чуть не заплакал.

«Ну, это уж вам не к лицу, — мягко сказал Ильич. — Сейчас нам с вами, как никогда, нужны крепкие нервы. А что касается того, что миндаль вы ели «почти, как дома», не огорчайтесь из-за этого «почти». Мы здесь с Надеждой Константиновной тоже не дома. Но мы с вами вернемся домой, и обязательно вернемся хозяевами. Не так ли?»

И Ленин снова засмеялся своим веселым смехом, в котором всегда звучало так много доброты и уверенности в победе.

...Море тихо перекатывало гальку.

— Ты когда-нибудь слышал, как смеется Ильич? — снова спросил Камо у склонившегося над ним капитана.

Воспоминания придали ему силы. Он посмотрел на пароходик, торчащий на скалах, встал и скомандовал:

— Оружие выгрузить на берег.

Матросы, идя по горло в воде, понесли к берегу ящики с оружием.

последняя встреча с марципановым

Шло время. Учебу снова пришлось прервать «до лучшей поры». Партия давала все новые поручения. Еще не раз умудрялся Камо проводить полицейских шпиков и в России, в столицах Европы, и в Турции. Товарищи считали его непревзойденным мастером конспирации.

То он возил с собой флакон с эфиром: нужно было только намазать эфиром подошвы, и можно было избавиться от собак-ищеек. То укладывал в чемодан по нескольку костюмов — на всякий случай...

Однажды в поезде, по пути из Петербурга в Тифлис, разыгрывая из себя продавца галантереи, Камо вдруг заметил, что за ним следят. Поезд приближался к небольшой станции неподалеку от Ростова-на-Дону. Камо сказал своим попутчикам, что он сходит, а сам укрылся на тамбурной площадке. Вскоре он появился в костюме носильщика с большой бляхой на груди, и так и доехал до Ростова. Когда на станции жандармы ворвались в вагон, они, не обращая внимания на носильщика, прошли в купе, в котором ехал Камо, и узнали, что «господин в котелке», продававший мелкие вещи, сошел на предыдущей станции...

И все-таки Февральская революция застала Камо в Харьковской каторжной тюрьме. В 1913 году он был снова арестован в Тифлисе. Военный суд в третий раз приговорил его к смертной казни. Праздновалось трехсотлетие царского дома Романовых. Царь издал амнистию, смертная казнь «милостиво» заменялась двадцатью годами каторжных работ. Камо перевели в Харьковскую каторжную тюрьму.

Камо и его товарищи задумали дерзкий побег из арестантского вагона на пути из Тифлиса в Харьков, но побег не удался.

Мысль о свободе, о том, чтобы снова включиться в революционную борьбу, не оставляла Камо. Но бежать из Харьковской каторжной тюрьмы было невозможно. Так по крайней мере считали все заключенные.

— Единственный путь отсюда на свободу через мертвецкую, в гробу, — мрачно шутили они.

Но Камо не сдавался. «А почему бы и вправду не через мертвецкую?» — думал он.

И Камо решил прикинуться мертвецом. Он начал пить махорочный настой, и лицо его совсем пожелтело.

Нашлись и люди, готовые помочь ему в осуществлении дерзкого замысла.

Но когда все уже было готово, в тюрьму прибыл вновь назначенный начальник, свирепый человек. По его предписанию узников, скончавшихся в тюрьме, перед тем как препровождать их из камеры в мертвецкую, во избежание ошибки ударяли по голове деревянным молотом.

Так побег не удался и на этот раз.

На волю Камо вышел только после Февральской революции. Изнуренный, страдающий от отравления махорочным отваром, он тут же снова ринулся в бой. Отдыхать этот человек просто не умел. Он понимал, что Февральская революция — это не та революция, за которую сражался он всю жизнь. Большевистская партия продолжала бороться, и в ее рядах сражался Камо.

И вот грянул Великий Октябрь. Но старый мир не сдавался без боя. В Закавказье еще хозяйничали меньшевики. Они прислуживали иностранным интервентам.

Выполняя партийное поручение, Камо прибыл в Тифлис. И здесь еще раз попал за решетку Метехского замка. Это был шестой, и последний, арест Камо.

По тюремному коридору его вел давно знакомый старик надзиратель.

— Как же это оно? — удивлялся старик. — Хоть оно царь, хоть оно революция, а мне все тебя водить! Ну ничего, по знакомству в лучшую камеру устрою, с видом на Куру.

Камо надвинул надзирателю фуражку на лоб:

— Не настоящая у нас пока в Тифлисе революция, отец. Ничего, я долго здесь не задержусь. Вот что скажи: я немедленно требую начальника тюрьмы.

Надзиратель отпер дверь камеры и сказал так, как будто приглашал Камо к себе на чай:

— Добро пожаловать!

В камере, уткнувшись лицом в подушку, лежал человек. Он вскочил. Камо взглянул на него и... узнал Марципанова. Железная дверь захлопнулась.

Возможно, никогда в жизни, даже тогда, в княжеском фаэтоне вдвоем с Василием, Камо не смеялся так безудержно.

— Тысяча и одна ночь! Здравствуйте, Вадим Аркадьевич! — воскликнул он, вытирая слезы. — Вот уж никогда не думал, что я... вдруг попаду в такое приличное общество.

— Я... и вы... — опустился на койку Марципанов. — Бедная Россия, она взбесилась!

— В России все в порядке, — все еще смеясь, ответил Камо. — И здесь, в Закавказье, порядок будет.

Марципанов раскачивался, сжав голову руками:

— Ничего не понимаю.

— Ну, это уж никуда не годится, — возразил Камо. — Вы на мне проходили, можно сказать, всю историю нашей партии. Все очень понятно. Меньшевики посадили вас, как царского пса, а меня... Впрочем, если до сих пор вы ничего не поняли, то и не поймете. — И он снова расхохотался.

Надзиратель открыл дверь, всунул голову, крикнул привычное:

— Замолчать! — и добавил непривычное: — Господин... товарищ начальник идут!

Вошел Длинноволосый. Камо оборвал смех. Сверкнули гневом глаза:

— Ты? Что же, закономерная эволюция.
— Служба! — мрачно ответил Длинноволосый.
— Так. А когда-то, в девятьсот пятом, ты обещал за меня в огонь идти. Помнишь?
— Помню, — ответил Длинноволосый. — Но теперь не девятьсот пятый, а девятьсот восемнадцатый, Камо.
— Правильно! — И Камо продолжал с откровенной угрозой: — Значит, ты знаешь меня тринадцать лет, не так ли? Так вот... Если ты меня немедленно не выпустишь, я все равно уйду и потом займусь тобой и твоим министром. А если выпустишь, обещаю в двадцать четыре часа на время — он подчеркнул «на время» — покинуть Тифлис. Ну?
Длинноволосый после некоторого колебания распахнул дверь:
— Иди!
— До свидания, Вадим Аркадьевич. Надеюсь, что больше мы с вами в этой жизни не встретимся. — И Камо снова повернулся к Длинноволосому. — Всю жизнь мучаюсь, как ты тогда в пятом выдержал у дуба испытание? Ты узнал Реваза? Молчишь? Да, прав был Василий — человека не смертью, а жизнью проверять надо. — Камо помолчал. — Вот что, — и он показал Длинноволосому на Марципанова, — ему скучно, я бы советовал тебе остаться здесь с ним. — И он, посмеиваясь, вышел.

Вечером Камо встретился с Медеей на берегу Куры, на том самом месте, где почти полтора десятка лет назад они разыгрывали перед городовым влюбленную парочку. Теперь оба уже были немолоды. Течет Кура, течет Кура...
— Сейчас придет Джаваира, — сказал Камо.
Медея взглянула ему в глаза:
— Есть от Вали письмо из Москвы. Она директор театра. Увидишь, передай ей привет.
Камо молчал. Медея посмотрела на него с затаенным вопросом.
— Ну, скоро можно будет и отдохнуть?

Она ждала. Но Камо опустил глаза.

— Борьба только начинается, Медико, — мягко ответил он.

Быстро подошла Джаваира, пожала руки обоим.

— По распоряжению комитета, Синько, я еду на Северный Кавказ. Выдам себя за княжну Чиковани. Нужно добыть планы Мамонтова из рук белых.

— Знаю, сестра, — сказал Камо и повернулся к Медее. — Вот видишь!

Медея раскрыла большой ридикюль, достала чехол для рога, вышитый бисером.

— Много лет назад я вышила его для тебя. Возьми.

Камо взял подарок.

— Спасибо, Медико, за все спасибо. — Он поцеловал ее в голову, в пробивавшуюся седую прядь.

Она устало улыбнулась:

— Ну вот, в первый раз не для конспирации.

НЕЗАКОНЧЕННЫЙ ЭПИЛОГ

Ленин в своем кремлевском кабинете поднимается из-за стола, подходит к Камо и кладет ему на плечи обе руки.

— Значит, еще раз подполье. В тыл Деникина.

Ильич взял со стола лист бумаги и передал его Камо:

— Вот здесь я кое-что для вас написал, товарищ К. Петров. Что поделаешь, опять чужое имя. Не надоело?

Камо ответил просто:

— Мне не привыкать, Владимир Ильич, — и прочел врученное ему Лениным удостоверение: «Предъявитель сего тов. К. Петров, имеющий билет № 483 (по 1. X. 1919) на пропуск в здание ЦИК и работающий в одном отделе ЦИК, лично мне известен. Прошу все советские учреждения, военные и прочие



власти оказывать тов. К. Петрову полное доверие и всяческое содействие.

Предс. Сов. Обор. В. Ульянов (Ленин)».

А Ленин сказал серьезно:

— Ничего, народ еще узнает и оценит ваше подлинное имя, товарищ Петросян... Постойте, кажется, число поставить забыл. — Он взял удостоверение из рук Камо, прошел за стол и начал писать дату на штампе, приговаривая вслух: — Третьего, девятого, тысяча девятьсот девятнадцатого. — И вдруг его перо остановилось. — Примерно два года назад я вручал вам мандат для Степана Шаумяна, — Ильич наклонил голову, — да, Шаумян, Джапаридзе, Фиолетов, Азизбеков... Бакинская трагедия...

Он поднял голову, встал из-за стола и твердо сказал:

— Мы воспитаем миллионы молодых бойцов, таких же стойких и преданных делу партии, как двадцать шесть наших погибших бакинских комиссаров, таких, как вы!

Камо смутился, а Ленин повторил:

— Да, да, таких, как вы, дорогой мой товарищ Камо.

...Они подходят к окну. За открытыми рамами кипит людный кремлевский двор: рабочие, солдаты, крестьяне-ходоки.

У входа во дворец, сжимая винтовку, стоит на часах Никита. Вот он достал отцовские часы, посмотрел на них, и, как будто повинуясь этому жесту, на Спасской башне забили и заиграли «Интернационал» куранты.

Время шло вперед...

И здесь, дорогой читатель, я закончу рассказ об этом замечательном человеке, и да будет он отныне лично известен тебе и всем твоим друзьям!

коротко об авторах

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ КОЗАЧИНСКИЙ родился в Москве в 1903 году. Детство его прошло в Одессе, там же он окончил восемь классов городской гимназии. Юный Саша Козачинский, мальчик из семьи одесских интеллигентов, попадает в банду и вскоре становится грозой всей Одессщины. Но самое удивительное в том, что другой юноша — Женя Катаев, молодой и неопытный сотрудник угрозыска города Одессы, преследующий неуловимого и грозного бандита, — оказывается, был его гимназическим товарищем и учился с ним в одном классе. И еще более удивительным совпадением в судьбах этих двух юношей является то, что оба они стали писателями и сотрудниками одной и той же редакции. Когда 23-летний Козачинский в 1925 году приехал в Москву и поступил работать литературным редактором в редакцию газеты «Гудок», то он оказался буквально в одной комнате с писателем Евгением Петровым, бывшим сотрудником уголовного розыска Одессы, участвовавшим в его поимке... А перед этим для Козачинского были суровые годы испытаний, годы раздумий о своей судьбе, которые заставили его изменить свою жизнь. Ведь суд приговорил его первоначально к смертной казни, замененной тюремным заключением. В тюрьме Козачинский во многом изменился, и начальство сочло возможным досрочно освободить его из заключения.

В редакции «Гудка» работало в то время много талантливой молодежи, имена их вскоре стали широко известны читателям. Среди них были Евгений Петров, Илья Ильф, Валентин Катаев, Юрий Олеша, Михаил Зощенко и другие. В этой благодатной атмосфере начался и творческий путь Козачинского. Он активно включается в работу газеты — пишет статьи, очерки, рассказы. Литературный успех к нему приходит сразу. За три года после первой публикации (в альманахе «Год XXII», выпуск 14-й) повести «Зеленый фургон» она переиздается трижды, вызывая восторженные отзывы писателей и рецензии критиков. В 1940 году выходит первый сборник рассказов А. Козачинского. К сожалению, он оказался и последним сборником этого талантливого писателя. Неизлечимая болезнь приковала его к постели. А. В. Козачинский умер в 1943 году в эвакуации.

Произведения писателя неоднократно издавались и после его смерти, а повесть была совсем недавно экранизирована киностудией имени Довженко.

«Зеленый фургон» привлекает не только приключенческим сюжетом, но и поэтичным, мягким юмором, писательской любовью к жизни и людям, о которых рассказывается в повести.

ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ БЛЯХИН (1886—1961) родился в селе Верходым Саратовской области, в крестьянской семье. С 1903 года он становится членом партии большевиков, участвует в революции 1905 года, за что и был сослан царским правительством в Сибирь. С 1917 года он активно участвует в установлении Советской власти как видный советский и партийный работник. Его перу принадлежат несколько киносценариев — «Большевик Мамед» (1925 г.), «Иуда» (1929 г.), «Через победу к миру» (1920 г.) — и три повести о событиях революции 1905 года: «На рассвете» (1950 г.), «Москва в огне» (1956 г.) и «Дни мятежные» (1959 г.).

Революционно-приключенческая повесть «Красные дьяволята» («Охота за голубой лисицей») создана писателем в 1923—1926 годах. Сам автор в газете «Тифлисский рабочий» (от 20 января 1935 года) так писал о ней: «Повесть явилась полусказочным отражением мрачных событий, связанных с именем небезызвестного главаря кулацких банд батьки Махно, с которым нам приходилось иметь дело в 1920 году в районе Екатеринославщины, где я был председателем губревкома».

П. Бляхин писал «Красных дьяволят» в 1921 году в длинном по тогдашним временам пути из Костромы в Баку. Сидя за самодельным столом в тряской теплушке, писатель карандашом, на обрывках оберточной бумаги пишет первую в советской литературе приключенческую повесть для юношества, проверяя написанное на своем сыне-подростке, с нетерпением ожидавшем каждый вечер ее продолжения.

В Баку П. Бляхин прочитал рукопись в клубе комсомольской молодежи. Увлеченные повестью, комсомольцы предложили автору «пустить ее на экран». После опубликования повести в конце 1922 года П. Бляхин предлагает Госкинопрому Грузии экранизировать «Красных дьяволят». При поддержке Закавказского крайкома партии Госкинопром Грузии получает государственную ссуду на постановку фильма, и режиссер И. Перестиани в

1923 году ставит фильм. Таким образом, «Красные дьяволята» П. Бляхина явились не только первой приключенческой повестью, но и основой первого советского приключенческого фильма.

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ — классик советской литературы. Его произведения широко известны и любимы читателями. Публикуемая в сборнике авантюрная повесть, как ее назвал сам писатель, написана в духе тонкой иронической пародии на западные детективы. Но и «Необычайные приключения на волжском пароходе» содержат ряд точных реалистических наблюдений и поэтому выходят за рамки обыкновенной пародии. Написана сама повесть была в ноябре 1931 года и впервые напечатана в литературно-художественном сборнике «Недра», книга 20-я (издательское товарищество «Недра», М., 1931 г.). Это малоизвестное широкому читателю произведение знакомит нас с еще одной стороной творчества талантливого писателя.

МАРК ДАВЫДОВИЧ МАКСИМОВ — советский писатель и драматург. В 1946 году в издательстве «Молодая гвардия» вышла первая книга его стихотворений «Наследство» (партизанские стихи). С тех пор М. Максимов выпустил в свет несколько стихотворных сборников. Они посвящены в основном теме революционного героизма нашей молодежи разных поколений. Той же теме Марк Максимов остается верен в своих драматургических произведениях — пьесе «Семья Бугровых» и сценариях «Лично известен» и «26 бакинских комиссаров». Последний удостоен Почетной грамоты ЦК ВЛКСМ. По сценарию «Лично известен» впоследствии была написана повесть о легендарном революционере Камо, которая выдержала несколько изданий. Повесть интересна как своим сюжетом (а в жизни Камо удивительных приключений было немало), так и высоким пафосом революционной романтики.

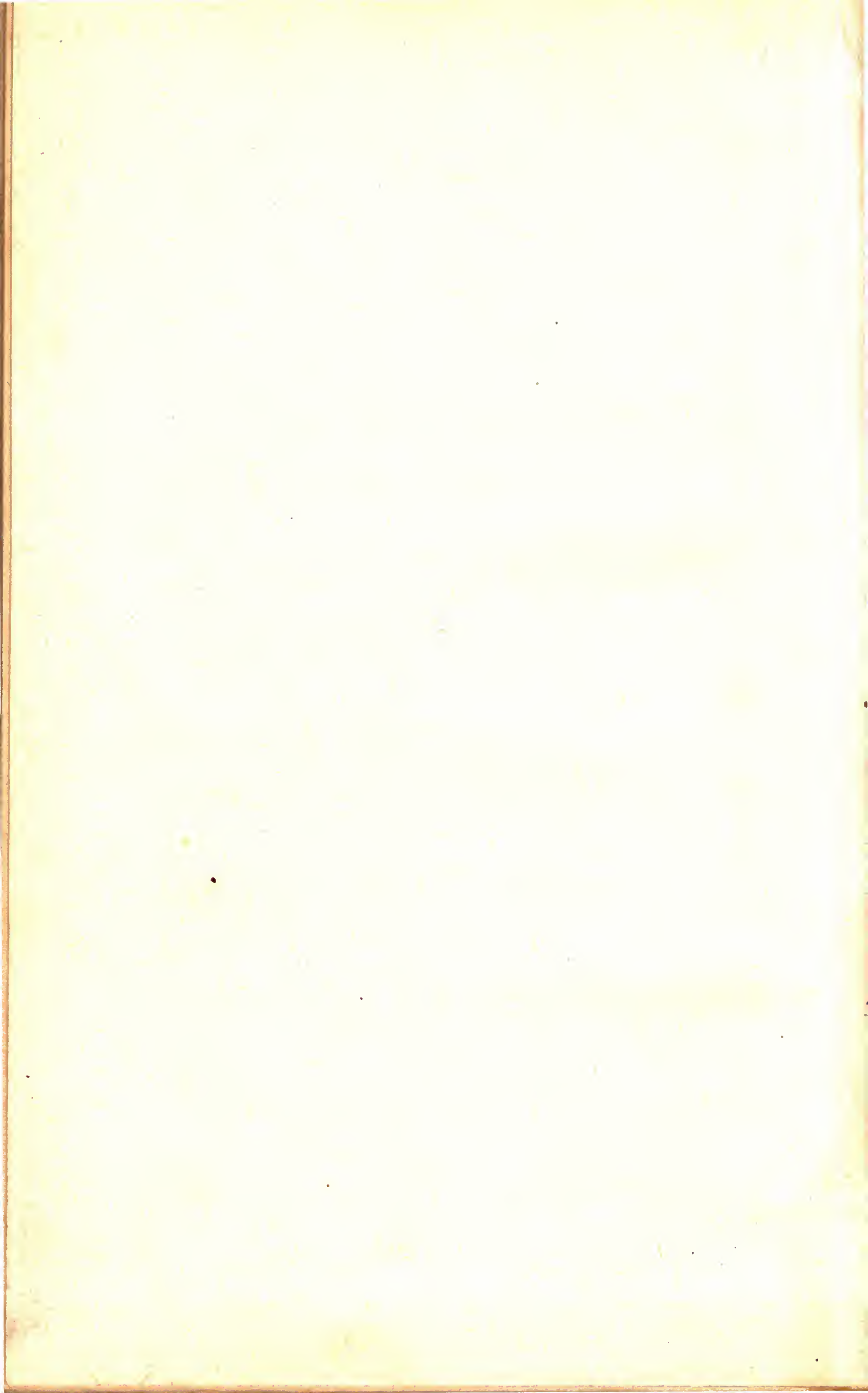
СОДЕРЖАНИЕ

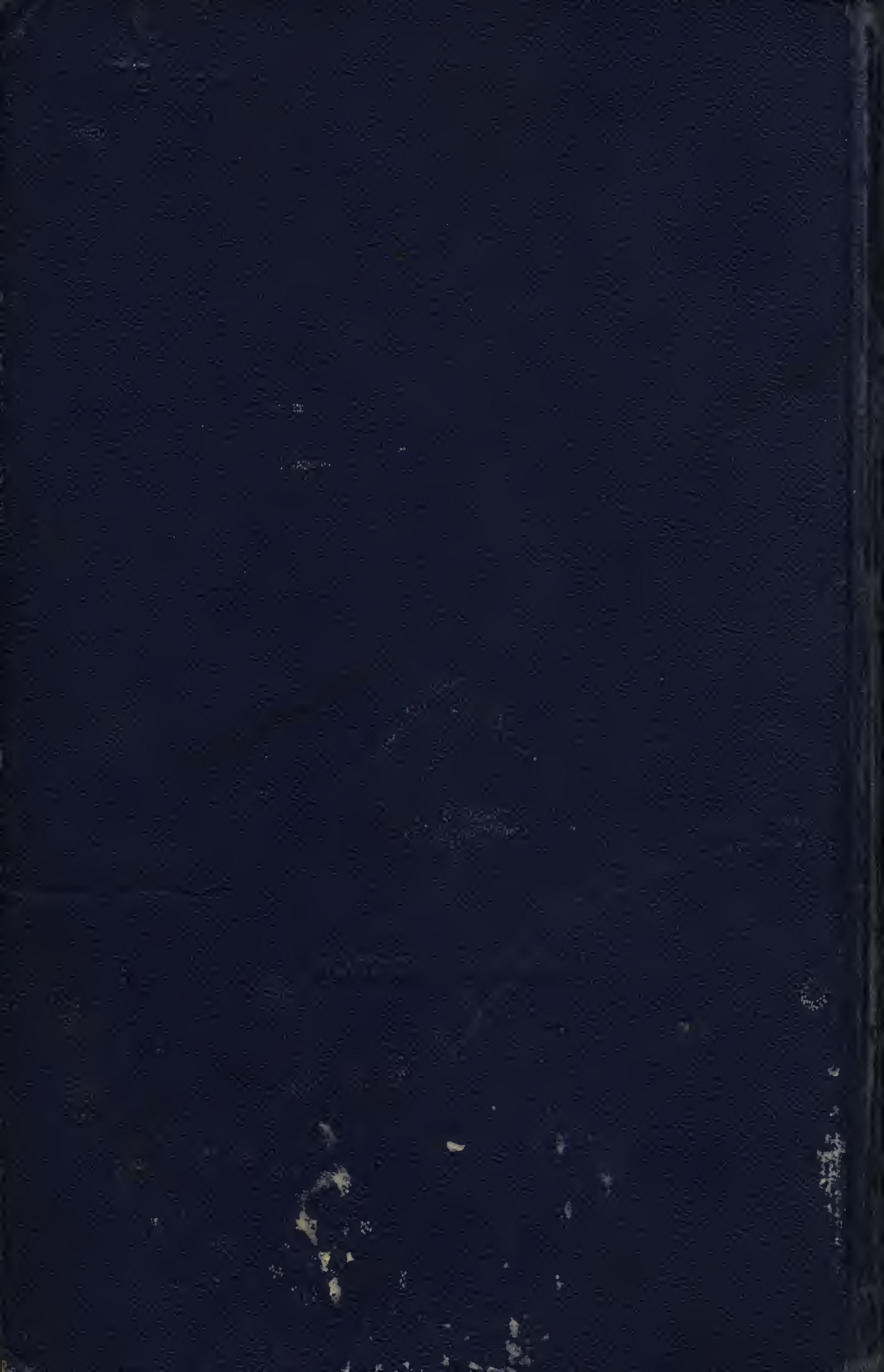
Библиотека приключений в пяти томах. Т. 1. М., «Молодая гвардия», 1966.
368 с.
Приложение к журналу «Сельская молодежь»

Составители *И. Филенков, В. Дробышев*
Оформление *А. Шипова*
Художественный редактор *Н. Михайлов*
Технический редактор *Л. Курлыкова*

А10102. Подп. к печ. 11/VIII 1966 г. Бум. 84×108¹/₃₂. Печ. л. 11,5 (19,32). Уч.-изд. л. 17,7.
Тираж 165 000 экз. Заказ 880. Цена 72 коп.

Типография «Красное знамя» изд-ва «Молодая гвардия». Москва, А-30, Сущевская, 21.






1